П. КУРАКИН

ДАЛЕКАЯ ЮНОСТЬ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор повести прошел суровый жизненный путь. Тяжелое дореволюционное детство на рабочей окраине, годы напряженной подпольной работы. Позже П. Г. Куракин — комсомольский вожак, потом партийный работник, директор крупного предприятия, в годы войны — комиссар полка. В повести «Далекая юность» автор воскрешает годы своего детства и юности.

- П. Г. Куракин
  - ○
  - ○ Часть первая
    - ■ 1. Отечество бывает разное
    - ■ 2. На завод, к матери
    - ■ 3. Яшка идет работать
    - ■ 4. «Пузан»
    - ■ 5. Большевики
    - ■ 6. Мастер Чухалин не одобряет
    - ■ 7. Яшкины «капканы»
    - ■ 8. Взрыв на заводе
    - ■ 9. На тачке за ворота
    - ■ 10. События продолжают развиваться
    - ■ 11. Видение
    - ■ 12. Не выдал!
    - ■ 13. В землянке
    - ■ 14. Вот она, буржуазия!
    - ■ 15. Третейский суд
    - ■ 16. Человек-«сова»
    - ■ 17. Детство кончилось…
  - ○ Часть вторая
    - ■ 1. Комсомольское собрание
    - ■ 2. Ячейка за работой
    - ■ 3. Не пустили…
    - ■ 4. Выдержит ли?
    - ■ 5. На субботнике
    - ■ 6. На сплав
    - ■ 7. Лобзик
    - ■ 8. Пожар снова Генка!
    - ■ 9. Злая Сухона
    - ■ 10. Продотряд идет за хлебом
    - ■ 11. Не у дел
    - ■ 12. Ночь накануне съезда

        - 13. Говорит Владимир Ильич
        - 14. «Я тоже увижу коммунизм?»
        - 15. Живая вода
        - 16. Конец «Совы»
        - 17. Что с Клавой?
        - 18. Не надо протирать скатерть
        - 19. Снова дома
    - Часть третья
        - 1. Кандидат партии
        - 2. Совпартшкола
        - 3. Первые дни занятий
        - 4. «Дурак Галка»
        - 5. Секретарь райкома комсомола
        - 6. «Нужно все перевернуть»
        - 7. Первые знакомства
        - 8. Кажется, пошло…
        - 9. Подлая душа
        - 10. На трассе
        - 11. Глухомань
        - 12. Карпыч рассказывает…
        - 13. Это надо понять
        - 14. Критика помогла
        - 15. Большое островишное
        - 16. Прощай, няндома!
- notes
    - 1
    - 2

П. Г. Куракин
Далекая юность

«Далекая юность» — повесть о том, как веселый и озорной, вечно голодный подросток Яшка, мечтая помогать матери, в двенадцать лет становится рабочим. Обстановка и общение со взрослыми скоро приводят его к подпольной революционной работе. Взрослые рабочие помогают ему выбрать жизненный путь и понять великое значение труда и силу коллектива.

Автор повести — Петр Григорьевич Куракин — сам прошел путь сурового детства и боевой рабочей юности. Комсомольский вожак, потом партийный работник, директор предприятия, а затем — в годы Великой Отечественной войны — боец, комиссар полка — таков жизненный путь Куракина, путь советского человека, строителя социалистического государства.

Тяжелое ранение на фронте, ампутация ноги, а позднее — паралич приковали Куракина к постели. Но сила воли, желание быть полезным Родине помогли найти новое призвание: он стал писателем.

В повести «Далекая юность» Петр Григорьевич сумел воскресить годы своего детства и юности, воссоздать характеры людей тех бурных лет. Подростки и комсомольцы наших дней должны знать героическое прошлое своих отцов. Им и адресуется эта повесть.

Часть первая

1. Отечество бывает разное

Городская окраина напоминала деревню: те же рубленые избы, те же колодцы с «журавлями», ограды палисадников и сладковатый, с малых лет знакомый Яшке запах свежего хлеба и парного молока. Быть может, поэтому он так любил тихую Духовскую улицу, поросшую по краям огромными, серыми от дорожной пыли лопухами, и терялся всякий раз, попадая в шумный водоворот базарной площади или вокзальную толчею.

Здесь, на Духовской, всегда было спокойно, и сама жизнь, казалось, текла неторопливо, ничего не изменяя в своем течении. Поздним вечером подгулявшие мастеровые заводили нестройную песню, переполошив слободских псов, потом снова наступала тишина, и становилось слышно, как далеко-далеко, на другом конце города, аукают маневровые паровозы.

У дяди Коли Яшка жил второй год и вспоминал о матери только тогда, когда дядина жена говорила, отворачиваясь:

— И не дерет тебе кусок рта? Кукушка мать у тебя…

После таких слов Яшка долго не мог уснуть, лежал в углу на своем сеннике, широко раскрыв глаза, и слушал, как тикает где-то жук-точильщик да за стеной в хлеву тяжело ворочается и вздыхает хозяйская корова. И ведь не удерешь никуда…

Дядя Коля, брат матери, работал в депо паровозным машинистом. Длинный, немного сутулый, будто стесняющийся своего роста человек, он по-своему любил и жалел Яшку; и когда Аннушка попрекала: «Не дерет тебе кусок рта?» — он только хмурился и молча подмигивал племяннику: мол, не слушай ты ее, вздорную бабу. Аннушка и на самом деле была вздорной; иногда Яшка просыпался по ночам от ее неприятного, резкого голоса:

— Где ты все шляешься? Погубить нас хочешь, ирод? Куда я с двумя ребятами денусь? По миру хочешь пустить? У, аспид!..

Дядя отмалчивался, но, когда жена расходилась особенно яростно, пытался уговорить ее:

— Да что ты кричишь-то? Ну посидел с ребятами, поговорил… Так уж за это и в тюрьму, что ли, посадят?

Разубедить Аннушку было невозможно; дядя махал рукой и шел спать, но долго еще слышались всхлипывания Аннушки и ее злые слова…

Раз в три или четыре месяца дядю словно бы подменяли. Тишайший человек, он вдруг ни с того ни с сего начинал пить, и хотя в слободе пили все часто и помногу, но так люто не пил никто. Дядя загуливал бесшабашно, не зная меры. Во хмелю дядя был буен. Он не дрался, не избивал жену, как другие, — он ломал

и рвал все, что попадалось ему ненароком под руку.

В такие дни на мелкие осколки разлеталась посуда, в щепу превращались стулья и столы. Потом дядя «отходил» и начинал ругаться; он ругал всех: жену, начальство, царя, царицу, царских дочерей. И ворчливая Аннушка сидела на лавке, беспомощно сложив на коленях больные от вечных стирок руки, сидела молча, только иногда просила шепотом:

— Тише ты, родненький… Тише про царя-то.

Запой у дяди проходил — и все начиналось сызнова.

Единственной радостью были для Яшки друзья. Здесь, на Духовской, жили такие же мальчишки, как и он сам: чумазые, сытые только по праздникам и потому близкие Яшке. Временами на улице раздавался пронзительный тройной свист, и Яшка, чем бы он ни был занят, бросал все: три свистка — бои с екатерининцами…

На соседней, мощенной булыжником Екатерининской улице, где вечерами зажигались фонари, жили люди состоятельные.

Ватагу ребят с Екатерининской возглавлял сын полицейского пристава, Генка. Щеголеватый гимназист, он первым выходил на Духовскую и, раскручивая над головой лакированный ремень с пряжкой, кричал:

— Эй, золоторотцы! Идите, вымоем.

Если попадало духовчанам, Генка молчал; но стоило только поколотить екатерининцев, — и на Духовской появлялся Генкин отец.

Заходил он и к дяде Коле, грозя штрафами «за щенка»; это давало Аннушке повод напомнить лишний раз о куске хлеба и о том, что мать у Яшки — кукушка.

Но к осени у ребят с Духовской появились совсем другие дела…

Там, где дорога, выбравшись из слободы, пересекала поле и сворачивала к лесу, на скорую руку были выстроены длинные, серые, с крохотными оконцами бараки. Никто не знал, зачем они здесь выстроены и почему натянута на колья колючая проволока. Только тогда, когда в один из ненастных дней прошла по Духовской колонна усталых, грязных, измученных людей в куцых серо-зеленых шинелях, все поняли: лагерь военнопленных. Пленные шли мимо молчаливых жителей слободы, пряча глаза и боязливо оборачиваясь; толпа ребятишек, как полагается, бежала поодаль, не разбирая, где лужи; женщины, проводив взглядом колонну пленных, начинали плакать: у одних мужья уже погибли, у других еще воевали.

Не прошло и недели, как ребята с Духовской уже подбирались к лагерю. В воскресенье пленные не работали, и из

бараков доносились негромкие грустные песни. Яшка прислушивался к незнакомым словам и говорил Паше Залевину:

— Слышишь? Тоже поют… Подойдем поближе?

— Боязно.

И все-таки знакомство состоялось.

С обеих сторон забора, выстроенного позади бараков, рос мелкий кустарник. Здесь ребята и проделали лаз. Пленные германцы оказались вовсе уж не такими страшными, как об этом говорили все. Некоторые из них искусно плели из конского волоса с бисером кольца, браслеты и сережки, а один сплел стек, который ребята продали за три рубля сыну купца Свешникова. Пленные давали ребятам свои изделия для продажи, а те приносили им конский волос, бисер, ветки рябины для дудок… На этой «коммерции» ребята зарабатывали немного, однако новое знакомство было для Яшки словно первым толчком для долгих раздумий. Но чем больше он думал, тем безнадежнее запутывался в своих собственных мыслях.

Вот, например, Франц… Он часто вынимал из кармана помятую фотографию и показывал ребятам своих дочек — маленьких, чистеньких девочек.

— Клеба, клеба им нато! Вот нет Франца, Ирма, Марта — кушать нет. Франц пу-пу, пьлен.

Он прятал фотографию и уходил в барак не оборачиваясь. Яшка, ложась дома спать, думал: «Зачем же тогда война? А как же: за веру, царя и отечество. А зачем же тогда надо всем воевать? Раз за веру, собрались бы все попы и монахи с одной и другой стороны и подрались бы. Чья возьмет, того и вера наверху будет. Раз за царя, вышли бы Вильгельм, Николай, Франц-Иосиф и турецкий султан, подрались бы на кулачки или французскую борьбу устроили! Кто кого положит на лопатки, тот и будет главным царем. А вот за отечество?..» Здесь его мысли путались окончательно.

Однажды, не выдержав, он спросил об этом у дяди. Тот внимательно поглядел на Яшку.

— Мал ты еще, брат, не поймешь… Только так-то сказать, и отечество бывает разное. Вырастешь — узнаешь.

Однако знакомство с пленными оказалось для Яшки не только источником раздумий.

Конский волос ребята доставали у извозчиков. Как-то раз они шли из лагеря продавать браслеты, сделанные пленными. Возле чайной увидели несколько пролеток; лошади лениво помахивали длинными блестящими хвостами. Извозчиков не было: они пили чай. Недолго думая, ребята вытащили свои складные ножики и начали резать волос. Вдруг раздался вопль Мишки Косолапова:

— Ой, дяденька! Отпусти, больше не буду!

Его держал за ухо здоровенный извозчик. Через секунду Яшка и его приятель Паша Залевин тоже бились в сильных руках. Все трое очутились в полицейском участке. Сквозь слезы Яшка не сразу разглядел, кто это стоит перед ними, и вздрогнул: откуда-то сверху раздался знакомый голос Генкиного отца:

— Ну, подлецы, что это вы вздумали лошадям хвосты портить? Зачем резали, ну?

Пристав ударил кулаком по столу. Ребята молчали.

— Что молчите, золоторотцы? Ну-ка, Пашута, покажи им, как цыганы пашут!

Невысокий коренастый городовой вразвалку подошел к Пашке Залевину и провел большим пальцем по его стриженой голове против волоса. Пашка закричал.

— Посмотри, что там у них в карманах? — приказал пристав. — Давай все ко мне на стол.

И на стол посыпались кольца, браслеты, серьги, сделанные пленными.

Генкин отец, щуря глаза, повертел в руках эти безделушки, зевнул и, отойдя к окну, тихо спросил:

— Значит, с врагами отечества водитесь? Так…

«Откуда он знает?» — тревожно подумалось Яшке.

А пристав, не меняя позы, величественный в своем мундире, как памятник, все говорил тем же тихим, даже, пожалуй, ласковым голосом:

— Научил вас кто-нибудь, а? Да вы не бойтесь, рассказывайте; или хотите, я вам все расскажу? Плеточку за три рубля продали? А третьего дня на три рубля восемь гривен наторговали? Пять фунтов воблы снесли врагам веры нашей, а?

«Знает, — тоскливо подумал Яшка. — Все знает…»

Пристав, словно наслаждаясь растерянностью ребят, продолжал перечислять фунты и гривенники с такой точностью, что Яшка, подавив в себе первый страх, покосился на всхлипывающего Залевина: не он ли выдал? Нет, не он, иначе ему не показали бы «цыгана».

— Ну? — веселился пристав. — Как же теперь? Кто научил? Может, скажете?

— Сами мы пошли, — буркнул Яшка.

— Сами? А, ну тогда и… — удар обжег Яшкину щеку; не удержавшись, он упал. Голос пристава гремел сверху: — Марш отсюда! Я еще покажу вам, черномордое семя!

Все трое, выскочив из дверей, толкая друг друга, наконец-то очутились на улице. Внезапно Залевин схватил Яшку за рукав:

— Гляди!

Небрежно сдвинув на затылок фуражку, возле забора стоял, заложив одну ногу за другую, Генка. Улыбаясь, он глядел на ребят так же, как и отец, щуря зеленоватые глаза.

— Может, продадите браслетик? — спросил он.

Все стало ясно…

А через три дня в класс вошел инспектор гимназии и поп — отец Николай, преподаватель закона божьего. Ученики поднялись с грохотом и застыли; каждый думал о том, не его ли сейчас вытащат к стенке, исчерканной и перецарапанной многими поколениями провинившихся.

Однако не вызвали никого. Встав на кафедру, отец Николай воздел руки, и Яшка с первых же слов понял, что он — виновник сегодняшней проповеди. Что говорил поп, позже он так и не мог вспомнить: что-то о богоотступниках, «об отечестве не радеющих» и о каре земной и небесной. Как сквозь туман донеслись до него слова:

— Иаков Курбатов, признаешь ли ты, что богоотступничая презрел и власть божию на земле и отечество свое?

— Отечество бывает разное, — буркнул Яшка.

— Что-о? Вон!

Кто-то схватил его за ухо, кто-то толкнул в спину. Он очнулся только тогда, когда чей-то голос сказал: «Можешь сюда больше не приходить!» — и дверь, задребезжав стеклами, захлопнулась.

Тихо скрипнула половица, когда он пошел по длинному коридору. Яшка остановился, прижался горящей щекой к холодной стене, глотая плотный клубок, подступивший к горлу.

Двери в учительскую были распахнуты. Яшка, проходя мимо, увидел знакомые, с блестящими застежками поповские боты. Пусто было в коридоре, пусто и в учительской. Он шагнул туда, нашаривая в кармане гвозди, оглянулся, схватил со стола тяжелое мраморное пресс-папье и, встав на колени, начал приколачивать боты к полу. Потом снова оглянулся. На столе стояла чернильница, и он кинул ее в поповскую калошу, чувствуя, что слезы прошли и на душе полегчало.

Вечером прибежали ребята. Новостей было много. Во-первых, Яшку исключили, выгнали с «волчьим билетом». А во-вторых — и это, разумеется, самое главное! — поп стал надевать боты, сунул туда ноги, хотел было пойти и полетел. Да как полетел! Грохот и визг стоял по всей школе. Потом батюшку час отхаживали водой и нашатырным спиртом.

Нет, Яшка не жалел, что его выгнали. Он знал, что ему делать. Он жалел только о том, что не видел, как «поп разбился».

2. На завод, к матери

В нескольких десятках верст от губернского города, на берегу быстрой и неширокой реки Сухоны, за пять лет до войны вырос целлюлозный завод. Строил его предприимчивый петербургский капиталист Печаткин. Когда началась война, Печаткин, разумеется за соответствующую мзду, добился от казны больших заказов на артиллерийские снаряды и начал строить корпуса артиллерийского завода. Цехи ставились на скорую руку; рядом с ними вырастали деревянные бараки для рабочих; спешно была проложена одноколейка, и первый состав осторожно и долго полз, везя семьи рабочих в новый поселок — Печаткино.

Там работала Яшкина мать. Туда, тайком удрав от дяди, ехал сейчас и Яшка. Все его нехитрое имущество уместилось в небольшом узелке: брюки и пара рубашек, книги и коньки «нурмис», купленные матерью на прошлое рождество.

Он ехал, еще не представляя себе, что скажет матери. Сознаться, что его выгнали из школы, было все-таки стыдно; мать, конечно, станет горевать, если узнает. Можно сказать, что школа сгорела, но люди приезжают из города каждый день и вряд ли подтвердят это… Можно наврать, что начался тиф и школьников распустили. Подъезжая к Печаткино, Яшка так ничего и не придумал; он лежал на нарах, подложив под голову узелок, и слушал незнакомую плавную речь едущих в вагоне: это были эстонцы, завербованные на завод.

Поздней ночью, усталый и промерзший, он разыскал барак, где жила мать. Какая-то незнакомая женщина провела его по темному коридору, ощупью нашла двери и втолкнула Яшку в комнату. Он стоял у порога и слышал прерывистое дыхание нескольких людей: здесь все спали.

— Мама, — тихо позвал он. Кто-то заворочался, выдохнул неразборчивые слова, и Яшка снова позвал мать.

— Кто? — донеслось от окна. — Кто тут?

— Это я, Яшка…

— Яшенька!..

Теплые руки схватили его. Мать гладила Яшку по лицу, еще не понимая спросонья, как он очутился здесь, и шептала ему в самое ухо:

— Господи, как же так?.. Что случилось, господи?.. Как это ты приехал?

Прижимаясь к матери, Яшка сбивчиво, глотая слова, рассказал ей все: и про пленных германцев, и про Генку, и про то, как бил его пристав.

Мать, не разобрав и половины того, что он рассказал, жесткой ладонью вытерла ему слезы и начала расстегивать куртку.

— Ладно, бог с ней, со школой… Ложись усни, сынок. Завтра договорим. Ах ты, господи, господи!..

В Печаткино школы не было, и для Яшки начались скучные, долгие, похожие один на другой дни. В первое время он еще бродил по незнакомому поселку и присматривался. Его поражали огромные цехи артиллерийского завода; он подолгу стоял и смотрел на лесотаску, по которой непрерывно двигались то баланс для варочных котлов, то дрова для кочегарки. А потом и ходить стало некуда; хорошо, что он захватил с собой несколько интересных книг.

Все чаще и чаще он вспоминал теперь губернский город, где можно было сходить на каток или в кинематограф «Аполло» или посмотреть в заезжем балагане двигающиеся и говорящие куклы.

В Печаткино все было иначе, чем в губернском городе. Здесь все было наружу: и люди, и их мысли. Даже ребята, с которыми туго, но все-таки сходился Яшка, знали, что Печаткин «исплотатор». Порой среди игры кто-нибудь из ребят такое вдруг говорил о царе, что Яшка сразу же вспоминал испуганный шепот Аннушки, урезонивающий мужа, и чувствовал, что у него по коже подирает мороз. За такие слова — и он это знал — сажают в тюрьму. А ребятам здесь все было нипочем. В их словах была какая-то притягательная легкость, порой доходящая до бесшабашности, и Яшка постепенно привыкал к этому.

Ребята здесь были совсем другие: более развитые и смекалистые, богатые на всяческую выдумку, знающие много такого, о чем Яшка не только не знал, но и не подозревал. Да и откуда он мог знать, что «на наших батьках Печаткин дворец построил», «а царица-немка Россию продает, то оптом, то в розницу».

Яшку ребята приняли не сразу. Дней десять к нему присматривались, испытывали, и он, видимо, выдержал эти никем не установленные, негласные испытания.

Почти все ребята приехали на завод из Петрограда, и выговор у них был какой-то особый. Яшка же «окал», и ребята беззлобно передразнивали его: «Эй, пойдем, родный, домой…» На долгое время за ним сохранилась эта кличка «родный», — и он так привык, что откликался на нее.

В Печаткино Яшка не мог верховодить ребятами. Здесь были свои вожаки и атаманы — Петька Зуев и Колька Чистяков. Чувствуя превосходство этих мальчиков, уже работающих на заводе, он охотно подчинялся им во всем. Скоро ребята стали

относиться к Яшке как к своему и даже, кажется, полюбили его.

* * *

Как-то раз мать, вернувшись с работы, сказала Яшке:

— Ну, сынок, хочешь завтра посмотреть мой цех?

Яшка, конечно, очень хотел. Утром он встал вместе с матерью и торопливо глотал хлеб с луком, прислушиваясь, как висит за окном низкий, ровный, будто прижимаемый ветром к земле заводской гудок.

Яшка и раньше бывал в мастерских железнодорожного депо, у дяди, и видел станки, которые снимали со стальных болванок стружку, строгали, буравили металл. На заводе все было почти так же, и цех, где мать работала браковщицей, не произвел на Яшку особого впечатления. В цехе делали донца для шестидюймовых снарядов. Из кузнечно-прессовой мастерской сюда поступала заготовка, на токарных станках с нее снимали излишек металла, делали резьбу. Готовые донца мать сдавала в кладовую.

В перерыве к матери подошел какой-то рабочий и, вытирая концами измазанные в машинном масле руки, спросил, кивнув на Яшку:

— Это твой, что ли?

— Мой.

— Вот он, значит, какой… Ну, так ты сегодня с ним придешь? — И, не дожидаясь ответа, спросил Яшку: — Что, брат, интересно? Устроить бы его на завод надо, Настя! Чего парню не у дела сидеть? Хочешь на завод, герой?

Яшка не знал, почему он «герой», и не ответил; мать, отворачиваясь, ответила за него:

— Мал он еще, Павел Титыч… Жалко…

Павел Титович подмигнул Яшке:

— Ничего, здоровей будет. Так ты, Настя, значит, к восьми приходи…

Вечером они пошли к Алешиным на именины. Алешины жили в отдельном домике, сколоченном, как и все дома в поселке, на живую нитку, но зато здесь жила вся семья. Старик, Тит Титович Алешин, приехал сюда из Питера, заранее договорившись с вербовщиком, что семью не рассуют по разным баракам. У старика были золотые руки, и администрация согласилась.

У Тита Титовича было три сына: Павел работал на заводе, средний сын, Михаил, был сейчас в действующей армии. До этого он работал в Питере у Леснера, был связан с подпольной

большевистской организацией, и его уволили с завода в самом начале войны. Младшему, Алексею, шел двадцатый год, но он уже считался хорошим токарем. Любил Алеша погулять, потанцевать, одеться, покрутить с девушками и выпить по случаю в компании. И хотя он не был пьяницей, не хулиганил, работал серьезно, отец и Павел были им недовольны; Тит Титович иначе не называл его, как «шалопаем».

Всего этого, конечно, Яшка не знал. Не знал он, что Павел Титович, овдовевший лет шесть назад, любит его мать. Он просто впервые в жизни шел в гости, на именины, и немного волновался, забегал вперед матери и заглядывал ей в глаза: как она, спокойна ли? Но мать была спокойна.

Гости уже собрались. Оказалось, справлялись именины дочери Павла Титовича, Клавы, и здесь были ее подруги; Клава была старше Яшки на год. Их познакомили. Яшка, смущенно протянув Клаве руку, буркнул:

— Яшка.

Та прыснула:

— А по батюшке как?

Он совсем смутился, но выручила бабушка Клавы, Марфа Ильинична:

— Цыц ты, насмешница!

Все сели за стол. Марфа Ильинична подала горячий пирог с палтусом и другой — со свининой. На столе стояла разная закуска, бутылки с самогоном. Марфа Ильинична сварила пиво и брагу: пиво было хорошее, а от браги кружилась голова и слабели ноги. Все выпили; Яшке налили маленькую рюмку самогону. Когда он хлебнул этой бесцветной, чуть мутной жидкости, у него перехватило горло, он поперхнулся и закашлялся, выскочив из-за стола. Бабушка Марфа заругалась, ткнув Павла Титовича в затылок:

— Что ты, бесстыжий, делаешь? Не видишь, ребенок еще! Ух, ума-то у тебя!..

— Ребенок? — Павел Титович захохотал, открывая молодые крепкие зубы. — Он скоро рабочим будет, а ты говоришь, ребенок!

За столом стало весело, глаза у всех заблестели. Дядя Павел затянул песню. Пели «Варяга» и «Сказал кочегар кочегару»; дядя Леша подыгрывал на гитаре.

— Ладно, взрослым хватит! — заворчал Тит Титович. — Пускай теперь дети повеселятся, именины-то вроде бы не наши.

С шумом встали из-за стола и перешли в другую комнату. Дядя Павел сыграл марш. Девочки были веселые, и Яшка тоже развеселился. Его учили танцевать вальс. Сперва ничего не

выходило, — он то и дело наступал на ноги Клаве, Зине и Шуре, а когда начало что-то выходить, все уже устали; Тит Титович, довольно поглаживая седые, щеточкой, усы, крикнул:

— Ну, а кто лучше споет или стишок расскажет?

Петь Яшка не умел, а стихи любил и знал их множество. Не дожидаясь, пока кто-нибудь начнет, он встал и, протянув вверх руки, как это делал учитель, прочитал первые строчки:

Ликует буйный Рим… торжественно гремит
Рукоплесканьями широкая арена.
А он — пронзенный в грудь — безмолвно он лежит,
Во прахе и крови скользят его колена…

Звонкий голос Яшки перешел на высокие ноты; он ясно представлял себе и буйный Рим, и широкую арену, и полуобнаженного, залитого кровью человека.

Прости, развратный Рим, — прости, о край родной…

Все захлопали в ладоши, а бабушка Марфа утирала платком заплаканные глаза. Яшку попросили прочитать еще что-нибудь, и он прочитал одно стихотворение, напечатанное в губернской газете. Стихотворение было о войне, а она сейчас касалась всех.

От крепких твердынь Перемышля,
С далеких австрийских полей,
Бедняга солдат утомленный
Плетется к деревне своей.
По прихоти баловня-ветра
Рукав его хлещет в лицо.
— А чтоб тебя мухи заели,
Казенное треплешь добро!

Далее говорилось, как солдат подошел к своей деревне, но никто из родных не выбежал встречать калеку. Соседи рассказали ему:

Жену твою некий проезжий
В столицу увлек за собой,
А мать твоя, бедная, с горя
В могилу сошла на покой.
Сестра твоя там, в лазарете,

У коек дежурит, не спит,
А брат твой, лихой доброволец,
В бою под Варшавой убит.

У Яшкиной матери и у девушек глаза тоже стали влажными. Всех, кто был здесь, неожиданно растрогали эти безыскусные стихи.

— Молодец у тебя, Настенька, сын, — сказал скупой на похвалы Тит Титович. — Его бы дальше учить надо. Может быть, адвокатом станет.

«Адвокат» для Тита Титовича был самый высокий чин. Как-то ему довелось попасть на открытое заседание суда, где с речью выступал знаменитый петербургский адвокат Плевако. С той поры, если Тит Титович желал кому-либо из ребят добра, он обязательно определял его в «адвокаты». И не знал он сейчас, что эта кличка останется за Яшкой с его легкой руки надолго…

Все стали собираться по домам. Начали прощаться, бабушка Марфа подтолкнула именинницу к Яшке.

— Поцелуйся, Клава, с Яшей. Видишь, какой он молодец, как нас стихами уважил!

Клава потянулась к нему, но он, покраснев, быстро выскочил в прихожую, схватил свое пальтишко и в одной рубашке выбежал на улицу. Мать вышла за ним и недовольно сказала:

— Ну, кавалер хороший, что же это ты? Обидел Клавочку-то. И бабушка на тебя обиделась. Что же ты не поцеловался с Клавой?

— Больно надо! — буркнул Яшка. — Буду я с девчонками целоваться! Я, мам, с женщинами никогда целоваться не буду.

— Это почему же? Чем тебе женщины досадили?

Он не заметил, как улыбнулась мать, и не расслышал, как она сказала: «Ребенок».

— Что?

— Я говорю, Павел Титыч к мастеру обещался зайти, Яшенька.

3. Яшка идет работать

В этот день Яшка проснулся рано. До первого заводского гудка оставалось еще не менее двух часов, но ему не спалось. За окном стояли робкие серые предутренние сумерки; мелкий, холодный, осенний дождь шуршал по стеклу. Когда шелест замирал, было слышно, как с потолка падают на пол звонкие капли.

Яшка, заложив руки за голову, глядел на серый, мутный квадрат окна, перечеркнутый оконной рамой, и пытался представить себе, как он начнет работать. Пускай не гордится теперь Петька Зуев, не важничает Колька Чистяков. Раньше Яшка завидовал им, особенно тогда, когда они возвращались с завода в промасленной, грязной одежде. Чистяков, кашляя, выплевывал черную слюну — и этому Яшка тоже завидовал.

Мать купила ему на толкучке поношенные штаны из «чертовой кожи» и такие же поношенные, большие, не по ноге, ботинки. Из своей старой юбки она сшила курточку с тремя большими карманами. Мастер Филимонов, к которому мать водила его на днях на квартиру и которому в прихожей сунула десятку, велел Яшке приходить сегодня на работу в ремонтно-механический цех. Мастер сказал, что Яшка будет учеником слесаря.

И вот он не может спать, а лежит с открытыми глазами и мечтает о многом, о чем прежде и думать не смел. Еще вчера все считали его маленьким: мать едва упросила Филимонова принять его на работу, и только десятка сделала мастера покладистым и уступчивым.

В каждую получку, думалось Яшке, половину денег он будет отдавать матери, а вторая половина пойдет на брюки клеш, широкую черную резину вместо ремня и белую рубашку «апаш», какие носят в поселке все взрослые парни. На остальные деньги надо обязательно купить рыболовных крючков, две волосяные лески (надоело ловить рыбу на суровую нитку, которая только запутывается), ну и разную там мелочь.

Вот тогда пускай посмотрит Клава Алешина, ребенок он или нет. С Клавой он еще не разговаривал после тех именин, когда убежал в одной рубашке на улицу, не желая, чтобы она его поцеловала. Сейчас при встречах с Клавой он краснел до ушей, сам не зная почему, и старался куда-нибудь юркнуть, убежать, будто был в чем-то виноват перед ней.

Он не заметил, как совсем рассвело и все предметы в комнате приняли четкие очертания. Скрипнув топчаном, приподнялась

мать и, свесив босые ноги, долго зевала, зябко поводила плечами, словно боясь ступить на холодный пол.

Яшка притворился спящим и смотрел, как мать, усталым движением руки проводя по глазам, поднялась, вздохнула и, надев свой рабочий халат, тихо вышла на кухню.

Яшка вскочил, натянул купленные ему старые штаны, которые оказались велики и длинны, подпоясался ремешком, засучил штанины до щиколоток и стал надевать грубые ботинки.

Но странная вещь! Стоя сейчас посреди комнаты, Яшка вдруг почувствовал, что ему хочется одного: лечь снова на теплый сенник, закрыться с головой одеялом, поджать к животу коленки, заснуть и никуда не идти. Ему стало как-то одиноко и холодно от сознания, что вот через полчаса надо будет выйти на улицу, в дождь, прошагать чуть ли не через весь поселок, войти в сырой неуютный цех и остаться там с незнакомыми, чужими людьми. Таким — растерянным, едва не плачущим — его и увидела мать…

— Сам встал? А я уж будить тебя пришла. Ну вот, Яшенька…

— Мам…

— Что тебе?

— Ничего. Только если драться будут, убегу.

Мать испуганно схватила его за руку, будто он собирался убежать сейчас.

— Что ты, что ты!.. Я попрошу, чтобы тебя не забижали. А уж ты, Яша, слушайся старших, мастера Корнея Фаддеевича слушайся. Он в большом почете у начальства; он и тебя в люди выведет. Смотри, как живет человек. Ему начальство и дом с сараем дало, и корова есть, и поросенок, и куры у него — видал? Вот хорошим-то людям и бог помогает, все у них есть…

Чтобы не разбудить спящих работниц вечерней смены, мать шептала, наклоняясь к Яшке, и тот улавливал в этом шепоте какое-то прежде не знакомое в матери равнодушие или усталость.

— Видно, прогневали мы бога, мало молились ему, — шептала мать. — Вот и ты, Яша, за стол садишься, лба не перекрестишь. Может, сейчас нам легче будет: пятнадцать — двадцать целковых — все хлеб. Дорого все нынче стало…

За окном сначала нерешительно, а потом словно бы набирая силу повис мерный густой гудок: до начала смены оставалось пятнадцать минут. Мать намазала брусничным вареньем два куска хлеба и сунула Яшке в карман.

— Ну, иди… Дай я тебя перекрещу… О, господи!..

Она стояла спиной к окну, но Яшка заметил, как на воспаленных веках у матери показались слезы. Он сам почувствовал, что может разреветься сейчас, и, нахмурившись, пошел к дверям.

На улицу из бараков уже выходили рабочие. Людской поток собирался ручейками, ручейки сливались, и возле завода уже стояла, как вода у запруды, плотная толпа.

Сзади Яшку окликнули: «Родный, погоди!..» Работая локтями, прошмыгивая между рабочими, Петька Зуев пробирался к нему, не обращая внимания на ленивые и беззлобные окрики.

— Так за тобой бежал, сгорел весь, — переводя дыхание, сказал Петька. — Ну как, робеешь?

— Да чего робеть-то…

Петька важно кивнул: мол, робеть-то, конечно, нечего, но сейчас ты, парень, врешь, робеешь, сам знаю… Косясь на взрослых, Петька сплюнул и, подталкивая Яшку вперед, деловито сказал ему:

— Ты вот что: первым делом получи у табельщика рабочий номер, вот такой. Как придешь на работу — повесь на доску, а когда домой — тогда снимай. Если не повесишь — прогул запишут: вроде тебя и на работе не было. А за каждый прогул знаешь что? Будь здоров, денежки из получки уж обязательно высчитают. А потом получи у мастера марки; тебе без них в кладовой никакого инструмента не выдадут.

Петька стал перечислять, какой инструмент нужен слесарю, и Яшка тщетно пытался запомнить все эти мудреные, скороговоркой произносимые названия: ручник, зубило, кронциркуль, нутромер, линейки…

Чья-то рука схватила Яшку за плечо. Он не заметил, как дошел до проходной, и сторож, проверяющий пропуска, преградил ему дорогу:

— Ты куда?

— Да он новенький, — объяснил Петька, — в первый раз идет.

Сзади напирали, кричали сторожу: «Не задерживай!» — а растерявшийся Яшка шарил по карманам: где-то должна была у него быть записка от Филимонова — какие-то каракули на драном листке бумаги, подтверждающие, что «податель сиго Яков Курбатов пропускаица в завот».

* * *

Конторка старшего мастера ремонтно-механического цеха помещалась на втором этаже двухэтажной каменной пристройки. От этой пристройки в обе стороны шли корпуса двух производственных цехов артиллерийского завода. Одним окном конторка выходила в цех, а другим — на заводский двор. Отсюда

было видно все, что делалось в цехе, и мастер мог не выходя знать, кто как работает и что делает.

Яшка стоял у дверей конторки, переминаясь с ноги на ногу, все не решаясь войти, но из конторки вышел рабочий; в отворенную дверь Филимонов увидел Яшку.

— Ну, что стоишь? Заходи, не напускай холода! — крикнул мастер. — Покажись-ка… Ох, какой же ты сморчок! Подойди поближе, не бойся, не съем.

Яшке стало и страшно и обидно. Его словно бы сковало: язык вдруг разбух во рту, а ноги стали какими-то ватными. Мастер легонько ткнул его в плечо, усмехнулся:

— Ладно! Давай работай. Больно просила за тебя мать, а то бы не взял. Тебе еще без порток бегать положено…

Он помолчал, пожевав бесцветными мясистыми губами, и уселся поудобнее на скрипучем резном стуле:

— Ты смотри только старайся. Не будешь стараться, сразу выгоню за ворота. Много вас таких… Кем быть-то хочешь?

Яшка уже немного освоился; даже громкий, какой-то рыкающий голос Филимонова показался ему вовсе не таким уж страшным.

— Слесарем я хочу быть, Корней Фаддеевич!

— Слесарем так слесарем. — Он обернулся к табельщику, который сидел здесь же, в конторке, лениво прислушиваясь к этому, должно быть, привычному ему разговору. — Митя, запиши его в списки.

Так же лениво табельщик записал Яшку, потом сунул руку в ящик стола и вытащил жестяной номер.

— Держи. Потеряешь номерок — рупь из получки высчитаем. Не вздумай себе медный сделать, а то тебя шкеты в цеху научат. Если повесишь медный — прогул буду писать, а за это у нас знаешь… К кому его приставим, Корней Фаддеевич?

Мастер, прежде чем ответить, долго ковырял в зубах обломанной спичкой, смотрел за окошко в цех, будто и не слышал этого вопроса. Молчал и табельщик, ожидая, что скажет Филимонов. Наконец тот сплюнул на пол и сказал:

— Да хотя б к Данилычу. Валяй, веди его.

Яшка шел по длинному цеху, заглядывая вперед, пытаясь угадать, который из рабочих Данилыч. Наконец табельщик подвел его к пожилому рабочему; тот, шепотом ругаясь и краснея от натуги, зажимал в слесарные тиски какую-то деталь.

— Данилыч, мастер к тебе ученика прислал. Слушаться не будет, так ты не стесняйся.

Рабочий мельком взглянул на Яшку; тот увидел бесцветные, пустые, равнодушные глаза и отечные мешки под ними. Он стоял,

не зная, что должен сказать Данилычу, и не замечая, что сзади подошел мастер Филимонов.

— Мне… за марками сходить? — буркнул Яшка.

Данилыч снова взглянул на него и снова ничего не ответил, только усмехнулся.

— Какие марки? — неожиданно спросил Филимонов. — По которым инструмент получать?

Яшка обернулся. Мастер трясся от смеха; под подбородком, на шее, у него вздулись большие мешки, поросшие ржавой щетиной. Табельщик, вторя ему, тоже засмеялся мелко и дробно, открывая гнилые пеньки редких зубов.

— О-ох, бойкий ты какой! Марки ему выдай… Марки захотел! А ты знаешь, что мы по году не только марок, а инструмента в руках не держали?

Филимонов так же неожиданно, как и засмеялся, помрачнел, вытер ладонью покрасневший лоб и зло крикнул Яшке:

— Испортили вас, молокососов! Нос вытереть не умеет, а со стариками равняется. Ты его, Данилыч, как следует, по-нашему учи…

Когда Филимонов ушел, Данилыч повернулся к ученику.

— Как звать?

— Яша.

— Ишь ты — Яша! А кто же так тебя зовет? Для меня ты Яшка. Понял? Яшка. Ишь ты, какой благородный! Яша! Тоже скажет… — ворчал Данилыч. — Поди, слесарем хочешь быть? Работать думаешь? А знаешь ли ты, голова садовая, что ученье сразу не начинается? До него, до ученья-то, надо до мозолей на брюхе выползать. Я у хозяина только на втором году первый раз ручник и зубило в руки взял. Понял?..

Он не договорил.

Яшка стоял и слушал. Его утренние мысли о работе, о заводе как-то поблекли, потускнели; что-то нехорошее, тревожное и тяжелое шевельнулось в сердце.

— Значит, на слесаря выучиться хочешь? Это, конечно, можно, — продолжал Данилыч. — Ты чей будешь?

— Курбатовой сын…

— Это что, той, что в пятом цехе?

— Ее, — еле слышно ответил Яшка.

— Ну что ж, поучить я тебя поучу, а клепка мне за это будет?

Яшка поглядел на него удивленно.

— Ну, угощение, — поморщившись, пояснил Данилыч.

— Не знаю, — снова почти шепотом ответил Яшка.

— Вот те раз: «Не знаю»! У кого же мне, у индюка, что ли, спросить?

— Я мамке деньги буду отдавать — сказал Яшка, подумав: «Вот на новую рубашку я бы тебе деньги дал». Но сейчас ему хотелось одного: скорее уж заняться делом, и он согласился:

— Ладно уж… Я у мамки денег выпрошу…

— Вот и давно бы так! Сейчас я тебе тиски на верстак приспособлю.

Данилыч куда-то ушел и, вернувшись со слесарными тисками, стал устанавливать их на верстаке. Потом он подал Яшке ручник, зубило и закрепил в тисках какую-то железину.

— Научись сначала рубить, — сказал он. — Держи вот ручник. Да не так держи, а ближе к краю черенка. В левую руку возьми зубило. Ну, начинай! Да не так. На зубило-то не смотри! Смотри на острие… Опять не так… Чего ты боишься? По руке ударить боишься? Без этого, брат, не научишься. Ну, руби давай!

Яшка начал рубить. Удары получались слабые, неуверенные. Рубка не получалась. Его невольно тянуло смотреть на ручник, когда он ударял по зубилу.

— Куда смотришь? — зло спросил Данилыч. — Руби, как показано… Опять не туда смотришь!

Он стукнул Яшку по затылку, и тот покачнулся от этой затрещины, тоскливо подумал: «Начинается…»

Наконец Яшка ударил ручником сильно, по всем правилам. Острая боль обожгла левую руку; он выронил зубило: из большого пальца текла кровь, и он сунул его в рот.

— Ничего, ничего, — усмехнулся Данилыч. — Заживет, руби дальше…

Яшка рубил, оставляя на зубиле бурые следы крови. Все шло хорошо, и он ударил по зубилу посильнее. Снова острая боль, казалось, сжала сердце, перехватило дыхание: он разбил и указательный палец.

— Ты паутины приложь, останови кровь-то, — посоветовал Данилыч. — Паутины-то сколько угодно.

Яшка приложил густую пыльную паутину к ране, и мало-помалу кровь перестала течь. Но работать он уже не мог, сидел и смотрел, как рубит металл Данилыч.

На другой день рабочий показал Яшке, как надо нарезать болты и гайки. Яшка был уже доволен своим учителем и даже проникся благодарностью к этому ворчливому, вечно чем-то недовольному человеку.

Но через три дня все неожиданно кончилось: Яшку вызвали в конторку мастера Филимонова.

4. «Пузан»

В заводском поселке и на заводе старший мастер Филимонов был фигурой весьма заметной. Сын крупного сибирского богатея, кулака-сектанта, он из-за чего-то рассорился с отцом и двадцатилетним парнем приехал в Петербург. Одно время служил приказчиком у купцов в бакалейных лавках, был нечист на руку, да так, что никто его больше не принимал, и волей-неволей пришлось ему поступать на завод Петербургской металлической компании. Вначале он служил конторщиком, но за какую-то очередную проделку его выгнали. Филимонов выучился и стал плохоньким слесарем, зато умел подойти к начальству. Говорили, что Филимонов был в охранке негласным агентом. Как бы там ни было, начальство заметило его: вскоре Филимонов стал мастером.

Говорили и другое. Рассказывали, что в 1905 году его вывезли из цеха на тачке, но потом он вернулся на старое место, подсмеивался: «Видали революцию?» Строил разные пакости. Один раз ему сделали «темную» — накрыли мешком и крепко избили.

Оставаться на заводе было уже опасно, и начальство посоветовало ему завербоваться в провинцию, на вновь построенный Печаткиным военный завод.

Приехав, он сразу завел себе хозяйство: крепкая кулацкая жилка и тяга к земле так и остались у него, несмотря на долгую жизнь в городе. Кроме большого огорода, у него были корова и коза, поросенок, куры, гуси, важные индюшки. Филимониха приторговывала на рынке.

Самому Филимонову было лет пятьдесят пять. Он был коротконог; толстый, выпирающий вперед огурцом живот обтягивала жилетка с серебряной цепью и многочисленными брелоками. За этот живот рабочие, да и все в поселке, звали его не иначе как Пузаном. Эта кличка заменяла ему имя.

В приплюснутом, одутловатом, с маленькими, вечно неспокойными глазками, лице Филимонова проскальзывало что-то бабье: все оно было какое-то рыхлое, мягкое, и казалось, ткни пальцем — и, как на свежей булке, останется вмятина.

Вызванный к мастеру Яшка перепугался и всю дорогу до дверей конторки лихорадочно соображал, в чем же он успел провиниться. Как и в прошлый раз, он долго не решался войти, чувствуя, как неприятно замирает сердце. Очевидно, Филимонов видел, как Яшка шел по цеху; он сам пинком отворил дверь.

— Эй, как там тебя? — сказал мастер. — Знаешь, где я живу?

Ну вот и подойди ко мне домой, помоги там по хозяйству.

Опешивший Яшка ничего не мог ответить. Где живет Пузан, он знал, заходил к нему с матерью, но ему совсем не хотелось помогать Филимонихе.

— За полчаса до гудка придешь обратно и номер с доски снимешь. Ну, иди, иди! Вот пропуск для проходной. И чтоб как из пушки…

Яшка медленно прошел проходную и остановился возле дома Филимонова, опрятного, с выкрашенной суриком крышей и резными наличниками на окнах. Филимониха увидела его со двора и недовольно крикнула:

— Больно ты долго… Ну, давай-ка неси ведро с пойлом поросенку.

Он понес тяжелое ведро с пойлом в свинарник, где лежал на соломенной подстилке огромный боров. Борова звали Колькой. Филимонов, словно в издевку, любил давать человеческие имена животным: корову у него звали Марфой, кот был Филька, и даже индюшка называлась Сонькой. Боров, почувствовав запах пищи, заворочался, неуклюже вставая и с трудом поворачивая голову на жирной, в складках, шее. Яшка, только увидев его, ахнул и неожиданно для себя захохотал, прислонившись к косяку: боров до удивления походил на своего хозяина.

* * *

Все дни слились для Яшки в какую-то однообразную серую цепочку, и ему казалось, что он работает давно, всегда, и все прежнее — просто какой-то очень хороший и неповторимый сон.

Петька Зуев, тот просто сказал:

— Знаешь, от тебя коровьим дерьмом пахнет. И охота тебе была…

Все объяснения Яшки, что иначе нельзя, что мастер просто прогонит с завода, что мать велит терпеть, — Петька слушал, позевывал и равнодушно бросал:

— Ну-ну, давай корми своего борова… А я на твоем месте такое бы мастеру сказал! Все равно ведь выгонит, а так хоть с треском…

Яшка продолжал таскать свежую соломенную подстилку, приносил воду для скотины, гонял на ближайший пруд гусей. Но, когда Филимониха послала его чистить свинарник, он потупился и не сдвинулся с места.

— Слышишь ты? Кому говорят?..

Яшка медленно повернулся и пошел на улицу. Он вышел за

калитку, постоял, ковыряя носком влажную жирную землю, и внезапно подумал: «А ведь выгонит… Возьмет и выгонит». Ему не хотелось возвращаться назад, но страх словно толкал его в спину, и он вернулся, подчинившись этому страху, не в силах перебороть его. Вечером он рассказал все Петьке; тот просто взъярился:

— Трус ты и больше никто. Вот что я тебе посоветую: не поддавайся ты Пузану, заездит он тебя, исплотатор. Он знаешь какой? Смирных любит.

И Яшка соглашался с ним, соглашался потому, что ему не хотелось соглашаться с матерью, которая только и говорила о том, чтобы он терпел. Выход нашел тот же Петька.

В один из ясных дней они «потели цыганским потом» на берегу Сухоны, и Яшка, пересчитывая стершиеся медяки, кряхтел, качал головой, вздыхал, сбивался со счета и начинал считать снова.

— Ты что? — спросил Зуев.

— Клепку надо ставить. Мой бутылку самогону потребовал. Придется в Бердинку бежать…

Деревня Бердинка была в семи верстах от поселка, и по дороге ребята придумали: напоить пьяными филимоновских кур и петуха, а коту и борову мазнуть под хвостом скипидаром. Скипидар был у Кольки Чистякова: он кашлял, и мать ему каждый вечер натирала грудь. На обратном пути они отлили в консервную банку самогона и спрятали в штабелях бревен. Всем хотелось посмотреть, что получится из этой затеи.

— Сделай завтра утром. Мы во второй смене работаем, придем… — просили ребята.

На следующее утро Яшка взял спрятанную банку с самогоном и принес ее в коровник. Там он нашел тарелку с отбитыми краями, перелил в нее самогон и насыпал овса: через час овес пропитался самогоном и набух.

Яшка часто кормил кур, и они знали его. Когда он вышел из коровника, куры, переваливаясь с боку на бок, бросились к нему. Овес он высыпал на землю, а тарелку снова спрятал в коровнике.

Ребята залегли в канаве, а Яшка спрятался за изгородью. Ждать им пришлось недолго: сначала прокукарекал петух. Кукареканье его было неслыханное, страшное и походило на треск разрываемой материи. Ребята помирали со смеху, а Яшка, вбежав в сарай, мазнул борова Кольку по «пятачку», потом сунул намоченную в скипидаре тряпку коту и отскочил в сторону. Боров заревел и выбежал из свинарника. Всей своей тушей он навалился на забор, повалил его, выскочил на дорогу и бросился бежать по лужам, поднимая фонтаны брызг. Кот Филька совсем ошалевший вылетел на двор, какую-то долю секунды постоял на месте, тряся

напряженным, как струна, хвостом, и затем, завыв дурным басом, бросился на крышу.

— Ратуйте, православные! — кричала Филимониха, как мельница, размахивая руками. — Светопреставление началось! Антихрист пришел! Куры подохли, скоты с ума посходили! Солнце уже заходит! Ой, как Филька-то орет! Манька, беги за Колькой, гони его с дороги.

Филимониха пнула свою испуганную, окаменевшую и ничего не понимающую дочь. Рабочие, проходившие мимо филимоновского дома, хохотали, многие перегибались, держась за животы. Старухи, слушая Филимониху, крестились, озираясь по сторонам, высматривая, с какой стороны появится антихрист.

Яшка не дожидался конца этого «светопреставления»: он тихонько вылез из канавы и побежал к заводу.

В цех он вошел как ни и чем ни бывало, подошел к Данилычу и попросил его дать работу.

Филимонов увидел Яшку из окна конторки: «Ишь ты, сукин сын, и двух часов не проработал. Удрал ведь». Он послал табельщика позвать Яшку в конторку.

— Ты что же это, паршивец, сбежал? Я тебя совсем за ворота выгоню!

Он орал, а Яшкой овладело такое отчаяние, что ему сейчас было уже все равно. Все наставления и жалобные просьбы матери «не гневить начальство» вылетели у него из головы. Яшка расплакался, промасленным рукавом размазывая слезы по лицу и оставляя на нем грязные полосы.

— Не пойду я больше туда… — всхлипывал Яшка. — Что я, холуем к вам нанимался? Я на завод, а не к вам нанимался!

Сказав, как ему уже казалось, самое главное, он осмелел и поднял глаза:

— Я в цеху работать хочу. Меня и так все дразнят… По улице не пройти…

Филимонов вначале остолбенел, а потом разразился такой бранью, что Яшка, ожидая удара, втянул голову в плечи. Всю эту сцену видел мастер другой смены — Александр Денисович Чухалин. Он не выдержал, подошел к столу и, обращаясь к Филимонову, тихо сказал:

— Зря ты, Корней Фаддеевич, над мальчишкой издеваешься. Неровен час, управляющий узнает, что ты за счет хозяина батраков себе содержишь, ведь тебе же плохо будет. Переведи ты этого паренька ко мне в смену, по-моему, толк из него выйдет. Ну как, согласен?

Пузан посмотрел на Яшку. Он еще ничего не знал о его проделке и крикнул:

— Пошел вон отсюда!

Из конторки Яшка вышел с Чухалиным. Положив руку на Яшкино плечо, тот сказал неожиданно ласково:

— Будешь в моей смене работать.

5. Большевики

Завод работал уже больше года, а люди все приезжали и приезжали в Печаткино. Никто не знал и не считал, сколько здесь собралось народу; одни говорили — пять, другие — восемь тысяч.

В короткий срок возле проходной завода в один ряд выстроились четыре питейных заведения, с бильярдными и отдельными кабинетами наверху. Быстро выросла в поселке деревянная церквушка, и хилый, чахоточный попик освятил ее под «духов день» во славу божию. И конечно, будто из-под земли появились в Печаткино несколько городовых, как есть по всей форме: при шашках и с красными кантами.

Все было как положено… Кабак, церковь и городовой — что еще надо властям, чтобы чувствовать себя совсем спокойно!

Как-то Чухалин полушутя, полусерьезно сказал Алешину:

— Смотри, Павел, и учись: вот работа! А мы что? Пока типографию налаживаем, уже четыре кабака вовсю действуют, официанты с ног сбились.

Алешин кивнул и отвернулся, не ответив на шутку.

В самом деле, группе заводских большевиков на первых порах пришлось в Печаткино туго. В первые же месяцы по доносу провокатора были арестованы и сосланы восемь человек. В Петрограде об этом узнали поздно, и, когда приехал Чухалин, в Печаткино оставалось только пятеро большевиков.

Начал Чухалин с того, что послал Беднякова в Питер за шрифтами. Однако время шло, а тот не возвращался, и Чухалин, внешне оставаясь спокойным, был уверен, что Беднякова задержала полиция.

Чухалин работал на заводе мастером и, как мастер, имел по соседству с Алешиным свой небольшой домик. Впрочем, если б не Алешин, этого домика у него никогда не было бы: Павел Титович рассказал ему, как договаривался с вербовщиками отец, и Чухалин тут же отправился к управляющему. Пришлось разыграть из себя этакого хапугу вроде Филимонова, зато в награду он получил отдельный домик, где большевики могли собираться; в бараках это было бы немыслимо.

Мастер жил один. Долгое время Алешин не решался спросить у него, женат ли он, этот немолодой уже человек. Чухалин сам сказал ему об этом в один из декабрьских дней.

— Всегда меня в это время в Москву тянет…

— Почему в Москву? Ты же питерский.

— Питерский-то питерский… А десять лет назад мою Варьку на Пресне убили…

На этом разговор и кончился, но после него у Алешина осталось чувство щемящей жалости к Чухалину, жалости, которую он боялся не только высказать вслух, но даже показать.

Быть может, так происходило потому, что Алешин сам был вдовцом и хорошо знал, как тяжело потерять любимого человека. Скупо и немногословно он передал этот разговор отцу. Тит Титович сразу как-то засуетился, забеспокоился, и впоследствии Алешин так и не мог узнать, когда же старик близко сошелся с Чухалиным. Как бы там ни было, мастер стал бывать у них чаще — «по-соседски», как говорил Тит Титович, — но Алешину ясно было, что отец просто тянет Александра Денисовича в семью, где тот может отдохнуть, не оставаясь наедине с собой; и Чухалин тоже понимал старика, был благодарен ему за это.

Обычно они сходились по субботам. На столе появлялся самовар, а в праздник — и бутылка самогонки, которую старик распивал один: Чухалин не пил, а Алешин стеснялся выпивать при нем. Разговор заходил о самом разном; однажды он коснулся ребят, работающих на заводе, и Чухалин вспомнил, что перевел на днях в свою смену паренька, Яшку Курбатова, которого Филимонов едва было не загрыз.

— Это ты верно сделал, — одобрительно заметил Тит Титович. — Я этого парнишку знаю: ну, чистый адвокат Плевако. А кроме того…

Он многозначительно закашлялся, сделав вид, что поперхнулся чаем, с ехидцей поглядывая на сына. Тот покраснел, сердито шевельнул густыми, как у отца, мохнатыми бровями. Но Чухалин, ничего не заметив, спросил:

— Что?

— Да так… Вроде бы мой-то с Курбатовой того… Погуливает, одним словом.

— Вот оно что? — удивленно протянул Чухалин. — Ну что же, дело, как говорится, молодое… На свадьбу-то пригласишь?

Алешин ответил на шутку что-то невразумительное.

Но, прощаясь с ним в сенях, Чухалин спросил его серьезно:

— Слушай, Павел, вот о чем я хотел спросить. Не помешает тебе любовь-то эта? Нет, ты не обижайся, а дело тут такое… Я ведь давно все заметил, все знаю. Ну, и не лежит у меня к Курбатовой душа: какая-то темная она, забитая, богобоязненная. А я вот тебя в Питер хочу послать. Как она, поймет, если что-нибудь с тобой случится? Жизнь-то она, брат, у нас с тобой трудная, и жены с нами одной думкой жить должны.

Алешин ответил не скоро. В темноте сеней Чухалин не видел его лица, но чувствовал, что тот растерян сейчас.

— Так ведь что поделать? — тихо отозвался он наконец. —

Люблю я ее, Александр Денисович. А в Питер, что же, конечно, поеду. Ты думаешь, Бедняков…

— Все может быть, — отрезал Чухалин.

Три дня они к этому разговору не возвращались. А на четвертый Чухалин постучался в окошко к Алешиным и вызвал Павла Титовича во двор.

— Пойдем ко мне, потолкуем.

Алешин, решив, что Александр Денисович будет сегодня говорить о том, что и три дня назад, не на шутку разозлился: какое тому в конце концов дело до его личной жизни? Входя в чухалинский дом, он уже заранее обдумал те слова, которыми ответит мастеру.

Но, войдя в комнату, он ахнул. Возле завешенного одеялом окна сидел смеющийся, счастливый Бедняков, а в углу — рабочий пятого цеха Пушкин.

— Ты откуда? — бросился к Беднякову Алешин.

— Где был, там нет, — хохотнул Бедняков. — Был, да весь вышел.

Алешин улыбнулся: Бедняков всегда говорил прибаутками и полузагадками. Но тут же Бедняков кивнул в угол комнаты, и Алешин увидел, что там, на табуретке, стоит деревянный сундучок с замочком: с такими сундучками в ту пору колесили по железным дорогам мастеровые, голь перекатная, в поисках своих молочных рек да кисельных берегов. Замок был снят и лежал сверху.

— Да подойди, не бойся, — снова хохотнул Бедняков. — Не кусается.

Алешин, еще не веря в удачу, подошел и откинул крышку сундучка. Там, аккуратно разложенные по мешочкам, лежали типографские шрифты. Алешин поднял один такой тяжелый мешочек, подкинул на руке и, повернувшись, спросил:

— Значит, порядок? Эх, братцы, и закрутим теперь машинку! Только…

— Печатника нет… — словно бы в раздумье сказал Чухалин. — Ты не радуйся, Павел Титыч, нам еще до машинки-то знаешь сколько сделать надо!

— Придется тебе в город ехать за печатником. Мы пока начнем собирать станок. А вот листовки носить… Ну, да там придумаем…

Алешин понял распоряжение Чухалина — ехать в город — как попытку оторвать его от Курбатовой; этого, по всей видимости, страстно желал мастер. Он побагровел, но, вспомнив недавний разговор в сенях, промолчал, забился в угол и больше не вылезал оттуда, слушая, как Бедняков рассказывает о своих

похождениях в Питере. Он так бы и молчал до конца, но Чухалин опять завел разговор о том, кто же будет переносить на завод листовки — так, чтобы рабочие, которых время от времени обыскивали, не подвергались опасности.

— Тот же Яшка Курбатов. Я за парня ручаюсь. Поговорить с ним надо разок посерьезнее, — сказал вдруг Алешин из своего угла.

— Ну, вот и поговори, — обрадованно откликнулся Чухалин. — Как приедешь, так и затащи его к себе. По-моему, тоже смышленый парнишка… Только запуганный малость.

А Яшка, уставший после смены, спал и не знал, что именно этой ночью на многие и многие годы вперед — да что годы, на всю жизнь! — была определена четырьмя взрослыми людьми его судьба.

* * *

Из города Алешин вернулся неожиданно быстро: через три дня. Отлучку он объяснил просто: болел, ездил в больницу. Из получки у него вычли три рубля и пригрозили, что, если такое повторится, с завода выгонят. Алешин клялся и божился, что больше он болеть не будет, и ходил именинником, с трудом скрывая улыбку и меньше всего напоминая тяжело больного, замученного недугами человека. Что взрослые? Яшка и тот почувствовал, что здесь что-то не так, и постеснялся спросить у Павла Титовича, чем же он в конце концов болел.

Алешин, нагнав его во дворе, когда кончилась смена, обнял за плечи и спросил:

— Ну, Плевако, а к нам что не заходишь? Дочка по тебе соскучилась. Пойдем сейчас, а?

Яшка забормотал, что ему надо домой, мать будет волноваться, да и грязный он, но Алешин уже крепко держал его за плечо и посмеивался.

— Ничего… Мы матери объясним как-нибудь… А вымоешься у меня, и с мылом.

Яшка не хотел идти, но Алешин его тянул:

— Да что ты ломаешься, как дешевый пряник! Сказано — идем, — значит, идем.

Наконец Яшка понял, что вовсе не в Клаве здесь дело, а нужен он самому Алешину, и пошел, едва поспевая за Павлом Титовичем.

Алешин вел себя как-то непонятно. Несколько раз он делал вид, что у него расшнуровались ботинки, хотя Яшка видел, что с

ботинками у Алешина все в порядке. Прежде чем войти в дом, он, зачем-то оглянувшись, стукнул два раз в раму и только после этого поднялся на крыльцо.

Двери им открыл Тит Титович, и это тоже удивило Яшку: обычно двери здесь днем не запирались. И, только войдя в дом, Яшка понял, в чем дело.

Из-за перегородки вышел человек и обрадованно закивал Алешину.

— Это глухонемой, — быстро сказал Алешин Яшке. — Так что не стесняйся. Родственник наш, понимаешь?..

Яшка, растерявшись, смотрел на этого человека и слова не мог вымолвить, будто он онемел от растерянности.

— Проходи в дом-то, — подтолкнул его Алешин.

Яшка шагнул к глухонемому и тихо сказал:

— Дядя Франц… Это я, Яшка.

Все замерли. Франц, повернувшись к пареньку, так же тихонько ахнул: «Майн готт!» — и бросился к нему. Они обнялись. Франц тормошил Яшку; от волнения он позабыл те русские слова, которые знал, и никто не мог понять, о чем он спрашивает. Потом, выпрямившись, Франц повернулся к Алешину и сказал ему:

— Корош малшик… Друк… Как это?.. Настоясчий.

Яшка не понимал ничего. Ни того, зачем его привел сюда Алешин (Клавы дома не было), ни того, какими судьбами очутился здесь немецкий военнопленный Франц. Он скорее почувствовал, что и его приход сюда и появление в Печаткино Франца как-то связаны между собой, но тщетно пока пытался определить, как же они связаны.

А Франц обнимал его снова, все расспрашивая, куда это «ушел маленький друк»; и Яшка, с трудом подбирая слова, рассказал о полицейском, о школе, о приезде сюда. И не понял, почему Алешин, откинув его голову, сказал, глядя ему в глаза своими синими, с черным ободком — совсем как у Клавы — глазами:

— Э, брат, да я и не знал этого. Значит, хлебнул уже шилом патоки?

С того дня изменилась Яшкина жизнь. Встречаясь теперь с ребятами, он пытался скорее уйти от них, прибежать к алешинскому дому, оглянувшись, стукнуть два раза в оконную раму и войти в дом, где его всегда ждали.

Алешин строго запретил ему носить детали станка сразу сюда. «Покрутись с ребятами, сделай вид, что играешь, потом удирай. Скажи: к Клаве пошел. Будут смеяться — не обращай внимания. Понял?»

Ребята и в самом деле смеялись: «Тили-тили-теста, жених и невеста…» Дальше они прибавляли вовсе неприличное; Яшка краснел, однако уходил не оборачиваясь.

Но где собирался станок, части для которого он чуть ли не каждый день выносил с завода, Яшка не знал. На все его расспросы, куда девался дядя Франц, Алешин многозначительно подмигивал и поднимал брови. В доме все стало на свои места. Появились куда-то уезжавшие бабушка и Клава; теперь двери Яшке открывала Клава и командовала:

— Сними ботинки; я только что пол подметала. Теплая вода осталась, можешь мыться. И тихо, пожалуйста, а то дедушка спит.

Яшка покорно снимал ботинки, мыл руки, чувствуя, как вал оттягивает его пояс, и тихо входил в комнаты. Он подчинялся Клаве во всем, зная, что Алешин скажет ей:

— А теперь, Клавочка, оставь-ка нас: у нас свои дела.

Клава дергала плечом — подумаешь, дела, — но уходила; и Яшка внутренне торжествовал.

Однажды он пришел и не застал Алешина дома. Он собрался уходить, но Клава втащила его в дом, за рукав и заявила, что никуда не пустит: она в доме одна, и ей просто-напросто страшно. Яшка смутился, взглянул на нее; нетрудно было догадаться, что она что-то скрывает, и ей вовсе не страшно, а так, придумала предлог, чтобы Яшка остался. Клава носилась по всему дому, притащила самовар, поставила на стол тарелку со студнем. Яшка не поднимал на нее глаза; он чувствовал, что молчать нельзя, надо что-то говорить, но слова застряли у него в горле. А Клава, сидя напротив, глядела на него в упор, подперев кулаками щеки так, что глаза у нее превратились совсем в щелочки.

Яшка, отвернувшись, увидел лежащие на подоконнике книги и, для того чтобы нарушить это тягостное молчание, спросил:

— Ты читаешь?

— Я.

Снова наступила пауза.

— А что это?

— Да так, — сказала Клава словно бы нехотя. — Тебе неинтересно. Гоголь — «Мертвые души».

Яшка впервые поглядел на нее испытующе. «Мертвые души» он читал, но многого не понял, а теперь, услышав это «тебе неинтересно», обиделся: столько пренебрежения слышалось в Клавином голосе. Он с грохотом отодвинул от себя стакан с недопитым чаем и поднялся, придерживая рукой бабашки, насыпанные за пазуху.

— Это почему же? Думаешь, ты одна такая… умная?

Клава ответила сразу же, но с прежней насмешливостью:

— Да ты разве интересуешься книгами? Борова скипидаром помазать или куриц самогоном напоить — это тебе больше по душе.

У Яшки перехватило дыхание: знает! Ну, так что же тут плохого? Ведь иначе-то он не мог уйти от Филимонова. И хотя он собирался сейчас схватить шапку и, не простившись с Клавой, убежать, что-то задержало его. Быть может, то, что в самом тоне, каким были сказаны эти слова, слышалось осуждение, а он не мог понять, в чем же осуждают его. Клава, зевнув, отвернулась.

— Нужны тебе эти книги!..

— А может, и нужны, — вспылил Яшка. — Подумаешь… Что ж худого, что я борова наскипидарил? Так ему и надо!

— Дурак, — спокойно заметила Клава. — Боров-то виноват, что ли? Небось самому Филимонову побоялся бы и кукиш показать, не то чтобы… А на бессловесной скотине легко отыграться.

Яшка, разозлившись, пошел к дверям. Клава остановила его.

— Ты куда? Да постой же. Принес?

Он повернулся.

— Что принес?

— Ну, для отца принес что-нибудь?

— А ты откуда знаешь?

— Теперь знаю, — улыбнулась она. — Давай сюда.

Яков нащупал под рубашкой теплые бабашки, отлитые из обрезков металла, и буркнул:

— Ничего я не принес. А где Павел Титыч?

Клава тихонько засмеялась. Отец стоял в дверях и тоже улыбался: Яков не заметил, как тот вошел. Алешин шагнул к нему и, взлохматив Яшкины волосы, сказал:

— Молодчина ты, парень… А Клава действительно знает… Разве от нее что-нибудь скроешь? Она у нас всюду пролезет.

Ребята, конечно, не догадывались даже, чем заняты Тит Титович, Алешин, Чухалин, Бедняков, Пушкин, но, не зная толком ни о чем, считали себя участниками какого-то очень важного и опасного дела.

Место для типографии было выбрано в нескольких километрах от поселка, на берегу тихой речки Шограш; в ее обрывистом береге была вырыта землянка. Вход в нее скрывали кусты буйно разросшегося ивняка. Чтобы войти в землянку, нужно было подъехать к обрыву на лодке и лезть по веревочной лестнице.

Землянка была сделана так, что в ней можно было жить и зимой. Труба от печи-«буржуйки», выведенная к самой воде, была

незаметна глазу. Здесь, в землянке, стояли нары, стол, несколько табуреток; в углу стоял собранный типографский станок. А в нише, закрытой досками, хранилось святая святых — то, что с огромным трудом удалось привезти Чухалину из Москвы, — оружие…

6. Мастер Чухалин не одобряет

Долгое время почти никто не знал, что собой представляет Александр Денисович Чухалин. Его считали добрым человеком, знатоком своего дела, и только. Он был среднего роста, лет пятидесяти, с совершенно лысой головой. Как все рано облысевшие люди, голову он брил. Ходил Чухалин в жилетке, пиджаке и в брюках навыпуск; на затылок у него неизменно была сдвинута кепка с желтым засаленным ремешком у козырька. И не всякий, глядя на него, смог бы поверить, что этот человек — большевик с тысяча девятьсот четвертого года, возглавляет в Печаткино партийную организацию.

Приехал он сюда из Петрограда. В 1912 году, после Ленских событий, Чухалин был арестован и сослан на два года в Шенкурский уезд Архангельской губернии. В самом начале войны он вернулся в Питер, но нигде не мог устроиться на работу. Пришлось уехать в провинцию. Чухалин был хорошим мастером, и его взяли на новый Печаткинский военный завод. После появления листовок стали поговаривать, что он «самый главный революционер» на заводе, только тонко ведет дело — так, что комар носа не подточит. Когда Чухалин работал ночью, к нему не раз неожиданно являлись жандармы в штатском: в конторке начинался обыск. Был обыск и дома: встревоженное заводское начальство готово было подозревать всех.

Впрочем, на защиту Чухалина немедленно поднимался управляющий Молотилов:

— За Чухалина я вам полдюжины инженеров отдам, — говорил он, зная, что другого такого специалиста-практика ему и в самом деле не найти.

Яшка полюбил Александра Денисовича еще тогда, когда тот попросил Филимонова перевести мальчика в свою смену. Яшка почти никогда не видел ласки. Его доброе мальчишеское сердце начинало биться от малейшего проявления заботы.

Листовка, найденная после работы в инструментальном ящике, была невелика. Отпечатанная на серой плотной бумаге, в которую лавочники обычно заворачивают селедку, она бы и не привлекла Яшкиного внимания, если бы не удивленные глаза оставшихся в цехе рабочих:

— Глядите, ребята, птички-залетки!

— Давно не было, милых.

— А ну, кто голосистый, читай! Да пусть мальцы встанут — мастера поглядеть.

Никто и не заметил, что мастер Чухалин был в цехе.

Улыбаясь, он кивнул головой:

— Читайте, читайте.

Учеников отослали к дверям: пусть поглядят, не идут ли посторонние. Яшку поставили к окну. Один из рабочих приказал ему:

— Гляди на двор. Что мы тут делаем, тебя не касается. А увидишь чужого, свистни. Умеешь свистеть-то?

Яшка вложил в рот два грязных пальца и пронзительно, так, что у самого зазвенело в ушах, свистнул.

— Вот-вот, — одобрительно похлопал его по плечу рабочий. — Стало быть, чуть что, свистни во всю силу.

— Зачем во всю силу? — спокойно заметил Чухалин. — Надо тихонько, чтоб только вы услышали.

Рабочий удивленно поглядел на него, но смолчал.

Яшка стоял у окна и слушал.

«Товарищи рабочие! Выпуская смертоносную продукцию для братоубийственной войны, капиталист Печаткин несколько миллионов рублей в год выколачивает из нас, опускает прибыли в свой бездонный карман. Оглядитесь, как построен наш завод. Цехи сплошь деревянные, ни о какой охране труда капиталист не думает. Каждый день кто-нибудь да увечится. А о нашей жизни нечего и говорить. В бараках рассадник заразы. Рабочие живут по шесть-семь человек в клетушке, где и двоим-то тесно… Штрафы так и сыплются на нас… Особенно зверствует хозяйский холуй Филимонов. Забыл, видимо, как его катали на тачке в пятом году…»

В конце листовка призывала рабочих восстать по первому зову партии. «Придет еще пятый год, и слетят самодержавие и капитализм».

Листовка была подписана коротко: «Местная организация РСДРП (б)».

У Яшки гулко колотилось сердце. Каждое слово было неожиданно понятно ему. Он словно разом увидел ветхие цехи и свои покалеченные пальцы и припомнил комнату, где, кроме него с матерью, жило еще восемь работниц; и мастера Филимонова, так и буравящего каждого своими крохотными глазками.

Он обернулся. Рабочие молча курили, думая каждый о своем. Возможно, они стеснялись мастера. Наконец кто-то сказал:

— Вроде бы все понятно… Только… как восстанешь-то? У меня, к примеру, батьку невесть куда в шестом году услали.

— К тому ж голые мы…

— Неувязка здесь.

— Никакой неувязки нет, — тихо сказал Чухалин. — Были бы руки, а оружие найдется. Вспомните пятый год!

Рабочие молчали. Наконец один из них встал, подошел к Чухалину и, крепко встряхнув его руку, сказал:

— Ты прости нас, Денисыч… Мы думали, ты просто хороший мужик…

Чухалин смущенно вытащил из кармана грязный платок, снял очки и начал протирать стекла.

* * *

День ото дня все острее становилось ощущение обиды, нанесенной Филимоновым. Завидев его, Яшка независимо ухмылялся, но мастер, казалось, не замечал его, и это Яшку бесило: хоть бы за ухо схватил, дьявол! В кармане Яшка таскал теперь острый напильник: полоснуть бы мастера по его рыжей, покрытой волосами и веснушками руке.

Неожиданно ему пришлось снова столкнуться с Филимоновым, но уже при других обстоятельствах.

Мастера Чухалина управляющий Молотилов на два дня послал в губернский город, и вместо него в ночную смену был назначен Филимонов. На работу он пришел вместе с табельщиком Митей и, едва увидев Яшку, позеленел от злости.

— Марш отсюда! Паршивец!

Дальше последовала такая брань, что Яшка опрометью выскочил из инструментальной, прибежал в цех и рассказал слесарям, как его выгнал Филимонов.

— Знаешь, Яшка, он всегда в ночной смене спит, — задумчиво сказал Петька Зуев. — Филимониха говорила, так спит, что хоть всех святых вместе с ним выноси, — не услышит. Утром лучше не буди, — драться лезет, а просыпается только тогда, когда рожу умоет. Может, смажем, а?

Яшка не понял, что значит «смажем», но согласился. Когда же Петька объяснил, что это за «смазка», Яков пришел в восторг. Он вспомнил упрек Клавы и усмехнулся: «Что-то ты теперь скажешь?»

Рабочие в цехе подзадоривали ребят.

— Валяйте, хлопцы! Придумайте что-нибудь для Пузана. Мы хоть посмеемся.

Часа в три ночи один из рабочих увидел через маленькое окошко конторки, что Пузан и Митя спят. Узнав об этом, Яшка мигом помчался разыскивать Зуева. Вместе они попробовали открыть дверь. Она была заперта на внутренний замок. Выручил один из слесарей: он сунул в скважину какую-то проволоку, повертел ее, и дверь отворилась…

Ребята тихо вошли в конторку. Филимонов развалился на полу, на рыжем теплом тулупе, а табельщик — в бывшем когда-то мягким кресле, вытянув ноги вперед.

У Петьки Зуева глаза просто горели, когда он кивнул на чернильницы, стоящие на столе. В одной были фиолетовые чернила, в другой — красные: ими обычно Чухалин писал сводки. Зуев вытащил из кармана тонкую кисточку, которой токари смазывали мыльной эмульсией обрабатываемые мелкие детали.

У Якова тряслись колени. Петька шикнул на него: начинай. Осторожно подойдя к Филимонову, он обмакнул кисточку в чернила…

На лысине мастера ребята нарисовали большой крест, на лбу — рога, нос выкрасили красными чернилами, а по обе стороны рта провели две красные полосы, отчего рот стал казаться огромным, на щеках наставили множество точек — получилось в крапинку, Пузан спал; он даже не пошевелился, когда его разрисовывали.

Точно так же разукрасили табельщика. Тот часто махал руками, будто отгонял надоедливых мух, но не просыпался.

Ребята привязали к ногам мастера и табельщика бечевку, потом тихо вышли, слесарь снова отмычкой закрыл за ними дверь. Теперь надо было сделать так, чтобы мастер и табельщик проснулись.

Кто-то додумался позвонить по телефону. Митя испуганно вскочил и бросился к аппарату. Запутавшись в бечевке, табельщик дернул Филимонова, и тот заворочался. Митя истошно кричал в телефонную трубку: «Я слушаю! Я слушаю! Кто говорит?» Но трубка молчала.

Отвязав от ноги бечевку, еще ошалевший от сна, табельщик сел на свое место, включил настольную лампу. Свет озарил его лицо. Раскрыв от удивления рот, Пузан начал разглядывать Митю, все более и более расплываясь в улыбке. То же самое происходило и с табельщиком. Вдруг рабочие услышали громкий, раскатистый смех Филимонова. Вслед за ним раздался дробный смешок Мити.

Оба долго хохотали, показывая друг на друга пальцами, не в силах что-либо выговорить.

Первым опомнился Пузан. Еще икая от хохота, он проговорил:

— Чего ты-то смеешься, рожа страшная? Ну и рожа! И размалевали тебя сволочи, как икону, прости господи. Прямо вельзевул какой-то, Умойся поди, а не то, если увидят твою рожу, год смеяться будут. Вот сволочи черномазые! Не иначе, как они…

Митя уже начал соображать, что случилось. Он сорвался с

места и побежал.

— Оглашенный! — проворчал Филимонов. — С такой рожей бежит…

Митя открыл дверь в комнату телефонистки. Там дежурила тихая и всегда грустная Груня, предмет Митиных воздыханий. Увидев ворвавшегося в комнату табельщика, Груня закричала и прижалась к стенке.

— Зеркало! — отчаянно крикнул табельщик. — Есть у тебя зеркало? Ну!

Груня молча показала на редикюль. Схватив маленькое зеркальце, Митя побежал обратно, по дороге разглядывая свое размалеванное лицо. В конторке Митя ткнул зеркало в лицо мастера.

Филимонов, еще ничего не подозревавший, взглянул и взвыл, как пес, которому наступили на лапу.

Рабочие, глядевшие в окно, смеялись. Обхватив обеими руками голову, Пузан бросился из конторки.

Он подбежал к умывальнику и сунул голову под кран. Фиолетовые и красные чернила расплылись, придав его лицу и лысине какой-то немыслимый, грязно-бурый цвет. Умываясь, мастер поминутно смотрелся в зеркало. Теперь он уже стонал, как от боли, безжалостно растирая лицо. Отмыть чернила, тем более химические, оказалось делом вовсе не таким легким. Пемзой он содрал с лысины кожу…

По дороге в конторку Филимонов зашел в инструментальную кладовую, и слесари не успели опомниться, как он крепко рванул Яшку за ухо и ткнул в нос кулаком.

— На, художник, шпана подзаборная!.. Завтра за ворота вылетишь.

У Яшки из носа текла кровь; от сильной боли он съежился, размазывая кровь по лицу.

— Ты чего парнишку бьешь? — угрюмо проговорил слесарь Мелентьев и подошел вплотную к мастеру, держа тяжелый ручник.

Филимонов плюнул на пол, повернулся и вышел из кладовой.

— Иди, Яша, умойся, — погладил парнишку по голове Мелентьев. — Ты не поддавайся ему; мы заступимся, если что… Ну и цирк устроили! Я такого представления в Питере у Ченизелли не видел. Молодцы, ребята, так ему и надо!

Яшка ободрился, пошел вымылся, постоял немного с откинутой головой, чтобы остановить кровь. Нос у него распух, под глазом расплылся густо-синий подтек.

Утром, после смены, он торопливо выбежал из цеха, чтобы прошмыгнуть незамеченным за ворота. Но Филимонов ждал его.

Он схватил Яшку за руки и резким движением бросил на землю. Пряча в колени лицо, Яшка громко крикнул:

— Дядя Ваня-а!..

Удара не последовало. Яшка осторожно открыл глаза. Рядом с Филимоновым стояло несколько рабочих, и даже в густых сумерках было видно, какие у них злые лица.

— Ты что, мастер? Опять парнишку бить хочешь? Кровь играет? Что же, можно и подраться. Давай с нами, с любым.

Мелентьев угрожающе сказал Пузану:

— Уйди от греха… Не то плохо может быть…

Мастер, не сказав ни слова, пошел. В дверях он обернулся:

— Вы еще, бунтовщики, вспомните меня; это как бог свят.

— Иди, иди, — махнул рукой Мелентьев. — Не боимся. В полицию иди, жалуйся, филер паршивый.

На другой день приехал Чухалин. Яшка все подробно ему рассказал. Чухалин сначала засмеялся, а потом, нахмурившись, качнул головой:

— Не так, Яшка, надо с этими пузанами драться. Ну, да вырастешь — поймешь! Таких, брат, надо… насмерть бить. Вот оно как, дело-то, обстоит…

7. Яшкины «капканы»

После того как Яшка пронес на завод две пачки листовок — их дал ему Павел Титович Алешин, — Чухалин стал относиться к нему еще теплее. Временами Яшка ловил на себе его задумчивый взгляд, и тогда ему казалось, что мастер смотрит на него испытующе. Мальчик догадывался, что где-то, недоступная ему, идет другая, тайная жизнь, в которой участвуют и Чухалин, и отец Клавы, и Тит Титович, и Франц; и, еще не зная, какая это жизнь, Яшка невольно тянулся к ней.

Слова листовок заставляли его холодеть от немого, откуда-то из глубины души поднимающегося восторга. Он проносил на завод листовки с сильно бьющимся сердцем, но не потому, что ему было страшно, а от ощущения, что и он коснулся тайной жизни мастера Чухалина и дяди Павла, о которой ему ничего не было известно.

Твердо, он знал только одно: плохого мастер Чухалин не сделает. От Мелентьева Яшка как-то слышал, что, по всей видимости, мастер — большевик. Он спросил:

— А что это такое?

— Значит, которые за народ — против царя и буржуев, — сбивчиво объяснил Мелентьев.

Это объяснение не удовлетворило Яшку. После работы он, зайдя домой к Алешину, спросил его о том же, чтобы выяснить, наконец, — правда ли, что Александр Денисович большевик? Если так, то и он, Яшка, тоже хочет быть большевиком.

У Алешина дернулись широкие ноздри; он тихо ответил:

— А ты помалкивай, браток… За одно это слово каждому Сибирь готова.

— Ну, тогда еще листовок дайте, — вздохнул Яшка.

Листовок ему больше не дали, но месяц спустя Чухалин нашел ему дело. Это было в начале февраля; смена работала ночью. Александр Денисович вызвал к себе Яшку и, кивнув: «Садись», — задумчиво спросил:

— Как, Яша, у тебя язык — крепко на шарнирах сидит или болтается?

Яшка обиделся:

— Я пока никому ничего не болтал…

— Ну-ну… — словно извиняясь, протянул мастер. — Серьезное дело есть. Если узнают, то мне, да и другим очень плохо будет. Понял? Плохо будет!

Последние слова Чухалин произнес шепотом. Яшка заволновался: он почувствовал, что это что-то серьезное.

— Раз дело, так пускай разрубят меня на части, а я все равно ничего не скажу, — выпалил он. — Спросите у ребят… Ябедничал я на кого? Вот, ей-богу, никому не скажу!

Он даже перекрестился для убедительности.

— Не божись, Яша, — тихо сказал Чухалин, — Здесь нам бог не поможет. Ну, да я верю тебе. — Он прошелся по конторке. — Ты через полчаса пойдешь, подежуришь внизу, у дверей. Если кто пойдет в эти двери, прибежишь вперед и предупредишь меня.

Яшка был разочарован: поручение казалось ему несерьезным. Чухалин будто прочел его мысль.

— Это очень важное дело, Яша. Если ты его как следует не выполнишь, много народу в тюрьму пойдет, — нахмурив брови, сказал он.

— Сделаю я, — в тон ему и так же хмурясь ответил Яшка. — На совесть сделаю. Пускай скорей меня в тюрьму посадят, а я вас не подведу.

— Вот и хорошо. Тебя-то в тюрьму не посадят, мал еще, а ты лучше так сделай, чтобы меня не подвести. Ну, иди! Я тебя позову, когда надо будет. Только помни: никому ни слова!

Яшка не уходил. Чухалин видел, что он о чем-то хочет его спросить.

— Чего ты?

— Скажите, дядя Шура, а что такое большевик? — спросил Яшка. Этот вопрос до сих пор он так и не выяснил.

— Большевик? — переспросил Чухалин, — Это, Яша, люди, которые борются за то, чтобы всем хорошо жилось. Я тебе как-нибудь расскажу о большевиках. Приходи ко мне домой в воскресенье.

— Ладно, приду. А ты не большевик, дядя Шура? — снова спросил Яшка. Чухалин положил руку ему на плечо.

— Вот что, паренек: никого об этом не спрашивай. Никто тебе не скажет. Ты лучше приглядывайся ко всему.

— Я и приглядываюсь. Только понять не могу. Слышал я, что дядя Павел большевик, а я смотрел-смотрел за ним, а он обыкновенный человек!

Чухалин повернул его к дверям.

— Ну, ты иди теперь…

Через полчаса Яшку позвали и велели ему дежурить внизу на лестнице, у входа в здание. Он видел, что в конторке Чухалина собралось человек десять или двенадцать рабочих. Из соседнего цеха пришел дядя Павел.

Стоя на лестнице, Яшка размышлял, что бы такое сделать, чтобы без шума и крыса не могла пробраться наверх. Чтобы Чухалин услышал раньше, чем прибежит Яшка.

Он вспомнил, как в губернском городе, на Екатерининской, Генка со своими ребятами ставили на мостках «капканы». Поперек мостков протягивалась тонкая проволока или бечевка; тот, кто шел по мосткам, обязательно запинался и нередко падал, проклиная хулиганов. Генка в это время сидел за забором и смотрел в щелку.

Такие же «капканы» Яшка решил поставить здесь.

Одну проволоку он натянул на крыльце у входа в дверь, вторую — у самой лестницы, третью — на лестничной площадке и, наконец, еще одну — на самом верху, где оканчивался последний пролет. Вдобавок ко всему он повесил по краям проволоки металлические обрезки.

Была лунная, звездная ночь. Яшка мерз в холодном подъезде. Коридор и лестница были слабо освещены; где-то на самом верху, под потолком, горела маленькая запыленная электрическая лампочка. В такой темноте нельзя было различить даже лица.

Яшка стоял уже около двух часов; его начало знобить. Он перешел на лестничную площадку и стал греться у батареи парового отопления, возле окна. Случайно выглянув на улицу, он увидел, как к крыльцу подходят четыре человека. Тусклый лунный свет скользнул по стволу винтовки…

Стражник остался стоять у крыльца, остальные начали подниматься по лестнице. Шедший впереди поручик Бессонов — его Яшка сразу узнал, — задев ногой за проволоку, шлепнулся на крыльце, и железины, что были подвешены на проволоке, загремели. Снизу донеслась крепкая брань. Яшка со всех ног бросился по лестнице вверх, к дверям конторки. Когда он открыл двери, Бессонов попал во второй «капкан»: железо так и грохотало там, внизу.

В конторке уже все встали и толпились у дверей на лестницу, ведущую в цех.

— Спокойнее, товарищи, быстро расходитесь по цехам, — говорил Чухалин. Дядя Павел, обернувшись, хитро подмигнул Яшке.

После второго «капкана» жандармы шли медленно. Один из них пополз по лестнице на карачках, ощупывая руками каждую ступеньку, остальные тихо двигались за ним.

Когда жандармы поднялись и с грохотом открыли дверь, в конторке никого не было. Только хмурый табельщик что-то писал, и около него стоял Яшка.

— Где мастер? Встать, скотина! — ревел поручик.

— Мастер в цеху, — спокойно ответил тот и показал рукой на окно. — А потом, ваше благородие, я не скотина, у меня человеческий облик есть. А если бы я был скотина — козел там

или бык какой, я бы на вас бодаться бросился. Так-то, ваши благородия… Позвать вам мастера, что ли, или сами в цех пройти изволите?

— Позови! — отрывисто приказал Бессонов.

— Яша, сбегай…

Когда Чухалин пришел, жандармы начали расспрашивать его о пожарной охране, о том, не заметил ли он в цехе посторонних. Мастер отвечал спокойно, что посторонних в цехе нет, а пожарную охрану проверяли только вчера.

Жандармы ушли. Чухалин, протянув руку к Яшке, привлек его к себе и поцеловал в красную, еще пахнущую морозом щеку.

8. Взрыв на заводе

Мир для Курбатова был полон каких-то неясных ему событий, явлений, и ему трудно было уследить за их стремительным и часто противоречивым ходом, но сердцем он угадывал пути тех людей, которые влекли его, и к ним он испытывал одновременно и уважение, и любовь, и зависть.

Чувство, овладевшее им, пожалуй, было сходно с прозрением. Масса самых разных впечатлений, не связанных между собой, волновала Яшку так, что он порою терялся и только каким-то чутьем мог отделить плохое от хорошего.

В конце февраля Яшкина жизнь круто изменилась. Его разбудил тяжелый, будто подземный толчок, и он вскочил, закрывая лицо рукой: в комнату со звоном сыпались стекла. Далекое эхо разнесло грохот взрыва. Наспех одевшись, Яшка выскочил на улицу; мимо него уже бежали, крича и размахивая руками, люди, а в той стороне, где был завод, стояло в морозном воздухе черное неподвижное облако дыма.

Повинуясь толпе, Яшка тоже побежал; по дороге он схватывал отрывки фраз: «Пятый цех… начисто… Склады… Где ручки, где ножки…»

Возле заводских ворот стояла плотная толпа рабочих. Взобравшись на пролетку, бог весть чью и как здесь очутившуюся, Яшка увидел, как там, за забором, люди носят и складывают какие-то тюки… Дымились развалины… Яшка вдруг догадался: да это не тюки, это то, что осталось от рабочих утренней смены! У него закружилась голова, он чуть не упал с пролетки, но пересилил себя и осторожно слез, зажмурив глаза.

Внезапно он вздрогнул. Мать! Она же работала там, в пятом цехе, и Алешин тоже работал там… Он бросился в толпу, расталкивая людей, полз на четвереньках, пока не добрался до ворот. Здесь его остановил Чухалин.

— Ты куда, сынок?

— Туда… там… мать…

Яшка задыхался от слез, комом стоящих в горле. Чухалин, нагнувшись, поднял Яшку и передал стоящему неподалеку пожилому токарю Пушкину.

— Отведи его ко мне…

— Я не хочу! — крикнул Яшка, отрывая от себя руки Чухалина. — Дядя Шура, я не хочу! Мама!

Рабочие стояли молча. Яшка видел нахмуренные, злые лица; ему стало страшно. Он уже вырвался из цепких рук мастера, но его обняли чьи-то другие руки, и незнакомый рабочий тихо

сказал:

— Иди отсюда, паренек. Сейчас не место тебе здесь.

Яшка рванулся от него прочь, вцепился в железные прутья заводских ворот и затих…

Постепенно до него стали доходить отдельные выкрики, слова, даже целые фразы. Вот, забравшись на забор, кричит жандармский поручик Бессонов:

— Это немецкие штучки! Немцы и большевики заодно, они подложили бомбу!

В Бессонова полетел камень; жандарм поспешно слез с забора, и Яшка увидел, как он бежит через двор, придерживая рукой кобуру.

Потом сзади раздался знакомый голос:

— Это ложь! На нашей крови богатство зарабатывают. Лишнюю копейку жалели на рабочего переложить, вот и погубили столько народу.

Говорил Чухалин.

Говорил он неторопливо, взвешивая и обдумывая каждое слово:

— Пора кончать с этим, товарищи. Довольно пролилось нашей крови… Царь давно уже стакнулся с капиталистами, вместе они душат нас…

Яшка увидел, как несколько человек бегом пронесли по двору носилки. На них лежали два трупа. Одна рука, скользнув с носилок, глухо стукнув, упала на землю, Яшка вскрикнул и потерял сознание.

* * *

К мастеру Чухалину, только что пришедшему с аварийных работ, прибежал парнишка-телеграфист. От быстрого бега он задохся так, что долго не мог выговорить ни слова. Наконец он сбивчиво рассказал, что сегодня утром принял телеграмму, в которой говорится, что царь отрекся от престола, временный комитет Государственной думы во главе с Родзянко взял власть в свои руки и призывает всех к спокойствию и порядку… Была и вторая телеграмма: какой-то Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов предлагал организовать такие же Советы на местах и брать власть.

— Где эти телеграммы? — быстро спросил одевающийся Чухалин.

— А начальник почты все телеграфные ленты забрал и убежал на квартиру к Молотилову.

Чухалин, осторожно накрыв одеялом разметавшегося на постели Яшку, выбежал на улицу.

По дороге он забежал к Беднякову, Булгакову и еще к нескольким большевикам. Одни из них двинулись к дому Молотилова, другие — на завод.

Минут через пятнадцать тревожно загудел заводской гудок. Из уцелевших цехов рабочие высыпали во двор, к заводу бежали из поселка. Под людским напором открылись двустворчатые тяжелые заводские ворота.

Кто-то принес несколько пустых ящиков из-под снарядов. Бедняков легко вспрыгнул на них; толпа притихла.

— Товарищи! — крикнул Бедняков. — Вчера в Петрограде свергнуто самодержавие. Кровавый царь отрекся от престола. Сегодня утром пришли телеграммы о событиях в Питере, Почтарь Воробьев, Молотилов и другие господа хотят скрыть от нас эти телеграммы! Все они сейчас собрались на квартире у Молотилова. Революцию скрыть нельзя, товарищи!

Толпа, повинуясь кому-то невидимому, двинулась к воротам. Рабочие выходили и сами строились в ряды. Передние двинулись, и сразу зазвучала песня:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног…

А где-то в середине колонны родилась новая:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе…

У дома Молотилова уже стояла большая толпа рабочих; они пришли раньше, вместе с Чухалиным и Булгаковым.

— Товарищи, главное, — спокойствие! Спокойствие, товарищи!

Бедняков и еще несколько человек, раздвигая толпу, поднялись на крыльцо. Вскоре в дверях молотиловского дома показался огромный, страшный в ярости, кузнец Чугунов. Он, как котенка, тащил за шиворот почтаря Воробьева. В сопровождении рабочих вышел бледный Молотилов и вслед за ним жандармский ротмистр. При виде их толпа заревела: «Давай их сюда!.. Хватит, поцарствовали!.. Смотри, какое рыло у жандарма… Наверно, уже и дрожь прохватила». Действительно, вид представителей власти

был жалок. Ротмистр только бормотал: «Служба ведь, братцы! Все возьмите, братцы…»

Но его уже не слушали. Бедняков размахивал над головой листками телеграмм.

* * *

Яшка очнулся только на третий день, бледный, с темными, коричневыми тенями в глазницах. Еще боясь открыть глаза, он лежал и слушал, как кто-то тихо ходит по комнате, осторожно передвигая мебель, и, наконец, тихонько позвал:

— Мама!..

Шаги смолкли. Яшка открыл глаза, увидел прямо перед собой стенку с какими-то незнакомыми обоями, часы-ходики и фотографию в резной рамке; эти вещи он тоже видел впервые. Он захотел приподняться и не смог. Все тело было словно привязано к постели сотнями невидимых веревочек, которые больно и глубоко врезались в кожу. Яшка выдохнул: «Пить!» и, когда почувствовал на губах холод кружки, вспомнил все…

Его выходила Марфа Ильинична Алешина. Три дня назад чудом спасшийся от смерти Павел Титович, трясущийся, мертвенно-зеленый, принес Яшку от Чухалина и, положив на свою кровать, сел, обхватив голову руками.

— Настасья… погибла, — хрипло объяснил он матери. Старуха ахнула, прислонившись к дверному косяку, и долго смотрела на Яшку печальными, глубокими, какие только и бывают у очень сердечных старух, глазами. Потом, уже спокойно подойдя к кровати, она медленно провела рукой по жесткой, шершавой Яшкиной щеке и, сердито нахмурившись, сказала сыну:

— Чего панихиду развел? А еще мужик. Ступай-ка наколи дров: с утра печь не топлена.

Павел, ошалевший от такого спокойного тона, послушно встал и ушел; только тогда Марфа Ильинична разрыдалась, беззвучно шевеля мягкими ввалившимися губами и вытирая щеки краешком передника. Ей было жаль всех: и Настасью, и вконец осиротевшего Яшку, и одинокого сына, и себя, наконец, потому что, если вспомнить, — что за жизнь была! Скоро уже и помирать, а оглянешься — и пусто позади, будто и не прожито шестьдесят пять лет на земле…

Очнувшись, Яшка недоуменно оглядел комнату мутными, пустыми глазами. Он не сразу сообразил, где он сейчас и как попал сюда. Постепенно он начал узнавать вещи: и эти часы-ходики, и фотографии в рамке на стене, и старомодный пузатый

комод, на котором стояли в вазочке ломкие бессмертники.

И тогда в памяти вспыхнуло увиденное там, на заводском дворе. Поднеся ко рту руки, Яшка сдавленно закричал и не услышал своего крика. Из соседней комнаты вышла Марфа Ильинична; у нее шевелились губы, — очевидно, она что-то говорила, стараясь удержать бьющегося на кровати Яшку. А он снова потерял сознание.

Несколько дней Яшка пролежал, отвернувшись к стене. Его заставляли есть — и он ел нехотя, с трудом. Закрывая глаза, он снова представлял себе мать, ее усталое бледное лицо со скорбными складками в уголках рта. Временами ему казалось, что мать здесь, в комнате, и он быстро вскакивал. Нет, это Тит Титович осторожно входил в комнату и, увидев вскочившего Яшку, махал руками: «Лежи, лежи, я на секундочку, в комод только загляну». Из комода брали вещи и меняли на продукты — для Яшки… Мальчик, конечно, ничего этого не знал. Отвернувшись к стене, он беззвучно плакал, кусая уголок наволочки. Наплакавшись вдоволь, Яшка словно бы ожил. Вечерами, когда собиралась вся семья, он жадно слушал, о чем говорили взрослые, стараясь не пропустить ни одного слова. Пытался представить себе по этим разговорам, что происходит на заводе, и не мог. Поэтому его еще больше тянуло туда, к ребятам, к Чухалину.

Разговоры были разные. Тит Титович, словно бы помолодевший, хрипло смеясь, рассказывал о митинге на площади перед заводом. Он то и дело хитро подмигивал Яшке, порой вставляя соленое словцо, и Марфа Ильинична замахивалась на него тряпкой.

— Не болтай перед детьми, безбожник.

Постепенно Яшка уже начал представлять себе, что творилось за стенами этого маленького домика, ставшего ему родным…

Еще там, перед домом управляющего заводом, Молотилова, люди, узнав о революции, плакали, обнимались, смеялись; будто весной повеяло в этот холодный и серый февральский день. Там же выбрали новую рабочую власть — Совет рабочих депутатов. Разноголосно, перебивая друг друга, выкрикивали фамилии, поднимали руки и снова смеялись, выпихивая на крыльцо первых своих депутатов.

В Совет, как узнал Яшка, было избрано одиннадцать человек. Из них шесть большевиков, в том числе Бедняков, Пушкин и Чухалин.

На другой день был избран первый легальный заводской комитет. Председателем его стал Павел Титович Алешин.

Яшка не знал многих слов из тех, которые произносились

взрослыми. «Митинг», «Временное правительство»… Тит Титович объяснил ему просто.

— Времянка, то есть правительство временное, — это, брат, навоз… Не трогаешь, а все равно воняет. А митинг… Ну, это когда много народу собирается. Вот тут было на днях…

Четвертого марта заводской гудок созвал рабочих на площадь. На трибуну поднялись три незнакомых человека: один в плюшевой шляпе, двое в форменных фуражках с синим и зеленым околышами. Около них стали Молотилов и нынешний начальник милиции, эсер Карякин.

Карякин был рабочим. И хотя рабочий он был так себе, но платили ему, не в пример другим, много. Весь поселок смеялся, когда в выходной день Карякин, в сапогах гармошкой и цилиндре, отправлялся в кабак — пить пиво и играть на бильярде.

Когда народ собрался, Карякин объявил:

— Слово имеет представитель губернской власти.

— Какой власти? — крикнули из толпы.

Плюшевая шляпа ответила:

— Граждане русской республики! В столице нашей, в Петрограде, образовано Временное правительство; оно приступило к работе, к подготовке выборов в Учредительное собрание, которое должно отразить волю народа и выбрать законное правительство земли русской…

— Не тяни, говори — кто в правительстве? — кричали ему.

— Сейчас, граждане, прочитаю!

Как только он произнес первую фамилию — председатель совета министров и министр внутренних дел князь Г. Е. Львов, — толпа загудела так, что не слышны были следующие фамилии.

— Опять князь! Царя по шапке, так на шею князь сел!

— Долой князей! Эй! Скажи, а как насчет войны! Когда мир будет?

Толпа кричала все сильнее и сильнее; оратор беспомощно разводил руками: ему не давали говорить.

На трибуну вышел большевик Захар Аввакумович Пушкин. И сразу, как будто одно лишь его присутствие на трибуне предвещало что-то другое, смолкли голоса, люди шикали друг на друга, и, наконец, наступила ровная, ожидающая тишина.

— Вот что, товарищи! Вы не кричите, а то господа не привыкли к крику. Чего доброго, испугаете их… Давайте мы так рассудим. Князя Львова мы и знать не хотим. У нас своя власть есть? Совет рабочих депутатов, который мы выбрали. Правильно я говорю?

— Правильно, давай дальше!

— Ну вот, господа, видите? — обернулся он к

представителям из губернии. — Делать, выходит, вам больше здесь вроде бы как и нечего. Управляющий, наверное, даст вам лошадку, на станцию отвезти. Мы-то туда пешком ходим, а вы уж, будьте добры, на лошадке… Так, что ли, господа? Все, что ли? Ну, тогда на этом и кончили. Митинг, товарищи, окончен!

Все хохотали, когда губернские ораторы поспешно слезали с трибуны и усаживались в молотиловские сани…

9. На тачке за ворота

Яшка долго и чуть ли не до слез жалел о том, что его не было на заводе, когда случилась история, о которой много месяцев подряд со смехом вспоминали рабочие, Тит Титович, впервые рассказывая ее Яшке, хрипел, вытирал слезящиеся глаза, заходился кашлем, а Клава и Яшка тихонько повизгивали от восторга. Бабушка только улыбалась.

— Да будет вам, дурни… Пупки лопнут.

История была вот какая.

Как-то в один из мартовских дней Молотилов, обходя завод, пришел в цех старшего мастера Филимонова. Страх, появившийся у него в первые дни революции уже прошел; Молотилов видел, что все, собственно говоря, остается на своих местах, и он, управляющий, по-прежнему хозяин на этом заводе.

Пузан сопровождал его, осторожно ступая на полшага сзади, изогнув коромыслом спину. Они остановились у станка токаря Грачева, избранного в Совет рабочих депутатов.

— Ну что, власть? Работаешь? — с насмешкой спросил Молотилов. Мастер мелко рассмеялся, поддакивая начальству:

— И власть нынче пошла! Шантрапа какая-то!

— Что вам от меня надо? — спросил Грачев.

— Ишь ты, прямо как губернатор, — издевался Филимонов. Он вздрогнул, увидев себя и Молотилова в плотном кольце рабочих, нахмурился и выкрикнул, протягивая руку:

— Что это такое? Давай по местам, не то всех перепишу…

Тут кто-то и крикнул:

— На тачку его!

Филимонова схватили. Он сразу как-то обмяк и, повернувшись к Молотилову, взвизгнул:

— Господин управляющий!..

— Что вы делаете? Оставьте мастера! Я милицию вызову! — крикнул Молотилов. Этого было достаточно возбужденной толпе.

— Валяй его тоже в тачку! Везите тачку!

Долго ждать не пришлось. Две тачки, в которых возили глину, с грохотом пригнали в цех…

— Давай их! С удобствами, на рессорах…

Кто-то сбегал в кочегарку и дал гудок. Из всех цехов выбегали рабочие. Под смех, улюлюкание, веселую, хотя и крепкую ругань рабочие катили две тачки: с Филимоновым и Молотиловым.

За воротами тачки с ходу опрокинули в канаву, полную холодной грязной сточной воды. Первым выбрался из нее Молотилов, На него страшно было смотреть: красный, с

разлохмаченными волосами, он дрожал так, что у него отвисла челюсть. Вскочив, Молотилов побежал к дому.

Пузан был жалок. Выбравшись из канавы, он пятился задом, все время низко кланяясь рабочим…

Больше ни Молотилова, ни Филимонова на заводе не видели. На место Молотилова управляющим был назначен его помощник, Ермашев…

Ничего этого Яшка не видел. И он торопился — торопился выздоравливать, словно боясь упустить события, происходящие в поселке и на заводе.

10. События продолжают развиваться

Яшка долго разыскивал на заводе Петьку Зуева — до тех пор, пока один из рабочих не сказал ему, отводя глаза в сторону:

— Нету твоего Петьки.

— Как нету?

— Да вот так… Схоронили…

Яшка вздрогнул, побелел. Оказавшийся неподалеку старик Пушкин с упреком сказал рабочему:

— Эх ты, ботало!.. Язык у тебя!..

Потом Пушкин подошел к Яшке и, проводя по его щеке шершавой ладонью, сказал:

— Разыщи Трохова. Знаешь его? Чертежник, Скажи, я послал… Он тебе найдет дело.

Никакого Трохова Яшка не знал и ушел в поселок — посмотреть, что там происходит. И куда бы он ни шел, ему казалось, что откуда-то вот-вот вынырнет самым таинственным образом Петька Зуев, посмотрит, прищурясь, сплюнет и кивнет: «А, это ты? Идем, сыграем в орла». Странно: гибель Петьки он переживал сейчас сне меньшей болью, чем потерю матери. Щемящее чувство одиночества овладело им.

А потом прошло и оно. Кругом шла своим чередом какая-то незнакомая, впервые увиденная им жизнь, и ему казалось, что он только что попал в этот поселок, как тогда, год назад. Яшка, облазивший весь поселок, постепенно узнавал, что изменилось тут за эти дни, и каждое свое открытие отмечал с удивлением…

Как-то Яшка шел мимо барака — одного из многих в поселке — и увидел через окно молодежь, подростков из других цехов. Он робко зашел в помещение. Высокий лохматый мужчина рассказывал об «отце русской анархии» — Бакунине, о том, какой это был революционер и как дрался в Дрездене на баррикадах. Когда беседа кончилась, мужчина стал объяснять про какой-то «союз юнцов» и пригласил в него записываться. Действительно, после этого ребята потянулись к столу, за которым шла запись. Яшка встал и ушел.

Вечером, вернувшись к Алешиным, он рассказал обо всем, что увидел, Павлу Титовичу. Тот, услышав про запись, тревожно взглянул на него:

— Ты записался?

— Нет. Зачем мне?

Алешин, нахлобучив шапку, буркнул своим:

— Если понадоблюсь, буду у соседа.

Соседом Алешиных был Чухалин. И теперь, идя к нему,

Алешин ругательски ругал себя за то, что за делами упустил эту «организацию юнцов». Черт его знает, что замышляют анархисты! Вербуют мальчишек, а потом будут им задуривать головы.

Чухалин, услышав об «организации юнцов», тоже нахмурился.

— Что же Трохов смотрит? Поручили ведь ему… Как бы не опоздать, Павел. Нам надо организовать рабочую молодежь, взять всех под свое влияние. А то эти анархисты, будь они неладны… Упускаем мы некоторых ребят… Эх! Намнут нам за это бока в губкоме, ей-ей намнут.

Обычно спокойный, всегда ровный, Чухалин нервно прошелся по комнате, зябко потирая руки:

— Съезд партии будет не сегодня-завтра… Вопрос о союзах молодежи специально выделен… Поедет Бедняков на съезд. Возможно, там Ленин будет. А что наш делегат расскажет? Что у нас лохматый анархист Федоров заправляет «юнцами», что ли? Да нас за такое дело из партии гнать надо!

Последние слова он даже выкрикнул, так взволновало его такое, казалось бы, незначительное событие, как собрание в бараке.

…А завод работал. Запаса древесины и металла было на несколько лет. И Печаткин жил в Питере по-прежнему.

Стало голодно. Подвоз продовольствия почти прекратился За хлебом с ночи выстраивались огромные очереди. Остальные продукты исчезли. Рабочие не получали зарплаты. Не было денег. Вместо денег давали «боны», на которые можно было покупать товары только в заводской лавке, а их в лавке не было. Иногда выдавали «керенки», но на них тоже нельзя было ничего купить; рабочие меняли на хлеб, на муку, на картошку свои нехитрые пожитки в окрестных деревнях у крестьян.

Готовая продукция — целлюлоза — лежала в огромных штабелях под открытым небом: из-за разрухи железнодорожного транспорта она не вывозилась. Вагоны давали только под погрузку снарядов. Временное правительство упорно хотело продолжать войну «до полной победы».

Эсеры распинались на митингах и собраниях. Они призывали к выдержке, спокойствию, обещали окончить войну победой над Германией. Говорили о скором созыве Учредительного собрания, которое установит в России законную власть.

Во время собраний стоял шум и такие шуточки отпускались по адресу Временного правительства Керенского и выступавших ораторов, что женщины краснели и опускали глаза…

Незадачливых ораторов теперь нередко стаскивали с трибуны и под общий смех, а иногда и с легкими тумаками выводили из цеха в проходную.

* * *

Гроза разразилась в июле.

Яшка работал в ночной смене Чухалина. Около трех часов в конторку пришли милиционеры эсера Карякина и увели с собой мастера. В эту же ночь были арестованы большевики Бедняков, Булгаков, дядя Павел Алешин. Утром всех их должны были отправлять в губернский город.

Слесари послали Яшку в поселок — предупредить об этом большевиков. На обратном пути он забежал к Алешиным. Дверь открыла ему испуганная Клава.

Она долго не могла понять спросонья, что случилось. Встал Тит Титович. Яшка скороговоркой, задыхаясь от быстрого бега, рассказал ему, как арестовали дядю Павла.

— Ну, мать, — крикнул Тит Титович за перегородку, — видно, до самой смерти не дождемся от сыновей покоя! Да и в гробу, наверно, нам одно беспокойство будет. Беги, адвокат, теперь уж ничего не сделаешь. Посидит, да вернется твой дядя Павел. Не впервой ему…

Потом он накинулся на внучку:

— Ты что, Клавка, дрожишь и нюни распустила! Ты бы оделась, а то неудобно: ухажер прибежал. Да не реви, дура, вернется твой отец.

Яшку не обманула эта грубость: просто старик скрывал за ней свое собственное волнение. Вместе они вышли на крыльцо. Протяжно и тревожно, повисая в воздухе, раздался заводской гудок.

Гудок подтолкнул Яшку, словно смел его с крыльца. «Я побегу, Тит Титыч!» — крикнул он, не оборачиваясь; ему было трудно идти рядом с Алешиным.

Когда он прибежал в цех, там стоял такой гул, что только отдельные слова вырывались из общей сумятицы ругательств и криков.

— В милицию пошли, чего там…

— Не дадим гадам Чухалина!

— Павлуху засадили, не дадим!

От громкого и тревожного гудка проснулся поселок. Рабочие, одеваясь на ходу, бежали к заводу.

Кто-то намотал на палку тряпку, обмакнул ее в нефть и поджег; получился факел; он горел ярко, и видно было, как густой черный дым уходит вверх, к светлому, летнему небу. Скоро над толпой вспыхнуло несколько факелов.

Народ собрался возле милиции, которая находилась напротив проходной в здании бывшей охраны фабрики. В

милиции были те же люди, что раньше в охране, только теперь эсер Карякин сменил поручика Бессонова, жандармский же вахмистр Недремов остался заместителем начальника милиции.

Вид толпы, освещенной, факелами, был по-настоящему грозным. Люди шумели, и, так же как в цехе, слышались только обрывки фраз вперемежку с яростной бранью:

— Дождались свободы! Нечего сказать!

— Опять фараоны наших арестовывают…

— Хлеба бы лучше дали.

— Войну кончать надо!

— С голоду подыхаем. В брюхе у всех Иван Пискун да Марья Икотишна!

Женщины, увидя на крыльце рослых, здоровых милиционеров, переключили свою злобу на них.

— Смотри, какие толсторожие, дармоеды!

— В окопы бы таких!

— А что им! Житье! Ничего не делай, спи да жри, да нашего брата в кутузку сади!

— Да они работают. Ровно жеребцы, по поселку ходят.

— Давайте, бабы! Тащи их! Сымай с них штаны, зададим порку!

Передние ряды женщин двинулись к стоящим на крыльце перепуганным милиционерам. В это время на крыльцо тяжело забрался кузнец Чугунов и крикнул, поднимая обе руки:

— Товарищи! Никого не трогайте; это мы всегда успеем… Мы собрались по другому делу. Почему арестовали наших товарищей — большевиков? Их хотят отправить в губернский город. Все знают, что они не преступники. Они боролись против капиталистов, за рабочий класс, за его свободу, против грабительской войны, которая нужна только буржуям. Потребуем сюда начальника милиции Карякина, пускай он скажет: почему арестовали наших товарищей?

— Карякина сюда! Карякина давай!

— Был рабочий, а стал фараон!

Особенно люто кричали пожарные. Большое двухэтажное здание пожарного депо стояло рядом с милицией. Между пожарниками и милицейскими все время шли раздоры, а то и драки: началось все с того, что Карякин, нарочно или случайно, отравил брандмейстера метиловым спиртом — угостил на праздничек!

Пожарники вытащили из депо пожарные рукава и грозились «потопить всю эту милицию». Крикни Чугунов «давай» — и худо пришлось бы карякинским милиционерам.

На крыльцо вышел Карякин. Видно было: человек струхнул;

дрожащим голосом он объяснил, что арест произведен по распоряжению губернского комиссара, и арестованных можно выпустить только по его приказанию.

— Ты нам не вкручивай! — кричали ему, — Плевали мы на твоих комиссаров! Освобождай, а то плохо будет.

— Уж если вы желаете… — промямлил он и пошел в здание. Через несколько минут на крыльцо вышли Бедняков, Чухалин и Алешин. Их встретили молчанием: все рассматривали их, будто видели впервые, а потом кто-то облегченно засмеялся в толпе, кто-то крикнул:

— Качать их, ребята!

Яшка, работая локтями, пытался пробраться к ним, но его отпихивали, толкали, и, когда он очутился рядом с Алешиным, тот, красный, счастливый, взлохмаченный, уже стоял, поправляя выбившуюся рубашку.

А Чухалин, спокойным, привычным движением протирая стекла очков, уже говорил, как всегда, негромко и неторопливо, словно не сотни людей стояли здесь перед ним, а несколько человек сидели в комнате.

— Спасибо вам, товарищи! Спасибо от всей нашей большевистской партии.

Он говорил минут двадцать.

Говорил о большевиках, о предательской роли Временного правительства меньшевиков и эсеров, которые выполняют волю своих и иностранных капиталистов. Толпа затихла и слушала.

Чухалин кончил так:

— Час еще не настал, но он скоро настанет, и рабочий класс будет хозяином своей жизни. А сейчас, товарищи, на работу — и по домам! За нас не бойтесь, больше они не посмеют…

Домой они шли втроем: Чухалин, Алешин и Яшка. Но, не доходя до улицы, Чухалин остановился и, положив руку на плечо Яшке, спросил:

— Дело одно сделаешь? Совсем не героическое…

— Сделаю.

— На тебе ключ. Придешь ко мне в дом, собери пару рубашек, мыло, полотенце, сапоги захвати. А встретимся мы с тобой завтра… Где железнодорожный седьмой знак, знаешь? Ну, вот и все.

Он пошел в сторону, не оборачиваясь.

— Куда это он? — тихо спросил Яшка у Алешина. Тот не ответил. Он долго смотрел вслед уходящему Чухалину, а потом так же тихо сказал:

— Зайди ко мне. Тоже соберите с Клавой, что самое нужное. Пусть Клава пойдет с тобой.

Он ушел в другую сторону, Яшка сначала оторопело глядел на его широкую, немного сутулую спину, а потом, догнав, дотронулся до рукава:

— Дядя Павел… Вы уходите? Насовсем?

Алешин обернулся, На Яшку глядели грустные, глубокие синие глаза с черной каемочкой вокруг зрачка.

— Насовсем? Нет, брат, не насовсем… Мы скоро придем, Яшка.

11. Видение

К железнодорожному знаку Яшка пришел с Клавой. Они миновали последние бараки, и прямо перед ними, сливаясь вдали в узкую серебристую полоску, легла железная дорога. Ребята шли по шпалам, мелко и непривычно семеня, а потом спрыгнули на песчаную насыпь; идти было трудно, крупный песок больно колол ноги.

Яшка не думал, что он устанет первым; очевидно, сказалась недавняя болезнь. Он опустил к ногам узелок и сел. Клава тоже бросила свой узелок и поднялась на насыпь поглядеть, не идет ли поезд.

Она стояла против солнца, и Яшка, случайно взглянув на нее, остолбенел. Чувство, схожее с восторгом, охватило его: девочка — нет, уже девушка в легком платьице, будто насквозь пронизанная солнцем, стояла там, наверху, легкая, как птица, готовая оторваться от земли и улететь.

Такое чувство Яшка испытывал впервые и почему-то покраснел, не в силах оторвать глаза от этой тонкой, четко вырисовывающейся на ослепительно голубом небе фигурки.

Клава сбежала вниз — видение исчезло. А он все сидел, пытаясь перебороть смущение, и, только когда Клава взяла его узелок, вскочил, буркнув:

— Не трожь… Я сам.

— Не надорвешься? — со скрытой ехидцей спросила Клава.

Он снова не ответил ей: он просто не слышал этого вопроса.

Все как будто переменилось кругом. Необычно нарядным стал лес, с обеих сторон подступивший к железнодорожному полотну; и эти тоненькие березы с черными, будто нарисованными черточками на белой коре, и бронзовые на солнце сосны, и одинокие ивы в низинах, подернувшиеся легким серебром.

Они дошли до ручья и сбежали к прозрачной, тихо всплескивающейся возле коряг воде. Клава первая опустила в ручей горячие, покрытые пылью ноги. А Яшка не торопился; он все делал и воспринимал теперь как-то медленно, словно оглушенный тем мимолетным, но ярким видением.

Когда их сзади окликнули: «Эй, вы, куда шагаете?» — он не вздрогнул, обернулся так же медленно, как двигался все это время, что они шли. Там, за кустами, стоял парень с винтовкой; виднелась только его голова, сбитый на затылок картуз с расколотым козырьком да загоревшая жилистая шея.

— А, это ты… — протянула Клава. — Смотри, как напугал.

Парень вышел из-за кустов; Яшка узнал его, они раз или два встречались на заводе.

— Куда шагаете? — повторил парень.

— А тебе что? — спросила в свой черед Клава. — Не по пути ведь.

— Может, возьмете в компанию?

Яшка смотрел на его красивое улыбающееся лицо, на светлые волосы, свободно падающие на лоб, и хмурился. Парню было лет двадцать пять. Черт его знает, что за человек и почему у него винтовка. Во всяком случае Яшка решил, что никуда он с ним не пойдет: надо полагать, Чухалин не очень обрадуется, увидев его с чужим.

— Не по пути? — прищурил глаз парень. — Может, ты к эсерам записалась? Или к этим… как их?.. «организация юнцов», а?

— Никуда я не записывалась, — разозлилась Клава. — И не приставай, не то отцу скажу.

— Отцу? Ну, так бы и говорила, — захохотал тот.

Яшка увидел кривые, наползающие один на другой зубы, и ему стало неприятно: красота парня сразу куда-то исчезла.

— Значит, к отцу шагаете? Ну-ну… Видал я его утром, Павла Титыча. Привет просил тебе передать.

— Спасибо, без твоих передач проживу, — обрезала Клава, поднимаясь и беря узелок. — Пошли, Яшенька.

Так она назвала Яшку впервые.

Уже пройдя шагов сто, Яшка спросил:

— Кто это?

— Это-то? Мишка Трохов.

— А чего ты его… так?

— Пусть! За девчонками много бегает.

Яшка почувствовал за этим ответом нечто, еще не доступное ему, такое, что Клава понимала лучше его. Это открытие удивило Яшку (Клава была всего лишь на год старше). Он искоса поглядел на свою подружку.

Внезапно он вспомнил эту фамилию — Трохов; к нему посылал Яшку Пушкин: «Пойди к Трохову, чертежнику, он тебе найдет дело».

— А чего он тут околачивается? — спросил Яшка.

Клава пожала плечами:

— Не знаю… Может, на охоту пошел? Он у нас был несколько раз. Отец его сильно ругал: «Ты, говорит, вместо того чтобы молодежь организовать, за девчонками охотишься, а еще большевик».

— Он разве большевик? — удивился Яшка.

— Наверно, большевик.
На этом разговор о Трохове закончился.

12. Не выдал!

Яшку разбудили ночью. Чья-то сильная рука приподняла его за плечо, встряхнула, и Яшка, еще ничего не разбирая спросонья, вскрикнул.

— Чего орешь? Тише, щенок, — прошипел незнакомый голос.

Ему казалось, что все это только продолжение очень тяжелого сна, и стоит лишь захотеть и проснуться, как все будет по-прежнему. Но ему заткнули рот; он видел, как кто-то нервно чиркает в темноте спичками, обламывая их, и слышал торопливый шепот:

— Не тяните. Скорей.

Яшке стало страшно. Его подняли и куда-то понесли. Крикнуть он не мог: в рот была засунута тряпка. Напрасно Яшка пытался вытолкнуть ее пересохшим языком. Когда его бросили на пол, он застонал от боли и освободившимися руками вытащил тряпку.

Яшка был в какой-то незнакомой пустой комнате. Только у окна стоял стол, а окошко было наглухо завешано одеялом. Он обвел комнату мутным взглядом; фигуры людей расплывались в глазах; наконец их очертания стали ясными, и Яшка узнал одного из них — начальника милиции Карякина.

Яшка не любил этого человека. Мастер Чухалин однажды, провожая взглядом расфранченного Карякина, сказал:

— Сукин сын этот Карякин. Ничего рабочего в нем нет. Дрянь человек.

Карякин стоял расставив ноги в защитного цвета галифе и желтых, словно медных, крагах. Яшка, лежа на полу, видел только краги, в которых тускло отражались огоньки электрической лампочки. Он вздрогнул, когда краги приблизились к нему вплотную и ласковый голос сказал:

— Ты прости, что мы с тобой так. Обознались. Садись. Пить, наверно, хочешь? На, попей.

Карякин сунул ему фаянсовую кружку, и Яшка взял ее дрожащими руками, расплескивая воду.

— Да ты не бойся, Курбатов, — примиряюще улыбнулся начальник милиции, — Свои ведь люди все. Пей.

Когда Яшка допил воду, Карякин, будто ненароком, спросил:

— Что, хороша вода-то? Сельтерская. А ты с перепугу и не разобрал? Небось у Чухалина в землянке тебя такой не поили, а?

Яшка молчал. Карякин повторил:

— Не поили, верно?

— В какой… землянке? — тихо выдохнул Яшка.

— Да там, в лесу. — Карякин махнул рукой на окно. — Ты ж вчера ходил туда. Ходил ведь?

Яшка понял, чего ждал от него Карякин. Тот стоял отвернувшись, будто этот разговор его нисколько не интересует. Но по тому, как он постукивал по крагам длинным хлыстом, Яшка догадался, — волнуется.

— Никуда я не ходил, — буркнул Яшка. — О какой землянке вы спрашиваете?..

Карякин обернулся.

Прямо на Яшку смотрели узенькие воспаленные глазки; вздрагивали тонкие ноздри начальника милиции и все сильнее белели его губы.

— А ты не запирайся, паренек, не хорошо это. Мыто ведь знаем, что ходил. Дочка Павла Алешина еще с тобой была — Клава. Еще этого встретили… как его?.. Трохова. Было такое дело? Потом у знака передали Чухалину и Алешину вещи. Верно ведь? И в землянку они вас к себе отвели. Ну?

— Какая такая землянка? — прикидываясь дурачком, переспросил Яшка. Ему сразу вспомнилось другое: город, такая же пустая комната и оловянные, тусклые глаза пристава…

Терпения у Карякина хватило ненадолго. Яшка инстинктивно закрыл локтем лицо, когда услышал свист хлыста. Он бился на полу под ударами, крича:

— Дяденька, не надо, не надо, дяденька!.. Я не знаю!.. Не знаю.

Наконец, не добившись ответа, Яшку сбросили с крыльца. С трудом поднявшись и всхлипывая, он пошел куда-то по темной улице.

«Кто же выдал?» — сверлило все время в голове. Но ответа искать было негде. Пустая улица лежала перед ним да небо, густо усеянное звездами, раскинулось над головой.

* * *

Неизвестно, какими путями узнал Чухалин о том, что Яшку били в милиции. Тит Титович, не найдя его на заводе, пришел в барак и, под каким-то предлогом услав на кухню старуху, живущую за перегородкой, помог Яшке подняться.

— Что, больно, адвокат? — сыпал он быстрым говорком. — Ну, да ничего. За одного битого знаешь сколько небитых дают? Крепче будешь. А что не сказал — молодец, парень, ей-богу, молодец!

— А вы откуда… знаете? — улыбаясь ссохшимися,

кровоточащими губами, спросил Яшка.

— Так ведь люди разные есть. Свой человек сказал: знает, значит…

— Кто же тогда?..

Яшка не договорил. Мысль о том, что о землянке, где они были, могла проговориться Клава, ужаснула его; Тит Титович понял.

— А кто его знает. Место-то никто не открыл.

По дороге, придерживая Яшку под мышки, старик перевел разговор на другое: на близкую осень, на грибы, которые растут в окрестных лесах в несметном количестве. Яшка молча слушал его, не понимая, куда это они идут.

Они прошли весь поселок. У крайнего дома их ждала телега; толстогубый мерин лениво помахивал хвостом, отгоняя мух. Незнакомый Яшке возница засуетился, подложил сена, заботливо подоткнул Яшке под бок какую-то рогожу и тронул вожжи. Мерин мотнул головой и пошел. Тит Титович шагал рядом с телегой, держа Яшку за руку.

— Куда мы? — тихо спросил Яшка. Тит Титович долго не отвечал, щурился, жевал губами, а потом так же тихо сказал:

— Дело тебе найдено. В поселке сейчас тебе, парень, жизни не дадут. Значит, едешь к делу — и точка.

Как ни привык Яшка к частым и всегда неровным переменам в своей жизни, эта была совсем необычной.

Они спустились к реке. На лодке Тит Титович подвез его к глиняному обрыву. Омывая его, река в этом месте становилась ярко-желтой. Старик, внимательно оглядываясь, подогнал лодку к самому берегу и воткнул в глиняный откос багор. Сразу же сверху полетела веревка; она глухо шлепнулась на воду, и Тит Титович, подхватив ее, опять зачастил скороговоркой:

— Давай я тебя под микитки-то подвяжу. Как потянут, руками держись, а ногами толкайся от обрыва, толкайся. Крепкая веревка, не бойся… Ах ты, как они тебя разукрасили!.. Не больно так-то, а? Ну, прощай пока, адвокат. Клаве поклон передать, что ли?.. Лезь давай, лезь…

Там, в пещере, вырытой в обрыве, была типография, и, когда Яшку подхватили руки Беднякова, Булгакова и дяди Франца, он впервые за долгое время расплакался, не стесняясь своих слез, размазывая их по лицу грязными руками, чувствуя, как ему хочется что-то сказать, а слов-то и нет, есть только радость.

13. В землянке

Есть только радость…

Как они быстро прошли, эти три месяца! Облетел ивняк, заслонявший вход в пещеру. Отсюда, сверху, разом открылись взгляду побуревшие поля, уходящие куда-то в сиреневую дымчатую даль дремучих лесов. Рощи на противоположном берегу реки пожелтели, все меньше и меньше становилось на деревьях листьев. По ночам высоко в звездном небе тянули к югу косяки диких уток; далеко-далеко был слышен свист их крыльев в холодном осеннем воздухе.

А потом наступили ясные солнечные дни «бабьего лета». Пролетели и они. Выпал первый снег, мокрый, липкий, и стаял не залежавшись.

Прошли дожди. Косые ледяные ливни сорвали с деревьев последнюю листву. По ночам подмораживало, ветер стучал в крепкие ставни, заменявшие дверь пещеры. Выглянув как-то утром, Яшка увидел, что река побелела у берега: тонкий ледок сковал за ночь тихие заводи.

Три месяца! Каждый день Булгаков, кончая набирать очередную листовку, ложился на нары, подзывал Яшку и рассказывал ему о Ленине, о революции, о том, почему надо разогнать эксплуататоров. Три месяца! Яшка научился набирать на верстаке заголовки и печатать, прижимая рычагом к набору тяжелый пресс.

«Товарищи рабочие! Больше ждать нельзя. Партия призывает вас взяться за оружие в нужный момент. Пришла пора, когда мы, веками бывшие в угнетении и бесправии…»

Он сам помогал дяде Францу и Булгакову опускать на веревке в лодку тяжелые ящики. В ящиках были винтовки: Яшка знал об этом.

Часто землянка пустела; Яшка оставался вдвоем с Францем и, лежа на жесткой, сколоченной из неоструганных досок скамье, слушал, как Франц тихонько играет на губной гармошке. Как-то раз он неожиданно спросил Франца:

— Ты сюда как попал?

Франц, оторвав гармошку от губ, расхохотался:

— Вспомнил? Давно вместе живем — сейчас вспомнил? Да так, раз, два — и нет Франца.

— Сбежал? — догадался Яшка. — А ты разве тоже большевик?

— Я? Нет. Я социал-демократ… Как эта рука называется?

Он поднял левую руку.

— Ну, левая.

— Вот. Левая социал-демократ. Карл Либкнехт — слышал?

Подбирая слова, он долго объяснял Яшке, кто такой Карл Либкнехт, кто такие левые социал-демократы; и, наконец, Яшка понимающе кивнул:

— Тоже, в общем, вроде большевиков, значит…

На этом выяснение партийной принадлежности Франца кончилось, и Яшка остался доволен услышанным.

Ночью поодиночке возвращались жители землянки: Чухалин и Алешин, Бедняков, Пушкин и Булгаков. Просыпаясь, Яшка слышал их голоса; все говорили шепотом; Булгаков что-то раздраженно доказывал, а Чухалин повторял: «Ах ты, дьявол!»

Было ясно: у них что-то не ладится.

Как-то раз в землянке, кроме Франца и Яшки, остался больной Чухалин. Накануне он промок, простыл и теперь сухо кашлял, сгибаясь от боли в груди. Алешин не пустил его из землянки: «Пережди хоть день; я тебе горчичники принесу и молока с медом». И Чухалин остался. Он сидел злой, хмурый, осунувшийся, трясущийся от озноба, и словно не знал, куда девать себя, чем заняться. То и дело он подходил к выходу и глядел на пустую реку. Яшка понимал: нервничает.

Он подошел к Чухалину и, дернув его за рукав, спросил:

— Что вы все… какие-то стали, дядя Шура… Не такие какие-то.

Чухалин улыбнулся через силу:

— Какие «не такие»?

— Ну, такие… неразговорчивые.

Чухалин задумался. Подняв голову, он встретился глазами с Францем и, медленно подойдя, сел рядом на скамейку, устало растирая лицо ладонями:

— Плохо, брат, дело… Провокатор появился. За последние дни — пять арестов. По баракам обыски — нас ищут. А время такое, что люди нам позарез нужны.

— Скоро? — спросил Франц, глядя на Чухалина. Они снова понимающе переглянулись.

— Очевидно, скоро, — тихо ответил Чухалин. Он поднялся, зябко повел плечами и, что-то решив, направился к выходу.

Яшка загородил ему дорогу:

— Вы куда? Дядя Шура, вам не велели…

Чухалин хотел было засмеяться, но опять сухо закашлял; его так и било…

— А ты сам… хочешь… чтоб другая жизнь началась? Чтоб все скорей было? А?

Подойдя к выходу, он обернулся к Францу:

— Подержи веревку, пожалуйста. Ребята придут, — скажешь, я к шестерке пошел; проверю, достали ли они еще оружие. Ну, не скучать!

Он подмигнул Яшке и, обхватив веревку, соскользнул вниз по обрыву. Минуту спустя Франц, задумчиво сворачивая веревку, сказал, словно ни к кому не обращаясь:

— Какие люди!.. Я не все понимать… но это настоясчий революцьонер. Вроде он быть надо, Яша.

А Яшка думал о другом: о том, что вот сейчас идет сквозь эту глухую промозглую ночь Чухалин, идет, чтоб скорее началась другая жизнь.

Когда же через несколько дней, в одну из ночей — холодных ветреных-его подняли с теплой постели, он почувствовал, что жизнь меняется. Уже там, в лодке, Тит Титович прижал Яшку к себе, ткнулся колючим подбородком ему в щеку и, тихо рассмеявшись, сказал:

— К новой жизни едешь, адвокат! То-то! Стар я вот только… Обидно маленько.

Есть только радость!.. И как ни была холодна эта ночь, как ни метались низко по небу черные, в пепельных разводьях, разлохмаченные тучи, — только радость чувствовал Яшка, еще не зная, о какой новой жизни говорит старик и почему обидно ему от своей старости.

14. Вот она, буржуазия!

В первые же дни после Октября в пустом доме Печаткина, где тот жил, приезжая на неделю из Петрограда, шел обыск. Яшка увязался за милиционерами; милиция в поселке была новая, ее начальником Совет рабочих депутатов назначил бывшего брандмейстера пожарной команды Лукина.

Затаив дыхание, Яшка вошел в этот дом, словно нарочно спрятанный от глаз за высоким кустарником и деревьями. Впервые видел он такое богатство — золоченую мебель, ковры, разрисованные потолки, дорогие безделушки на каминной полке, столах, подставках… Лукин, заметив его удивленный взгляд, усмехнулся:

— Что, брат, красиво? То-то. Теперь эта красота наша; клуб здесь устроим.

Когда милиционеры отодвинули тяжелый, мореного дуба шкаф, Лукин захохотал: там, за шкафом, перевитые густой свалявшейся паутиной, лежали старая калоша, пустая бутылка, какие-то пожелтевшие обрывки бумаги.

— Вот она, буржуазия! — смеялся Лукин. — Наверху красота, а под ней пустота да калошина драная. Ну-ка, Яшка, беги в завод к уборщицам, пусть приходят с тряпками и ведрами.

На улице Яшка едва не сбил с ног Чухалина и торопливо, сбивчиво, захлебываясь от восторга, рассказал ему о доме Печаткина. Чухалин слушал его задумчиво; Яшка почувствовал, что он чем-то озабочен, и дернул его за рукав:

— Вы чего, дядя Шура?

— Да так, Яша. Понимаешь, дело-то какое… Меня комиссаром на завод назначили… Вроде бы тоже старые печаткинские калоши выносить надо. Барахла-то его здесь много скопилось. Да ты иди, иди…

Яшка помчался дальше, не подумав над словами Чухалина.

А «барахла», о котором он говорил, было действительно много. И вот уже 14 ноября Советское правительство ввело рабочий контроль над производством. Декрет предоставлял рабочим право контроля «над производством, куплей-продажей продуктов и сырых материалов, хранением их и финансовой стороной предприятия».

Общество фабрикантов и заводчиков, разумеется, не подчинялось этому декрету и разослало своим фабрикам и заводам циркуляр, в котором говорилось:

«Предвидя, что русский пролетариат, совершенно не подготовленный для руководства сложным механизмом

промышленности, приведет ее к быстрой гибели, общество отвергает классовый негосударственный контроль рабочих и предлагает, в случае предъявления на предприятиях требований о введении рабочего контроля, такие предприятия закрывать».

До поселка Печаткино стали доходить слухи о саботажах, о том, что отдельные предприятия закрываются… Чухалин ходил по заводу, улыбаясь в усы, и хитро посмеивался:

— Ничего, пусть у нас попробуют.

Но завод работал, и управляющий Ермашев, ужом извивающийся перед Чухалиным, казалось, из кожи лез вон, чтобы заслужить доверие новой власти. Александр Денисович, приглядываясь к нему, догадался: да ведь он, Ермашев, просто хочет сохранить завод! На одном из собраний ячейки он высказал эту мысль, и большевики зашумели:

— Значит, рассчитывает, что старые хозяева вернутся?

— Приедут — и, пожалте, заводик: в целости и сохранности.

Чухалину пришлось успокоить страсти:

— Во-первых, не пойман — не вор. А во-вторых, пусть ведет себя так же, как сейчас, нам это только на руку. Мы-то ведь знаем, что старые хозяева не вернутся. А вот когда и Ермашев поймет, тогда уж за ним будем глядеть в оба. Давайте лучше послушаем Трохова…

Трохов поднялся и, держась за спинку стула, поднимая глаза к потолку, начал перечислять, что сделано по организации Союза молодежи: работает «актерский кружок» и ребят учат стрелять из винтовки.

— Маловато, — хмыкнул Алешин. — Я по своим ребятам сужу: Клава с утра до ночи Чарскую мусолит, а Яшка Курбатов мотается бог весть где.

Трохов, вскинув на него свои красивые, чуть раскосые глаза, удивленно пожал плечами:

— Они оба какие-то несознательные. Я их знаю, говорил с ними, а они не поддаются.

Чухалин захохотал, откидывая назад голову. Смеялся он так заразительно, что все находящиеся в комнате, кроме Трохова, заулыбались.

— Не поддаются? А может, ты не умеешь?

Трохов снова пожал плечами: дескать, ничего смешного не вижу, на самом деле не поддаются.

— И вообще, — обиженно сказал он, — в этом Курбатове сидит какой-то мелкобуржуазный элемент.

Чухалин качнул головой и нахмурился. Яшку он любил — это была очень строгая и скрытая любовь одинокого человека к другому одинокому и, в сущности, еще очень беспомощному.

После того как он узнал, что Яшку били в милиции и ничего не выбили из него, Чухалин всякий раз, как они встречались, чувствовал себя в чем-то виноватым перед Яшкой. А встречались они теперь редко. На Чухалина и Алешина свалилось столько незнакомых дел, что впору было только за полночь притащиться домой, не разогревая, поесть, что найдется, и свалиться спать. Чухалин осунулся и словно бы постарел за эти недели. Алешин как-то с усмешкой заметил ему:

— Что, Денисыч, революцию-то, выходит, легче было сделать? А что с хлебом плохо, — это, брат, ноле острый… Ох, чует мое сердце, будет от этого беда… Голод — лучший агитатор против нас.

Действительно, с хлебом становилось все хуже и хуже. Стояли морозы, и люди мерзли в очередях. Иногда дня по три не выдавали положенной нормы — фунт в день. Хлеб был тяжелый, как говорили, — «с закалом», с овсяной колючей шелухой, но и такому были все рады. Часто вместо хлеба выдавали колоб или дуранду, — так называли в поселке льняные и подсолнечные жмыхи. Рабочие ходили на заметенные снегом старые картофельные поля, искали и собирали в мерзлой земле оставшиеся гнилые картофелины. Остатки вещей несли в деревню, меняли на картошку, на крупу, хлеб.

Однажды Чухалин, войдя в цех, увидел, как несколько рабочих что-то прятали по карманам. Он сделал вид, что ничего особенного не заметил, подошел, заговорил о делах, о том, что надо расширять больницу и открыть школу для взрослых… Рабочие слушали его молча. Наконец один из них, мрачно сплюнув, сказал:

— Ты лучше вот что скажи, комиссар: совецска власть нас все время будет голодухой жать? У нас уже животы к спине поприсохли.

Чухалин кивнул:

— Знаю. И с хлебом будет пока трудно.

— Пока? — ухмыльнулся другой. — Ну вот мы пока и будем себе… облегчать.

Он вытащил из кармана пригоршню зажигалок и протянул Чухалину:

— Возьми, комиссар. Поменяешь на хлеб. Сам уже желтый, ровно лимон.

Чухалин обвел лица рабочих медленным, тяжелым взглядом и, ничего не сказав, пошел к выходу… Проходя мимо инструментальной мастерской, он невольно зашел туда и еще издали увидел, как Яшка, склонившись над тисками, опиливает косарь, какими в деревнях щепают лучину.

Яшка не замечал Чухалина, а тот долго стоял и глядел на него с какой-то бессильной, мертвой тоской, боясь подойти и сказать пареньку что-нибудь ласковое и утешительное.

15. Третейский суд

Ячейка большевиков и заводской комитет проводили многочисленные собрания и митинги, много говорили о дисциплине, но все чаще и чаще Чухалин слышал от Ермашева: «Сегодня опять сорвали норму».

На одном из собраний был избран товарищеский, кем-то названный «третейским», суд; он состоял из трех членов. Вошли в него старые и самые уважаемые рабочие: Фома Иванович Кижин, финн Тойво Иванович Киуру и дед Клавы — Тит Титович. Вскоре суд был завален делами.

Когда Яшка заходил вечером к Клаве, старик Алешин смеялся:

— Вот видишь, адвокат, и я в свои семь десятков судьей стал. А ты Плевакой обязательно будешь. Шустрый ты, да и говоришь складно. Только берегись этой породы, — кивал он на Клаву, — они под монастырь подведут.

Яшка смеялся над шутками старика, но тот быстро обрывал смех и, глядя в глаза мальчику, тихо спрашивал:

— Где ты пропадаешь?

— Так, — уклончиво отвечал Яшка. — То работаю, то дома сижу…

— Почему у нас редко бываешь?

— Некогда.

— Ишь ты, какой занятый! Небось в орлянку режешься?

Яшка молчал: старик был прав.

В поселке ребята с упоением играли в орлянку. Монеты ударяли об стенку, а потом «натягивали четвертью» — большим и указательным пальцами — расстояние между ними. И если доставали до обеих монет, то они считались выигранными.

Однажды Васька Матвеев, семнадцатилетний подручный слесаря, первый хулиган в поселке, предложил сыграть «по крупной».

— А то никакого интересу нет. Так хоть, кто выиграет, брюхо набьет. Ну, Курбатов, будешь?

Яшка не хотел отставать от компании и согласился.

Вначале ему повезло, он выиграл больше рубля «мелочи» и две «керенки». А потом проиграл все: не только деньги, но и ремень с пряжкой. Матвеев предложил сыграть на казенный инструмент, и Яшка, подумав, согласился, проиграл взятые на марки из кладовой штангенциркуль, набор небольших сверл, три метчика и нутромер.

Лицо у него горело так, будто ему надавали пощечин. В

пальцах появилась какая-то ранее не знакомая дрожь; ему казалось, что он сейчас разревется от досады. Матвеев ухмылялся, рассовывая по карманам выигранный инструмент, и, когда Яшка снова предложил ему сыграть, осклабился:

— Штаны ставишь? Или нет… Если проиграешь, пойдешь со мной на деревню. Вроде как бы слугой. Что дам, то и понесешь. Ну?

Они снова сыграли, и Яшка проиграл. Васька, уходя, погрозил ему пальцем:

— Завтра пойдем, а не пойдешь — прибью.

«Что ж я наделал? — думал Яшка ночью. — Хватятся инструмента, а его нет. Отнять по дороге у Матвеева? Убьет насмерть. У него финка в кармане. Сказать — стыдно». Сон у него был неспокойный, проснулся с тяжелой, гудящей головой, будто и не спал.

Пора было идти. Матвеев ждал его под окном, лениво потягивая толстую, с палец, цигарку.

Из деревни они возвращались часа через три. Яшка торопился попасть к смене и, задыхаясь, тащил небольшой мешок муки и бутылку с самогоном. Васька, шагая рядом и чертя прутиком, говорил:

— Ничего житьишко с новой-то властью. А только, парень, все едино; каждый о себе думает. Вот и я тоже: сыт и нос в табаке. Постой-ка…

Он взял у Яшки бутылку, приложился к горлышку и начал пить. Острый кадык заходил вверх-вниз под грязной кожей, словно стараясь разрезать ее. Матвеев покраснел, вытер слезы и протянул бутылку Яшке.

— Попробуй хлебни. Греет.

Яшка был голоден. Самогон ударил ему в голову, ноги перестали повиноваться. Он плохо помнил, как добрался до Печаткино. Очнулся он на своей постели с противным ощущением во рту, будто кто-то приклеил язык к нёбу. Голова трещала.

Сколько времени спал, он не мог определить. Дни на севере короткие, — в четыре часа уже темно.

В комнате было пусто. Яшка встал; его поташнивало. Он вышел на улицу и побрел к заводу, с омерзением вспоминая даже самый запах выпитой самогонки.

Его мучил стыд. Яшка не представлял себе, как будет смотреть в глаза старшим и что скажет мастеру. Он умылся в уборной холодной водой, сунул под кран голову и напился. Вода приятно холодила во рту. Яшка постоял, подумал и пошел в цех.

Здесь уже работала вторая смена. Часы показывали без

четверти шесть: он опоздал почти на два часа. Неизвестно откуда, в цеху уже все знали. Его встретили ехидными улыбками и нарочито громкими словами, чтобы слышали все.

— Смотри, ребята, алкоголик пришел! Такой шкет, а уже пьяница.

— Что ж дальше будет? С таких лет, а уже самогонку хлещет. В глаза-то не стыдно смотреть? — ругалась уборщица тетя Паня.

Яшка повернул к выходу, но дорогу ему загородил мастер Мелентьев. Добрейшей души человек, он смотрел на Яшку как-то исподлобья, словно не зная, с чего начать разговор.

— Инструмент где? — тихо спросил он.

Яшка не ответил.

— Пропил, значит? Ну, что ж, иди… Протрезвись, зеленый весь.

Яшка прожил два дня как в тумане. На третий день его вызвали на допрос к члену «третейского» суда, и Яшка, не таясь, все рассказал: и об орлянке, и о Матвееве, и о себе.

В воскресенье в клубе состоялось заседание «третейского» суда. Большая комната была полна, а люди все шли и шли, принося с собой свежий морозный запах улицы. Яшка и Матвеев сидели на «скамье подсудимых» — двух табуретках с правой стороны от судейского стола.

Вышел суд. К своему ужасу, Яшка увидел, что на председательское место усаживается Тит Титович Алешин. Покраснев, Яшка отвернулся.

Секретарь суда стал читать обвинительное заключение. Потом наступила томительная пауза. Члены суда не спеша протирали стекла очков. Наконец Тит Титович надел очки и взглянул на «скамью подсудимых». Он сделал вид, что впервые увидел Яшку.

— А, и адвокат здесь? Что же это получается? Я надеялся, ты скоро судить других начнешь, Плевакой будешь. А ты на-ко! — сам под суд попал. А я-то, старый дурень, думал, что парень ты хороший. Вот, думал, жених будет моей внучке. Сватать за тебя Клавку хотел. А какой бы из тебя зять получился? Верно все говорят: чистый алкоголик. Тебе не самогонку, а молоко еще сосать…

Яшка вспыхнул, и Алешин, видя, что он готов зареветь, поднял голос:

— Ты не реви. Плакать надо было тогда, когда такое безобразие начинал делать! А теперь поздно, слезы все равно не помогут.

— Москва слезам не верит! — качнул головой неразговорчивый Киуру.

Яшка всхлипывал все чаще и чаще, а суд, казалось, не замечал ничего.

— Вот видишь, человек читает про твои грехи, а мы тут сидим, на тебя смотрим, — тихо, словно нехотя, говорил Алешин. — Нам всем троим, поди, лет за двести будет, и никто себя дурным делом не запятнал. Скажи, Яшка, часто это ты на деньги играешь?

— Ни разу я не играл, Тит Титович, — сквозь слезы сказал Яшка. — Первый раз это было…

— Может быть, тебя кто принудил или уже очень приглашал сыграть? — спросил Киуру.

— Нет, это я сам… Сам виноват! Никто меня не заставлял.

Ему не хотелось выдавать ребят. Да и так-то сказать, конечно, виноват сам: кто насильно мог заставить? Значит, еще силы воли нет. О силе воли он читал во многих книгах и знал, что ее нужно воспитывать.

А Тит Титович не унимался:

— Скажи-ка, Плевака, как дело было, с чего началось.

Яшка еле слышно начал рассказывать. Из зала послышались крики;

— Громче, громче! Ничего не слышно!

— Вы сами-то тише. Знаете, что человек голос пропил, — язвительно сказал один из членов суда.

Яшка стал говорить громче.

— Ну хорошо, — перебил его Тит Титович. — За инструмент тебе особо влетит. А ты мне вот что скажи: зачем самогонку пил? Заставляли тебя, что ли? Ведь на два часа опоздал в смену, да и то не работал, а в уборной отсиживался.

— Я попробовать хотел, что за первач такой. Интересно было, — тихо, чтобы не слышали другие, сказал Яшка.

— Ишь ты, попробовать!.. Что ж это вы, молодцы, когда из кладовой серную или какую другую кислоту несете, не попробуете?

Вслед за Яшкой допросили ребят и, наконец, Матвеева. Тот держался независимо, на вопросы не отвечал, а Яшке бросил сквозь зубы: «Сопляк и есть!»

Яшка не слышал. У него было сейчас такое чувство, что судят их все — рабочие, весь завод, весь поселок.

Час спустя суд удалился на совещание. Никто не уходил, все ждали, какой будет приговор.

Время тянулось мучительно долго. Наконец судьи вошли, и все, кто был в комнате, встали. Встал и Яшка; ноги у него были как ватные, он едва держался.

Судьи сели. Фома Иванович неторопливо надел очки в

железной оправе. Он хитро и, как показалось Яшке, с доброй усмешкой взял в руки лист бумаги и начал читать:

«Именем Российской Советской Социалистической Республики суд, руководствуясь революционной совестью и сознанием, рассмотрел дело ученика-слесаря Якова Курбатова в том, что он проиграл в орлянку не свой, а принадлежащий заводу инструмент (дальше следовало перечисление инструмента). Это является обкрадыванием молодого Советского государства и своих же рабочих завода. За такие дела, как за воровство, Яков Курбатов подлежит строгому наказанию. Но учитывая, что оный Яков Курбатов сам во всем чистосердечно признался, осудил свой поступок и обещает никогда больше не повторять его, и также учитывая, что этот поступок является отрыжкой старого, прогнившего строя, который развращал рабочих с малолетства, постановил: Якова Курбатова оправдать и предложить ему возместить заводу стоимость проигранного инструмента».

То, что слышал Яшка, было как во сне. Он не верил своим ушам. Его оправдали?! А ведь по ходу суда, по вопросам судей Яшка ждал самого тяжкого наказания.

— Подойди сюда, Яша, — сказал Алешин, хмурясь, но это была уже показная хмурость. — Подойди, не бойся. Что, попало, брат, тебе? Ну, ничего. На то и народ нас в судьи поставил. Все ты понял, внучек, что здесь было?

— Понял, дедушка Титыч, — тихо сказал Яшка.

— Ну, теперь иди. — Тит Титович взлохматил Яшке мокрые, прилипшие ко лбу волосы. — Одно запомни, что в конце написано. Этот твой поступок есть отрыжка старого строя. А набезобразничал-то ты при нашей, при рабочей Советской власти, которая только хорошему учит. Вот ты и пойми: можно ли в этом только старый буржуйский строй винить? Нельзя все валить на старое. Понял?.. Ну и хорошо, что понял. Ладно уж, приходи к внучке… А все же сватать я ее за тебя подожду, посмотрю, что из тебя дальше будет, — в заключение сказал он.

Больше месяца висело на доске объявлений решение суда; его прочитали все. После суда над Яшкой еще долго посмеивались на заводе и в поселке.

В тот же день на партячейке снова обсуждали работу Трохова. Большевики взгрели его крепко за плохую организацию молодежи, за то, что такие ребята, как Курбатов, стали делать бог весть что. Придя с Алешиным с партячейки домой, Чухалин грустно сказал:

— Кругом мы виноваты. Был парень с нами — не нарадуешься. Упустили мы его — не наплачешься. Если Трохов и дальше так работать будет с молодежью, поставлю вопрос о его

пребывании в партии.

— Не очень-то он много всегда делал, Трохов, — усмехнулся Алешин. — Не помню я, чтоб ты за него прежде радовался.

— Что? — не понял Чухалин. — Так я ж не о нем говорю. О Яшке. Перед ним мы с тобой виноваты, что он беспризорником стал. А Трохов…

Чухалин, не договорив, остановился и поглядел Алешину в глаза.

— Знаешь, Павел Титович, о чем я думаю? Измучился весь. Кто мог указать на людей, которые нашу землянку знали, а?

— Подозреваешь? — так же тихо откликнулся Алешин. — Трохова ведь в милиции Карякин тоже бил…

— Что из того? Стукнул — он и выдал. Хотя… Ладно, не было у нас с тобой этого разговора. Не пойман — не вор.

16. Человек-«сова»

Яшка всегда любил весну, еле ощутимое ее появление, когда воздух, кажется, полон каких-то особенных, необъяснимо волнующих, свежих запахов.

Эта весна была трудной, Как-то пусто стало на заводе: многие ушли на фронт. И Яшке оставалось только жалеть, что он еще не дорос. Было голодно по-прежнему, и по-прежнему, возвращаясь домой, в холодный барак, где серебрился по углам иней, Яшка валился на свой топчан с одной мыслью: поскорее уснуть, а две вареные картофелины и кусок хлеба съесть утром. Уже засыпая, он вспоминал о завтрашних делах. После работы спортивная секция в союзе молодежи. Заезжий акробат будет показывать упражнения. И не очень хочется идти, а надо: его назначили старостой. Трохов долго и нудно расспрашивал Яшку о его «потребностях», записал в свою тетрадь так: «Я. Курбатов хочет закалять тело для грядущего».

Вот теперь и ходи, закаляй тело, когда в животе все урчит и переворачивается с голодухи. Однако долго ходить на эти занятия Яшке не пришлось.

Как-то мастеру вечерней смены Мелентьеву позвонила уборщица из конторы заводоуправления, тетя Поля: засорилась канализация и вода не проходит в раковины.

Последнее время Яшке поручали самому выполнять многие мелкие работы. И на этот раз мастер послал его посмотреть, где и что засорилось, и исправить.

Было часов девять вечера, и, как всегда, стояли уже густые весенние сумерки. В конторе не было ни души. Яшка, прочистив трубу, выключил свет, вошел в коридор и сразу увидел, что по лестнице поднимается человек с очень странным лицом. Лицо было круглое, бледное, вместо глаз виднелись темные впадины. Нос, длинный, тонкий, острый, походил на клюв хищной птицы. Подбородка не было: сразу от рта он покато спускался и переходил в шею. Все это Яшка схватил мгновенно, когда на лицо человека упал тусклый свет лестничной лампы.

Человек шел, размахивая руками. На нем был френч военного покроя и брюки, вправленные в сапоги. Такого в поселке Яшка не встречал; от одного его вида стало как-то жутковато.

Яшка стоял, прижавшись к стене, и пытался вспомнить, на кого похож этот человек. В губернском городе в музее он видел чучело совы. Лицо незнакомца было именно таким.

Человек прошел мимо Яшки по коридору к кабинету управляющего заводом Ермашева. Тревожное любопытство

охватило Яшку. Осторожно ступая, он направился к дверям, за которыми скрылся «сова», и тихо вошел в приемную управляющего заводом. Узенькая желтая полоска света лежала на полу. За перегородкой, в кабинете, слышались неясные голоса. Люди разговаривали тихо, но в пустой конторе слова были отчетливо слышны. «Сова» скрипучим, осипшим голосом спросил:

— Как у вас? Все готово?

— Да, — ответил голос Ермашева. — Сегодня ночью все будет кончено. Завод, может быть, остановится совсем, а в худшем случае поработает еще неделю.

— Кто исполнители? Как все будет организовано? Мы должны действовать только наверняка. Поэтому меня интересуют все подробности, — снова послышался голос «совы».

— Подготовлено десять человек. За эти три дня туда доставлены банки с керосином и тряпки. Люди все наши, надежные. Всей подготовкой руководит — может, знаете? — Долгалов. Ну, сын лесопромышленника, — отчетливо проговорил Ермашев.

— Когда начнут? По какому сигналу?

— В час ночи. Долгалов из будки, что на лесотаске, махнет три раза фонарем, — как бы рапортовал Ермашев.

— Что предусмотрено на случай провала? Кто знает о вашем участии в операции? — продолжал «сова» своим резким голосом.

— Провала быть не может. «Товарищи» очень беспечны. О моем участии знает только Долгалов, — уверенно сказал Ермашев.

— А если штабеля окажутся сырыми, — достаточно ли будет керосина, чтобы их поджечь? Время весеннее, мокрое.

— Мы наметили штабеля сухих бревен; они лежат уже больше двух лет, но на всякий случай у каждого есть с собой порох.

Яшка понял, что речь шла о поджоге огромной лесной биржи, где хранились трехлетние запасы древесины для выделки целлюлозы и дрова для электростанции, дающей заводу ток. Ему стало жутко. Он успел подумать, что, если сгорит лесная биржа, без работы и без хлеба останутся тысячи рабочих. «Бежать скорей! Кричать… Предупредить всех. Поймать эту контру. Нет, успеют уйти».

За дверью еще продолжался разговор. Яшка словно прирос к полу, не решаясь уйти. Человек-«сова» хрипел.

— Мы и хозяин были вами очень недовольны. Нечего греха таить, думали: уж не перекинулись ли вы на сторону этих «товарищей»?..

Ермашев отвечал, оправдываясь.

— Мелкие диверсии вас, очевидно, все равно бы не устроили. Если наносить удар, так в самое сердце. Не так-то легко было подобрать надежных людей, господин полковник. Вы ведь знаете, что я здесь управляющий только номинально. Без комиссара, который был у нас мастером, я и шагу ступить не могу. За мной следят… Бухгалтер Сидор Павлович запутал все книги, так сейчас этот комиссар что-то подозревает, уже спрашивал меня.

— Да, теперь мы убеждены, что вы действовали правильно: и завод будет в сохранности, и работа остановится. Это хорошо. Ждать осталось недолго. Мы стоим накануне великих событий, накануне избавления нашей многострадальной России от этих чумазых «товарищей», — сказал «сова».

— Дай-то бог, скорей бы, — обрадованно затараторил Ермашев, — Вы знаете, господин полковник, как мне противно, если хотите, тошно, находиться среди этих… Делать умильное лицо и подавать руку хамам.

Вдруг голоса смолкли, и через мгновение дверь, у которой стоял Яшка, быстро отворилась. Яшка не удержался на ногах и повалился на пол. «Сова» прыгнул к нему, зажал рот рукой, но тут же, застонав от боли, выпустил мальчишку. Яшка укусил руку «совы» и бросился к окну, но путь ему снова преградил полковник. Он сильно вывернул Яшкину руку; в плече что-то хрустнуло, и рука повисла как плеть. Однако правой рукой Яшка вцепился в лицо человека-«совы», стараясь достать глаза; тот с силой бросил Яшку на пол и хотел пнуть сапогом, но Яшка на лету здоровой рукой поймал занесенную над ним ногу. «Сова» пытался вырваться, бил Яшку кулаками по спине, по голове…

Яшка уже не чувствовал боли. «Предупредить! Предупредить! Убежать во что бы то ни стало! Поймать эту контру. Рассказать всем о Ермашеве. Бежать!» Но что-то тяжелое и тупое сильно ударило его по голове. За шею потекла теплая, густая струйка крови. В глазах потемнело, и Яшка медленно стал оседать на пол…

Потом, словно сквозь сон, он услышал, как Ермашев сказал:

— Что будем делать с этим?

— Что-нибудь придумаем…

«Где я? Знакомые голоса! Где я их слышал?..» Яшка попробовал напрячь память и вспомнил. Вспомнил, что должно совершиться сегодня ночью и чему он, Яшка, не в силах помешать. Немного приоткрыв глаза, он увидел человека, сидящего недалеко от него и вытирающего исцарапанное в кровь лицо. Тут же стоял Ермашев.

— Он все равно готов, — медленно проговорил Ермашев. — Завернем в кусок целлюлозы и вынесем через черный ход.

Черное крыльцо конторы выходило не на улицу, а на железнодорожную ветку, где всегда было пустынно. По одну сторону ветки стоял высокий глухой забор. Возле него была вырыта канава для сточной воды, По другую сторону шли поленницы дров.

«Думают, что убили, — сообразил Яшка. — Скорей бы в канаву выбросили».

Но «сова» сказал:

— Пожалуй, не годится. Найдут и могут добраться до вас. Я-то далеко буду!..

— Уверяю вас, не доберутся. Откуда им? Милицией руководит малограмотный пожарник. У них и сыска-то нет. Кроме того, все знают, что этот мальчишка первый хулиган в поселке. Они его сами недавно судили. Убили в драке — и все. Не подумают же, в самом деле, что это случилось в конторе. Кто же, спрашивается, решится убить мальчишку, да тут же у крыльца выбросить его труп? Лично я не беспокоюсь, — убежденно проговорил Ермашев.

— Ну, давайте. Только быстрей.

«Сова» отрезал от рулона большой лист целлюлозы, затем подошел к Яшке и изо всей силы ударил его в бок. В боку что-то хрустнуло, но Яшка не вскрикнул. В глазах вспыхнули и поплыли оранжевые и зеленые круги, сознание опять стало меркнуть.

Он не почувствовал, как его закатали в большой лист целлюлозы и понесли, а шагов через двадцать прямо с плеча бросили в канаву.

…Когда Яшка очнулся, рядом уже никого не было. С трудом ему удалось выбраться из листа целлюлозы; внутри все горело, нестерпимая боль разрывала затылок. Он хотел было встать на ноги и не смог. Опять в глазах вспыхнули, словно приближаясь издалека, разноцветные круги. Яшка стал кричать, но не узнал своего голоса: был он слабый, глухой, чужой. «Нет, не услышат. Когда еще смена кончится?»

Он решил проползти по канаве до ближайшего мостика, который был возле улицы, пересекающей ветку. На этой улице находилась милиция и пожарное депо. Ползти надо было метров триста. Но сколько для этого требовалось усилий!

На дне канавы стояла липкая, вязкая грязь. Да и опираться Яшка мог только на одну руку. Он полз, отдыхал и снова полз. Ему казалось, что он передвигается очень медленно. Несколько раз Яшка снова принимался кричать, но его никто не слышал.

Так он дополз до мостика. Здоровой рукой схватился за его край, встал и перекатился на дорогу. В нескольких шагах высился телеграфный столб с косыми подпорами. Яшка боком покатился к

столбу, полежал, пока утихла боль, затем встал на ноги и пошел, пошел шатаясь как пьяный и плача от режущей боли.

Вот и дом. Вот и калитка. Вот и крыльцо, Дальше Яшка идти не смог, несколько раз крикнул: «Дядя Лукин! Дядя Лукин!» — и повалился на землю, снова теряя сознание.

Очнулся он уже в комнате на диване. Голова была забинтована. Над ним склонилось серьезное и испуганное лицо Лукина, а кругом стояло еще несколько человек, тоже знакомых.

— Что с тобой, сынок? — тихо спросил Лукин.

— Дядя Лукин, сколько времени? — выдохнул Яшка.

Лукин поднес к его глазам большие карманные часы. Было без четверти двенадцать. Яшка скороговоркой, сбиваясь, путаясь в словах, рассказал все, что произошло с ним. Рассказал о том, что через час загорится лесная биржа: ее подожгут сразу в десяти местах. Рассказал о человеке-«сове», о Ермашеве, о Долгалове. Больше Лукин не стал слушать, бросился к дверям, на ходу вытаскивая наган, и только с порога, обернувшись, крикнул:

— В больницу его!.. И осторожней!..

Как уже потом рассказывали Яшке, Лукин послал за комиссаром завода Чухалиным, Алешиным и председателем Совета — Бедняковым. Милиционерам велел найти и арестовать Ермашева, Долгалова, предупредить пожарников. Сам Лукин побежал в цехи к рабочим. В одном из цехов он остановил общий мотор: станки работали от трансмиссии..

Рабочие быстро собрались. Лукин коротко рассказал им все, что узнал от Яшки, и распорядился немедленно пойти и обыскать всю лесную биржу. В течение каких-нибудь пятнадцати минут в основных цехах были проведены такие же летучие митинги, и около пятисот рабочих вечерней смены двинулись на биржу.

Было поймано семь поджигателей, ожидавших сигнала. Троих нашли на другой день. Нашли бидоны с керосином, тряпки, порох. Ермашева и Долгалова арестовали.

Вначале Ермашев отпирался и ничего не хотел говорить. Когда ему рассказали все, что успел передать Яшка, он понял, что карта бита, и выложил все начистоту.

Полковника поймать не удалось. Мог ли Яшка предполагать, что судьба сведет его еще с этим человеком, похожим на сову?

17. Детство кончилось…

Когда Яшку принесли в больницу, он бредил. Его сразу же положили на стол в перевязочной. Врачи внимательно осмотрели рану на голове, вывих, распухший, посиневший бок.

Диагноз был нехороший: сотрясение мозга с переломом черепа. Левая рука вывихнута в плече. В правом боку сломано ребро. На теле было много кровоподтеков. Когда врачи узнали, что в таком состоянии Яшка прополз больше трехсот метров, они не поверили. Где взял такие силы этот истощенный, искалеченный, избитый мальчишка?

На рану наложили швы. Руку вправили в плечевой сустав и положили в гипс. На правый бок тоже наложили гипсовую повязку. Если бы Яшка был в сознании, он, очевидно, не вынес бы такой сильной боли при операции и перевязке. Но он ничего не чувствовал. Врачи надеялись, что молодой организм справится с шоком и тяжелыми травмами. По законам медицины люди в таком состоянии долго жить не могли.

В больницу никого не впускали. Но Клава Алешина потребовала от отца, председателя завкома, чтобы тот поговорил с заведующим больницей.

— Да пойми ты, — уговаривал ее Алешин, — Ну, нельзя к нему сейчас.

— Не хочу понимать, — плакала Клава. — Ты сам не хочешь идти и мне не помогаешь. А я вот буду ходить за тобой повсюду — хоть убей меня, не отстану.

Алешин сдался; заведующий больницей разрешил.

Клава вошла в палату и сразу увидела Яшку. Он лежал на спине. Голова была забинтована, глаза закрыты, губы распухли. Лицо у него было почти восковое, с желтоватым оттенком. Но видно было, что Яшка дышал, хотя дыхание его было замедленное, едва заметное.

Клава села у кровати, долго смотрела на Яшку, потом взяла его здоровую руку и нащупала пульс; пульс бился тихо, неуверенно.

Всю ночь просидела она у постели, то поправляя подушку или сбившееся одеяло, то вливая Яшке в распухший рот капельки воды и какое-то лекарство. Никто не просил Клаву уйти. К ней обращались как к постоянной сиделке. Утром врач спросил ее: «Как вел себя больной?»

Только дома беспокоились. На другой день пришла в больницу бабушка, Марфа Ильинична Алешина. Когда она узнала о состоянии Яшки и о том, что Клава просидела у его постели всю

ночь, она только заплакала, махнула рукой и попросила передать Клаве узелок с лепешками.

Клава провела в палате и вторую и третью ночь; спала она урывками, днем — на стуле в углу больничного коридора. Она осунулась: бессонные ночи все-таки измотали ее.

В палате было полутемно. Клава сидела и тихо плакала. Потом она стала поправлять подушку под Яшкиной головой и вдруг как-то особенно ясно почувствовала, как дорог ей этот парень, которого она с таким удовольствием всегда поддразнивала, потому что у нее, как говорит дед, сумасшедший характер. Оглянувшись на дверь, Клава осторожно нагнулась и поцеловала Яшку в краешек лба, видневшийся из-под повязки.

И вдруг Яшка на какой-то миг открыл глаза и сдавленно простонал. Клава быстро вскочила и, закрыв руками лицо, выбежала в коридор.

— Очнулся!.. Очнулся!..

Врач, сестра и санитарка быстро вошли в палату. Клава сзади робко выглядывала из-за чужих спин. Ей было стыдно Яшки. Однако Яшка лежал по-прежнему, закрыв глаза, и только казалось, что где-то в уголках губ притаилась еле заметная и довольная улыбка.

Кризис прошел…

В поселке быстро узнали, что Яшка поправляется. Его часто навещали рабочие, и Яшке было особенно приятно, что они беседовали с ним как с равным.

Ему приносили в больницу все, что было необходимо. Хотя в поселке голодали, но Яшка ел масло и булки, сахар и конфеты, его кормили мясным бульоном.

Пришла в больницу и тетя Поля. Она принесла какой-то сверток, развернула, и Яшка увидел общипанного петуха.

— На-ко тебе, сынок, — сказала она, положив его на тумбочку. — Ишь, ироды, как тебя разукрасили!.. А я-то этой змее, Ермашеву, чай еще подавала. Обходительный такой был, гадина! Вини меня, Яша. Я виновата, что тебя так избили. Надо было мне, когда наверх тебя привела, остаться: может быть, ничего бы и не было.

Тетя Поля заплакала и концами платка стала вытирать слезы.

— Что ты, тетя Поля? — с каким-то испугом торопливо ответил Яшка. — Тогда, может, хуже было бы. Биржа сгорела бы, если бы эту контру не накрыли.

— Заснула я, ничего не слышала. На петуха понадеялась. Такой понятливый был, только что не говорил. Бывало, как чужой в дверь войдет, он сразу — «ко-ко-ко»: слышь, чужой, мол, пришел. А в этот вечер сел себе в угол и хоть бы звук издал. Вот я

ему, дьяволу, голову за это и отвернула. Больно полезен для здоровья куриный суп. Ты скажи, чтобы сварили тебе.

Яшка слушал ее со счастливой улыбкой, не зная, что сказать в благодарность.

Зашел и Чухалин, назначенный после ареста Ермашева красным директором завода. Он поцеловал Яшку и, ласково поглаживая шершавой ладонью почти голубую, бескровную Яшкину щеку, спросил:

— Что, трудно? Знаю, что трудно. Терпи, большевичок! Когда трудно бывает, всегда одно помни, что большевикам, которых пытали, труднее было. Ты вот жить будешь, большая у тебя впереди дорога… Видишь, сколько тут у тебя всего? — показал он на тумбочку. — Ты года два этого не едал, да и сейчас никто не ест. Сам знаешь, как голодно… А вот видишь, народ-то какой. У самих кишка кишке фигу кажет, а тебе несут. Умеет наш народ ценить тех, кто для него старается и жизни своей не жалеет. Говорят, тетка Полина по своему кочету два дня плакала: он ей самая близкая родня был. А вот зарезала и тебе принесла. Цени, Яша, свой народ, золотой он!..

Он немного помолчал, словно собираясь с мыслями.

— Ты вот, наверное, большевиком хочешь быть? И станешь им, если все время будешь стараться для народа. Ведь большевики все из народа и жизни своей для него не жалеют. Попробуй оторви большевика от народа — что из него получится? Пустое место. Вот так-то, Яша! Поправляйся скорее, я еще к тебе зайду. Мне, брат, тоже трудно. Был я мастером, а сейчас партия поставила управлять заводом. Я тоже говорил: трудно мне будет, не выйдет ничего. А мне знаешь что ответили? «На то ты и большевик, а у большевика все должно выйти». Вот и работаю, хоть и трудно… Теперь и получку рабочим вовремя платим.

Чухалин попрощался с Яшкой и ушел, спохватившись, что там, внизу, еще ждет очереди один человек, но кто — не сказал, и Яшка изнемогал от любопытства, не сводил с дверей глаз.

Это был Тит Титович Алешин. Со времени суда Яшка его не видел и всячески избегал встречаться с ним.

Тит Титович принес Яшке гостинец — зеленых перышков лука, выращенных в горшке на подоконнике.

— Это тебе, адвокат. Поешь. Больше принести нечего, да и внучка говорит, что у тебя, как у буржуя, все есть.

— Есть, есть, дедушка. Мне ничего не надо, — забормотал Яшка, краснея.

Старик заметил это и лукаво склонил голову.

— Что краснеешь-то? Девку увидел, что ли? Как маков цвет стал. Не рад, что пришел, а?

— Да нет, что вы, дедушка, — опять забормотал Яшка, — это я так… Мне… мне стыдно, вот что.

— Чего тебе, дурной, стыдиться-то?

— Да ведь судили вы… — тихо ответил Яшка.

Старик сидел, потирая колени и пожевывая бесцветными губами.

— Вот оно что! Что ж, Яшка. Всего нехорошего стыдиться надо. А тебе сейчас что стыдиться? Все уже давно прошло. Или после этого еще где первача хватил?

— Что вы, Тит Титыч! Я его в рот больше никогда не возьму! — Яшка даже попытался приподняться.

Алешин торопливо прижал его плечо к подушке.

— Уж и никогда не возьму! Ты много на себя не бери, мал еще. Жизнь у тебя впереди большая. А не думал я, адвокат, что ты такой. Себя не пожалел. Ермашев на допросе рассказывал, как ты на этого, на полковника, бросился. Говорит, как волчонок какой, глаза горят, даже и ему страшно стало. Ты этому полковнику всю фотографию, можно сказать, разрисовал.

Яшке было очень интересно слушать: дедушка Тит Титович говорил как-то весело, не выпячивая Яшкину заслугу.

Старик словно бы почувствовал затаенные мысли Яшки о своем геройстве: об этом говорит весь поселок, и Яшка это знал.

— Наверное, думаешь, что герой ты? — насупился Алешин, перебивая себя. — Герой-то ты герой, а только подумай, почему такой стал? Разве стал бы ты так буржуйское добро защищать? Ни боже мой! Силы у тебя, парень, потому столько оказалось, что завод теперь наш, а не буржуйский. Ты, может, и не понимаешь, а обязательно про это думай. Вот откуда сила у тебя взялась. Понял?..

Последние слова он почти выкрикнул, почему-то пригрозив Яшке кулаком, и тот, не выдержав, рассмеялся, с болью растягивая губы.

— И хорошо, что понял, — уже примирительно закончил Алешин. — Клавка у тебя бывает? Чего краснеешь? Знаю, что нравитесь друг другу. Верно я говорю? Подрастешь — сам внучку за тебя сватать буду. Согласен?

Яшка стыдливо молчал, не зная, что ответить. Алешин добродушно хлопнул его по здоровой руке.

— Ладно, не буду больше. Лежи, поправляйся.

Тит Титович ушел. Яшка лежал, закрыв глаза, и чувствовал, как что-то огромное, светлое, радостное поднимается в нем. Хотелось вскочить с этой кровати, выбежать на улицу, помчаться туда, к заводским корпусам. Он не понимал, что с ним происходит… Радость переполнила его. С трудом повернув

голову к окну, он заплакал.

За несколько дней до выписки к Яшке зашел мастер, дядя Ваня Мелентьев, и знакомый слесарь из цеха.

— Как, Яша, поправился? — спросил мастер.

— Давно поправился, дядя Ваня, да вот врачи не выпускают. Все полежи да полежи. А мне надоело, — ответил Яшка.

— О чем соскучился-то? По работе или по чему?

— И по работе и по всему. Надоело мне. От меня так больницей пахнет, что и не отмоешь.

— Вот насчет работы мы к тебе и пришли… Давай, Сидор, вынимай акт, который мы сочинили.

Мелентьев, далеко отставляя от себя бумагу, прочитал акт, по которому Яшка, учитывая его старание, полученные знания и навыки по слесарному ремеслу, переводился из учеников в подручные слесаря по четвертому разряду.

— Рад? — спросил Мелентьев.

— Очень рад. Уж если я, дядя Ваня, чего и не знаю, так я спрошу. Поможете ведь?

— Как, Сидор, поможем?

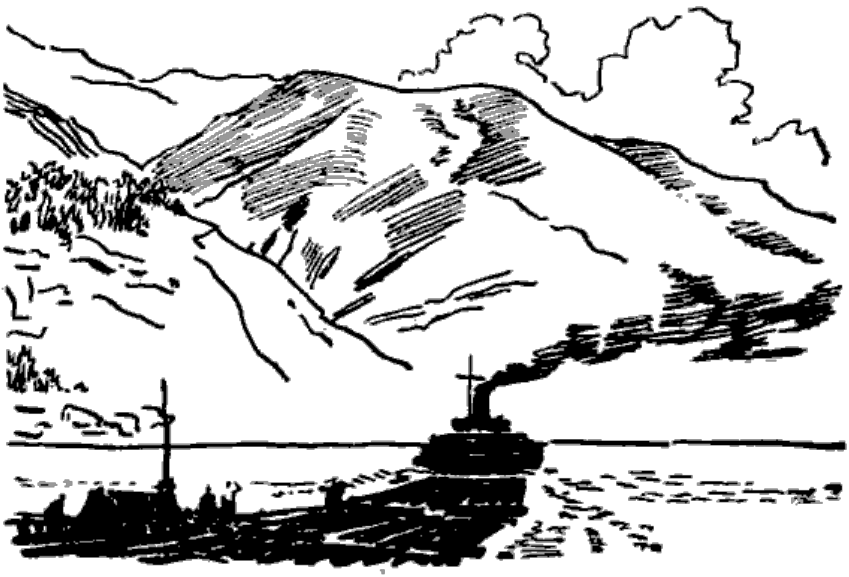
— Поможем, — ответил, улыбаясь, слесарь.

— Завтра же я выпишусь, — заторопился Яшка. — Работать надо… И в кружке без меня, поди, все прахом пошло.

Яшка пролежал в больнице два месяца. Рука и правый бок у него зажили совершенно, но в голове стоял шум; она еще долго гудела. Но молодой организм все-таки переборол тяжелое ранение. В эти дни Яшка понял, что детство, каким бы оно ни было, кончилось.

И как-то широко стало видно вокруг, какое-то новое, еще необъяснимое чувство овладело им, когда он, пошатываясь, вошел в полутемный, прокопченный цех и увидел улыбающихся людей, которые кивали ему, что-то говорили — очевидно, хорошее, но что — он из-за шума не слышал.

Часть вторая



1. Комсомольское собрание

29 октября 1918 года в Москве собрался Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, работающих под руководством партии большевиков. До этого организации молодежи не имели своего единого центра, не были связаны уставом и программой. Это, конечно, отражалось на их деятельности.

На съезд делегатом от заводского союза рабочей молодежи поехал председатель ячейки — Мишка Трохов. Чухалин, прощаясь с ним, погрозил пальцем:

— Учти, тебе за эту поездку не только перед союзом отчитываться — перед нами…

А дела в союзе шли неважно. После Октября, когда на заводе были прикрыты все эсеровские организации, руководимый эсером Ютиным драматический кружок почти в полном составе влился в организацию Социалистического союза молодежи. Таким образом, союз был разбавлен всякими людьми: тут была и рабочая молодежь, и дети местной интеллигенции — начальников отделов, инженеров, служащих. Да что интеллигенция! Сын и дочь попа и сын дьякона из церкви села Воскресенье считались членами союза!

Организация не была сплоченной. Рабочая молодежь держалась в стороне от интеллигенции. Те тоже объединились и пренебрежительно смотрели на рабочих, не хотели участвовать ни в какой другой работе, кроме как в драмкружке да в организации танцев.

Наконец Трохов вернулся из Москвы, и на дверях клуба появилось объявление, аршинными буквами извещавшее, что на 10 ноября назначается общее собрание ячейки РКСМ. Все интересовались, что это такое — РКСМ, и Трохов снисходительно объяснял незнающим: Российский Коммунистический Союз Молодежи.

Пожалуй, впервые собрание ячейки было таким многолюдным; на нем присутствовало больше двухсот человек, и не только молодежь: пришли кое-кто из большевиков.

Трохов попросил выдвигать кандидатуры в президиум, и кто-то крикнул из глубины комнаты:

— Кията… Алешину…

Яшка знал этого паренька. Он работал в инструментальном цехе — большеголовый, белобрысый, с упрямым и даже, пожалуй, каким-то жестким выражением темных глаз. И Яшка, мысленно отметив: «Этого можно», — тоже поднял руку, а потом с

любопытством наблюдал, как Кият деловито перебирает на столе президиума какие-то бумажки и о чем-то шепчется с секретарем — Клавой Алешиной.

Слово взял Трохов. Он то и дело поправлял шелковистые, спадающие на лоб волосы и, глядя куда-то поверх людей, на стену, сделал доклад о Первом Всероссийском съезде молодежи. Говорить он умел складно, и все было ясно: зачем был созван съезд, почему союз стал именоваться Коммунистическим, каковы взаимоотношения Коммунистического Союза Молодежи с партией. Трохов рассказал, как проходил съезд, кто был избран в первый состав ЦК комсомола… Потом он выпил воды, долго полоскал горло и, взглянув в зал, развел руками:

— Доклад окончен, товарищи. Ежели есть вопросы, валяйте.

Первым задал вопрос Силаков, сынок заведующего расчетным отделом завода:

— Как это так? Вот ты говоришь: большинство, большинство… А если я не согласен с большинством, если у меня свое личное мнение есть, то, скажите, как же я буду подчиняться большинству? Это же насилие над личностью!

Отдельные голоса с мест кричали: «Правильно!»

Сын попа Ершин задал такой вопрос:

— Если я не желаю изучать коммунистическое учение, если я не хочу разделять коммунистических идей, а вот в драмкружке хочу быть, танцевать хочу, — тогда что?

Видимо, те же голоса крикнули: «Правильно! Нас большевиками хотят сделать!»

— Вот мы и не согласны! — закончил Ершин.

Накрашенная барышня Тузова сказала, поводя плечиком и округляя и без того круглые, чуть навыкате, глаза:

— Кто разрешит, чтобы вмешивались в их личную жизнь? Кому какое дело, являюсь ли я примером в личной жизни? А может быть, я и не являюсь — тогда что?

В зале громко засмеялись, и кто-то крикнул:

— Пример, как хахалей раз в неделю менять!

Валя Кият едва водворил порядок и кивнул Трохову:

— Будешь отвечать?

Тот глядел в зал презрительно и, когда Кият повторил: «Отвечать будешь?» — усмехнулся:

— Отвечать? На такие вопросы не отвечают. Я б за такие вопросы прямо в Чека сажал. Кому же я отвечать буду? Этим… — он грубо выругался.

В зале зашумели, зашушукались. Яшка видел, как от грубого слова, сказанного Троховым, покраснела Клава, услышал неподалеку от себя спокойно сказанное: «Дурак!» — и обернулся.

Старик Захар Аввакумович Пушкин уже поднимал руку.

— Эй, товарищ председатель, дай мне словечко сказать.

Он не торопясь прошел к столу президиума и, взглянув на ухмыляющегося Трохова, качнул головой.

— Не прав ты, парень. Спрашивают — значит, интересуются. А коли так, отвечай, всем впрок пойдет.

Он обернулся к ребятам:

— Вот приведу я вам самый простой пример. Сидят в лодке десять человек. Вдруг двое начали сильно раскачивать лодку, да так, что она стала бортом воду черпать, Большинство потребовало прекратить это безобразие: мол, кувыркнется лодка. А эти двое заявляют: «Нет, мы не согласны с вами, нам так больше нравится. У нас тут свое мнение». И что же, лодка опрокинулась, двое потонули. Ну, что вы скажете? Наверное, скажете, что это хулиганство.

А в жизни и не так бывает. Вот в октябре семнадцатого года большевики обсуждали вопрос о вооруженном восстании в Питере. Все высказывались за немедленное вооруженное восстание, только Зиновьев и Каменев были не согласны. Тоже говорили: «У нас на этот счет свое мнение». Они не подчинились большинству и выдали буржуазии планы вооруженного восстания. Буржуазия ликовала по этому поводу. А товарищ Ленин заклеймил позором предателей. Говорил, что с этими господами он не может быть в одной партии.

Так вот, друзья, и получается, что подчинение большинству — основной принцип поведения членов партии большевиков. А комсомол, как говорится в Уставе, «всецело поддерживает и проводит программу и тактику РКП(б)», а уж если поддерживает — значит, и следует за партией, и делает так, как этого требует партия. Ершин, скажем, не хочет изучать коммунистическое учение — что ж, и не надо. Потеря невелика, если потеряем такого кулика.

В зале громко засмеялись и крикнули:

— Пускай он закон божий изучает!

Пушкин переждал, пока наступит тишина, и продолжал все так же ровно, будто не речь говорил, а беседовал дома за самоваром:

— Вот барышне Тузовой тоже отвечать вроде бы нечего, с места ей ответили. Ну, посудите сами, что же будет, если вы примером не будете? Будете пьянствовать, воровать, на работе лодыря гонять — что другие скажут? «Раз им можно, так нам и сам бог велел». Что тогда получится? Сообразите сами…

Когда дядя Захар кончил, с места встали Ершин, Силаков, Тузова и еще несколько таких же, как они.

Валя Кият хотел было призвать их к порядку, но Силаков крикнул:

— Мы уходим! Мы не согласны, чтобы чинилось насилие над нашей личностью. Где же свобода?

Все вскочили со своих мест, голоса председателя уже не слышал никто. Разобрать, что кричали, было невозможно, но что-то обидное, злое, насмешливое, потому что Силаков и другие стали поспешно пробираться к выходу.

С трудом удалось Кияту установить тишину, но, не сдержавшись, он сам крикнул:

— Скатертью дорога!.. Баба с возу — кобыле легче! Проситься будете — не возьмем. Может быть, еще есть желающие? Давайте, воздух чище будет!

Зал молчал. Больше не вышел никто. Снова со своего места поднялся Трохов:

— Видали? Наверное, еще найдутся такие. Партийная ячейка рекомендует нам всех, кто был в союзе молодежи, не зачислять механически в комсомол, а устроить перерегистрацию, или проще — открыть вновь запись в члены комсомола. Каждого, кто запишется, обсудить на собрании. Чтобы не тянуть, давайте сейчас собрание закроем, запишем желающих вступить в комсомол, а завтра будем персонально обсуждать каждого.

Яшка, отчаянно работая локтями, стал пробираться к столу президиума, за которым шла запись. Его отпихивали, оттесняли в сторону; разозлившись, он сам начал расталкивать стоящих впереди. Каждый стремился записаться пораньше, будто вдруг что-то может измениться и его имя не попадет в списки.

Но, когда Яшка, потный, взлохмаченный, тяжело дышащий, протискался к столу и, схватив Клаву за рукав, крикнул: «Меня запиши!» — он увидел список. Наверху страницы, уже почти заполненной фамилиями, стояло выведенное круглым Клавиным почерком его имя.

— Ты… уже?.. — спросил он, чувствуя, как перехватывает дыхание.

Его торопили, подталкивали, а он, все еще держал Клаву за рукав, лихорадочно и радостно думал: «Помнила…. Первым записала… Самым первым!..»

На следующий день, до начала собрания, ребята пели в клубе:

Вдоль да по речке,
Речке по Казанке
Серый селезень плывет.

Весь зал дружно подхватил шуточный припев.

В круг выскочил парнишка — токарь из механического — и пошел, притоптывая и вызывая желающих. Кто-то на мотив «Яблочко» сочинил частушки:

Эх, яблочко, катись под елочку —
Комсомолец полюбил да комсомолочку.

Девичьи голоса откликнулись:

Нам сказали на базаре,
Что мальчишки дешевы.
На копейку десять штук
Самые хорошие.

За весельем никто не заметил, что делает на сцене Клава Алешина. Подозвав Кията, она пододвинула ему тяжелый сверток и, давясь от хохота, сказала:

— Это тебе.

Кият удивленно развернул бумагу. В свертке была медная ступка и пестик. Председатель вскинул на Клаву настороженные, недобрые глаза.

— Что ты думаешь, мы здесь воду в ступе толчем? Так тебя надо понимать?

Клава прыснула:

— А ты постучи пестиком в ступку. Ну, постучи, не бойся.

Кият послушно стукнул. По залу разнесся гулкий звон. Все насторожились. Тогда, поняв в чем дело, засиявший Кият начал трезвонить так, что сразу смолкли песни, а те, кто был возле председательского стола, отворачивались и морщились, затыкая уши.

— Кончай благовест. Больше не будем!..

Эта ступка долго еще присутствовала на всех собраниях. И, когда кто-нибудь из выступающих начинал мямлить что-нибудь или повторяться, председатель стучал пестиком, звон означал: закругляйся, нечего в ступе воду толочь.

Водворив тишину, Кият взял в руки список.

— Начинаем обсуждать, товарищи. Первым по списку идет Яков Курбатов. Ну как, отводы есть? Выступления будут?

— Да чего там! Дальше давай.

— Знаем… Оставить!

— Пусть расскажет о себе.

— Не надо!

— А про самогонку? А как инструмент проиграл?

Алешинская ступка гудела, покрывая все голоса.

Ребята шумели: «Оставить! Оставить!» — но возле стола президиума уже стоял, одергивая сзади выцветшую солдатскую гимнастерку, Мишка Трохов.

— По поручению ячейки большевиков, — сказал он, морщась, хотя звон уже прекратился, — предлагается в списке Якова Курбатова оставить. Хотя от себя лично советую ему пересмотреть свои порочные мелкобуржуазные позиции.

Яшка вскочил, покрываясь краской.

— Какие позиции? Чего ты треплешься? — крикнул он.

— Вот-вот, — кивнул Трохов. — Недисциплинированность — одно из проявлений буржуазной стихии, мешающей классу…

Он ткнул в сторону Яшки указательным пальцем и продолжал говорить, не опуская его:

— Видали? Изживать это надо, товарищ Курбатов.

— Это ты от себя говоришь или от ячейки большевиков? — строго спросил Кият. Трохов пожал плечами.

— Собственно, в чем разница? Я член ячейки.

И сел.

Кият предложил голосовать, напомнив о том, что не кто-нибудь, а именно Курбатов, избитый и израненный, предотвратил на заводе вражескую диверсию.

За Курбатова голосовали все. Против не было. Но когда Кият спросил: «Кто воздержался?» — Яшка увидел, как уверенно поднял руку Трохов.

— Ты что?.. — удивленно спросил его Кият. — Только что рекомендовал…

— Личные мотивы, — резко сказал Трохов. — Имею право…

Яшка ничего не понимал. Ясно было только одно: то неприязненное ощущение, которое возникло у него к Трохову еще там, возле лесного ручья, было взаимным, но почему, он не мог себе объяснить.

Вечером, провожая Клаву домой, он не удержался и спросил:

— Слушай, а что это Трохов… так?

— Как «так»? — рассмеялась Клава. — Насчет «личных мотивов»-то? Так ведь…

Она запнулась. Яшка понял: Клава чего-то недоговаривает.

— Говори, раз начала.

— А чего говорить-то? Он тут ко мне стал приставать. Я его отшила. Он спрашивает: «С Яшкой ходишь?» — а я и сказала: «Ну, и хожу, тебе-то что?»

— И все? — Яшка остановился от неожиданности. — Но ведь он… Он большевик. Как же это?.. Ты не врешь, а?

Дома, лежа на своем топчане, Яшка снова вспоминал слова Клавы и раздумывал над тем, что и большевики, быть может, есть разные: Чухалин не похож на Алешина, дядя Ваня Мелентьев любит выпить, Бедняков — шутник. Но все они были чем-то близки друг другу, а Трохов в Яшкином представлении был совсем, совсем другим…

Обсуждение и принятие в комсомол закончилось только через два дня. Приняли почти всех. Преобладала рабочая молодежь; служащих и сынков «начальства» записалось немного. Выбрали бюро. Председателем ячейки снова стал Мишка Трохов, политпросветработником — Валя Кият. По работе среди девушек — Зина Федорова, экономработником — Курбатов. Схожая с профсоюзной экономическая работа должна была проводиться среди рабочих-подростков, а Яша и сам был таким.

2. Ячейка за работой

— Раз, два! Раз, два! Рота! Стой! К но-ге! — раздается команда. Это комсомольцы и часть беспартийной молодежи проходят на пустыре за заводом военное обучение. Ребята занимаются через день. Скрипит под ногами снег, мертвенным, бледным светом освещает луна крыши рабочего поселка. Однако ребятам тепло. Они бегают, ходят в атаку на воображаемого противника, изучают ружейные приемы. После команды «вольно!» слышится особенно звонкий на морозе, веселый смех: кто-то первым начинает «греться»: на мягком пушистом снегу завязывается борьба. Упадешь — не больно, только снег набивается всюду. Попадая за ворот, он тает и струйками течет под рубашкой. Ребята ежатся; их бросает в дрожь от воды, растекающейся по разгоряченному телу. И все-таки весело!

Бывают и другие военные занятия. В одной из комнат клуба ребята сидят на корточках и внимательно слушают объяснения военрука. Здесь изучают пулемет. В другой комнате на длинном столе лежат разобранные винтовки. Ребята учатся быстро собирать их. Иногда военрук объясняет комсомольцам основы тактики современного боя, положения боевого устава и устава караульной службы.

Девушки — те в другой комнате учатся делать перевязки, оказывать первую помощь при ранениях и контузиях. Со смехом ловят они какого-нибудь зазевавшегося парня, тащат к себе в комнату и на «живом экспонате» проверяют свое умение. Горе такому парню — измучают его девушки, а особенно, если из валенка покажется грязная нога, — сгорит со стыда. Уж лучше бы идти в атаку по глубокому снегу и, услышав пулемет-трещотку, падать, зарываясь с головой в холодных пушистый снег.

В другие дни в том же клубе ребята сидят, слушая чтеца Валю Кията, Мишку Трохова или других членов бюро ячейки. Книг мало, и чтение политических брошюр, речей Ленина приходится проводить вслух. Лица у ребят сосредоточенные; ох, далеко не все понятно им — об эксплуатации, о классовой борьбе, об общественном устройстве, о положении и задачах молодой Советской Республики!

Работа в ячейке самая разная. Вот сегодня кому-то надо бежать в драмкружок, на репетицию пьесы «Генерал Николаев». Речь в пьесе идет о царском генерале, оставшемся верным своему народу.

Другому надо в спортивный, третьему — в струнный, четвертому — в хоровой кружок. Некогда даже подумать, что ты с

утра не ел и что тебе только завтра утром можно получить и съесть свой паек.

Пришел комсомолец в первом часу ночи домой, а уж в три часа вставай, расставайся со своей хотя и жесткой, но теплой постелью. Надо идти сменить товарища в карауле. Фронт близко, а завод делает снаряды.

Фронт близко… Здесь, в Печаткино, это ощутимо. При партячейке организовался отряд ЧОН. В него записались все коммунисты и комсомольцы. Список отряда утверждался на партячейке. Чоновцам выдали оружие: всем — винтовки, а некоторым и револьверы. Оружие хранилось дома, только подросткам не разрешали забирать его из помещения ЧОНа.

За Яшкой был закреплен кавалерийский карабин (он был легче, чем винтовка) и револьвер системы «Смит-Вессон». Револьвер он выпросил сам у начальника отряде, Чугунова; ходил за Чугуновым по пятам до тех пор, пока тот не разозлился и не разрешил. В отряде Яшку зачислили на должность конного ординарца при командире и комиссаре отряда. По этой должности, естественно, полагалась лошадь.

На заводе лошадей было много: они были основным видом транспорта. Конный двор занимал большую территорию на краю поселка. Там стояли и выездные рысаки, служившие еще бывшему начальству. Сейчас на них ездил красный директор завода, Чухалин. Яшка в глубине души рассчитывал получить такого рысака, но дали ему спокойного и добродушного белогубого мерина. Звали его Рыжий.

Эта лошадь имела одну особенность. Когда-то лавочник из села Воскресенье ездил на ней за товарами в губернский город. Одно время на дорогах пошаливали, и лавочник — мужик хитрый — приучил лошадь спасаться. Стоило крикнуть «Рыжий, грабят!», как та срывалась в галоп и неслась сломя голову.

Яшка прежде не имел дела с лошадьми, разве что когда в губернском городе резал им хвосты. Сперва он с некоторым страхом подходил к Рыжему. Рыжий вытягивал навстречу Яшке мягкие белые губы, смотрел умными и преданными глазами; он любил, когда ему перепадало что-нибудь из рук.

У раненых красноармейцев Яшка выменял на махорку настоящий шлем-буденовку. Теперь в островерхом шлеме он проезжал по улицам на своем Рыжем, закинув за спину карабин и придерживая рукой оттопыренный карман, в котором лежал «Смит-Вессон».

В отряде часто проводили тревоги, походы, учения; все это закаляло бойцов. Чоновцы несли караульную и патрульную службу. Фронт был близко…

3. Не пустили…

Как-то пусто стало на заводе. Многие ушли на фронт; иные оставили эти необжитые, полные тяжелых воспоминаний и потому нелюбезные сердцу места и ринулись в путаницу железных дорог. По слухам, доходившим до Печаткино, были где-то в России молочные реки да кисельные берега. Говорили, что в Ташкенте хлебом хоть засыпься, а что касается всяческих круп, так манкой там вроде бы кормят верблюдов. Изголодавшиеся люди верили этим слухам, снимались с мест и ехали, даже не представляя, где он, этот самый Ташкент.

Поредела и партийная ячейка. На фронт не взяли только стариков — Чухалина, Пушкина, Булгакова, да Павел Титович Алешин, как ни рвался туда, остался в Печаткино. Пора было уезжать и Трохову. Хоть недолюбливал его Чухалин, а, думая об отъезде Трохова, беспокоился: кто будет заниматься комсомолом? Но мысль эта появлялась и уходила, уступая место другим заботам, которые волновали изо дня в день: на заводе кончались запасы древесины, из которой делали целлюлозу, на реке сбился сплав, а людей не было, чтобы разобрать лес. Не останавливать же завод!

Что-то надо было предпринимать. Из губкома Чухалину пришла грозная депеша; в ней отмечалось, что завод стал работать хуже, медленнее, снарядов не хватает. Перечитывая последние строчки: «Будете привлечены к партийной ответственности. Данилов», Чухалин грустно усмехнулся: как будто Данилов не знает, что здесь творится. Мог бы и приехать, сам бы тогда увидел…

Данилов приехал неожиданно, и у Чухалина екнуло сердце, когда он увидел секретаря губкома, идущего через двор к заводоуправлению. Тут же он разозлился на себя: «Что, я виноват, что ли, что у меня всего не хватает?»

Но Данилов, войдя в кабинет директора, казалось, и не думал распекать его. Он улыбался, еще с порога протягивая руку, и басил:

— Сто лет не виделись! Ну и отощал ты, Александр Денисыч! Скелет какой-то, только разве что костями не гремишь.

— Гремлю уже, — улыбнулся ему в ответ Чухалин. — Это хорошо, что ты приехал.

С Даниловым он был знаком давно, еще по подпольной работе в Питере, где нынешний секретарь губкома, вернувшись из Женевы, возглавил одну из питерских районных организаций. Данилов всегда нравился Чухалину своей манерой разговора и

обращения с людьми — манерой, которую не любили многие: Данилов никогда не думал над тем, что и как надо сказать, а говорил «с плеча». Тех, кто не очень-то уважал правду, даниловская прямота коробила.

Товарищи рассказывали, что за эту манеру Владимир Ильич, правда за глаза, хвалил Данилова, который учился у него в партийной школе, в Лонжюмо.

Грузный Данилов, казалось, заполнил собой весь небольшой кабинет, мерил его шагами — три до угла и три обратно — и гудел басом:

— А я, брат, уже прошел по заводу, прошел… Можешь не рассказывать, сам все знаю… И что с людьми плохо — знаю, и с хлебом плохо — тоже знаю. Меня рабочие чуть ли не час выспрашивали, как с хлебом.

— Как же с хлебом? — тихо спросил Чухалин.

— Плохо. Совсем паршиво! В Питере рабочие голодают… Кулачье в черноземной полосе, да и у нас тоже все попрятали. В ямах гноят. Ну, да ненадолго. А вот что лес у тебя на реке пропадает, за это бить тебя надо!

Он не дал Чухалину возразить.

— Знаю. Все знаю! Людей нет? А ты «Правду» читал?

— К нам она на пятый день приходит. Что там?

— А ты почитай. Очень полезно…

Данилов вытащил из кармана галифе сложенную во много раз газету, развернул ее на столе, разглаживая сгибы, и на первой странице отчеркнул ногтем нужное место. Чухалин, поправив очки, наклонился.

«Ввиду тяжелого внутреннего и внешнего положения, — читал Чухалин, — для перевеса над классовым врагом коммунисты и сочувствующие вновь должны пришпорить себя и вырвать из своего отдыха еще час работы, то есть увеличить свой рабочий день на час, суммировать его и в субботу сразу отработать 6 часов физическим трудом, дабы произвести немедленную реальную ценность. Считая, что коммунисты не должны щадить своего здоровья и жизни для завоеваний революции — работу производить бесплатно. *Коммунистическую субботу* ввести во всем подрайоне до полной победы над Колчаком».

Это была резолюция коммунистов и сочувствующих подрайона Московско-Казанской железной дороги. Чухалин читал, не вдумываясь в отдельные слова, — он стремился уловить общий смысл заметки. Само событие — коммунистическая суббота — потрясло его. Он чутьем уловил в этом что-то новое, с чем ему еще не приходилось встречаться, и поэтому дочитывал

торопливо, будто Данилов отберет у него сейчас газету.

Когда Чухалин дочитал до конца, Данилов сказал вдруг с необычайным волнением:

— А знаешь, кто на этом субботнике работал? Ленин…

Чухалин молчал. Потом протянул Данилову руку, и тот не понял: благодарит он за что-то, что ли?..

…Час спустя они пришли в клуб и еще в сенях услышали горячие, стремящиеся перекричать друг друга голоса. Чухалин улыбнулся: «Смена кончилась. Комсомол заседает. Зайдем?» Никем не замеченные, они сели на заднюю скамейку.

Скоро Чухалин разобрал, в чем дело: Трохов уезжал на фронт. Выбирали нового секретаря. Поднявшийся с места Кият кричал, что выборы недействительны: не хватает народа. Другие, в том числе и Трохов, кричали в ответ, что не все ли равно.

Данилов, усмехнувшись, тронул Чухалина за рукав:

— Пойдем. Пусть сами разберутся. Потом спросим.

Но через несколько часов, узнав, что комсомольское собрание продолжается, Данилов заторопился: «Видимо, не умеют ребята решать вопросы. Вон сколько времени потеряно! Идем. Поможем».

Сесть уже им было негде, и они пристроились за спинами комсомольцев на краешках табуреток, выставленных в коридор. Через открытую дверь доносились голоса выступавших. Данилов, нагнувшись, спросил шепотом у одного из комсомольцев:

— Выбрали уже?

— Выбрали, — отмахнулся тот, не оборачиваясь: мол, не мешай слушать!

— Кого?

— Да Курбатова… — И тут же закричал срывающимся голосом — Правильна-а-а!..

— Хороший парень? — не унимался Данилов.

Парень зло обернулся на него и ответил:

— Чего хорошего? Только на безрыбье-то и рак рыба.

— Зачем тогда избрали? Лучше не нашлось?

Комсомолец огрызнулся:

— Да дай человека послушать!

Чухалин, услышав о том, что секретарем выбрали Курбатова, тихонько присвистнул и прошептал Данилову на ухо:

— Это тот, который пожар предупредил… Помнишь, я тебе рассказывал! Только молод. Боюсь, подготовки у него никакой.

— Как будто у тебя, директора, высшее хозяйственное образование, — хмыкнул Данилов.

Чухалин, смутившись, отодвинулся. «Ну, теперь парню кисло придется. Тянуть надо…» — подумал он.

А там, в комнате, говорили об одном: об отправке на фронт. Трохова и еще нескольких человек этот разговор не касался: завтра они должны были явиться в город в военный комиссариат. Ребята уже высказались, собрание подходило к концу, и Кият стоя зачитывал: «слушали — постановили».

> «1. **Слушали**: Текущий момент. Прений не было, и так все ясно.
>
> 1. **Постановили**: Считать текущий момент очень острым. Всем комсомольцам работать и действовать так же, как в прошлом году. Бюро ячейки составить план и утвердить на следующем собрании.
>
> 2. **Слушали**: О всероссийской мобилизации комсомольцев на фронт. Докладчик Я. Курбатов. В прениях высказались семнадцать человек, все больше о том, чтобы мобилизовать на фронт не с восемнадцати, а с семнадцати лет. Только представитель партячейки Трохов М. воздержался, сказав: „Слабина вы еще“.
>
> 2. **Постановили**: Довести до сведения губкома РКСМ, что семнадцатилетние комсомольцы могут воевать не хуже восемнадцатилетних и что все они прошли Всевобуч и умеют владеть винтовкой, наступать цепями и ходить в атаку. Поэтому считать мобилизованными из ячейки на фронт всех ребят, кто старше семнадцати лет, кроме Семенова, Иванова, Ксенофонтова, Дробилина и Лукина, как неспособных к военной службе, и Курбатова, как не совсем здорового, хотя он и возражает.
>
> Принято единогласно при двух воздержавшихся».

Кият кончил читать и устало спросил:

— Ну, будут еще мнения?

— Будут, — поднялся Данилов.

Все повернулись к нему. Кият даже приподнялся на цыпочках, чтобы разглядеть, кто это там басит в задних рядах, а Трохов, увидев Данилова, вскочил на сцену, широко разводя руками и улыбаясь.

— Товарищи! — крикнул он. — Ура секретарю губкома партии товарищу Данилову! Ура-а!..

Но закричал это один. Всем как-то сразу стало неловко, ребята зашушукались, а Данилов, пробираясь к сцене, поморщился. Сидевшие поблизости услышали, как он пробурчал:

— Ну и прокукарекал, петух.

Трохов, глядя на Данилова влюбленными глазами, задом слез со сцены и плюхнулся на свое место. А секретарь, насмешливо

покосившись на него, отвернулся.

— Сколько же вы, ребята, заседали сегодня, а? — спросил он, вытаскивая из кармана большие часы. — Ох, как долго заседали! И я должен сказать, что в основном впустую. Секретаря избрали — это нужное дело, а вот с отправкой на фронт… Не пойдет.

— Почему? — вскочил покрасневший Кият.

Ребята шумели, и председатель уже протянул было руку к ступке. Но Данилов продолжал говорить: его бас покрывал все голоса и шумы.

— Но, мне кажется, и ругать вас за потерянное время нельзя. Хороши были бы вы, комсомольцы, если бы поступили иначе. Объявлена всероссийская мобилизация молодежи на фронт; партия туда посылает тысячи коммунистов. И вдруг у партии находится такой «помощник», который говорит: «Война с панской Польшей дело не наше, мы еще малолетние, мы будем за мамкину юбку держаться». Если бы вы сделали так, если бы не обсудили, не вынесли решения о поездке на фронт, то я первый посоветовал бы распустить такую ячейку. Зачем партии такой помощник? Правильно вы сделали! Молодцы! Но вот вашему партийному представителю следовало бы подсказать вам, что к чему. Слышишь, Александр Денисыч? Почему Булгакова нет?

— Он на заводе, — мрачно отозвался Чухалин.

— Ну, я ему это еще сам скажу, — то ли с угрозой, то ли с усмешкой сказал Данилов. — А вам, комсомол, я вот что посоветую. Я даже уверен, что воевать вы бы стали лучше, чем многие. Но на фронт вам сейчас никак ехать нельзя. Здесь работы много.

— Так чего ж делать-то? — с каким-то отчаянием крикнул кто-то из ребят. — Мы всюду растрепали, что поедем!

Данилов сунул руку в карман и вытащил газету. Ребята смотрели на него с тревожным ожиданием. Секретарь губкома, широко улыбнувшись, обвел ребят взглядом и весело спросил:

— А ну, кто тут самый голосистый?.. Читай вслух.

4. Выдержит ли?

Нового секретаря, как и думалось Чухалину, пришлось «тянуть». Его «тянули» уже на втором субботнике, потихоньку, незаметно от других, чтобы на первых же шагах «не подрывать авторитета», как позже, разговаривая с Чухалиным, выразился Пушкин.

Субботники вошли в жизнь завода как нечто обязательное, обыденное, без чего завод не мог существовать. После работы десятские давали сведения о том, сколько сделано. Однажды, сдавая такие сведения, Яшка с азартом сказал Пушкину:

— Смотри, дядя Захар, сколько я сегодня сделал: больше, чем в прошлый раз. Я думаю, еще больше сделаю.

— Кто, говоришь, сделал? — спокойно спросил Пушкин.

Яшка смутился и уже не сказал, а промямлил:

— Я… дядя Захар, я сказал, что вот двадцать две сажени перенесли и напилили.

— Значит, все же «напилили», говоришь? — с насмешкой переспросил Пушкин. — Как же ты это?.. Работали все вместе, а ты вроде бы об одном себе говоришь?.. Вот Чухалин тоже «якать» стал. Я да я! «Мой завод», «я сделал», «у меня на лесной бирже», «мои лошади». Нехорошо как-то получается. Конечно, ответственность у него больше, чем у тебя, и подчиняться мы ему во время работы должны. Но «якать» зачем? У нас все общее. Народ всему хозяин.

Передавая этот разговор Чухалину, он повторил все, что сказал Яшке, и Чухалин рассмеялся:

— И меня воспитываешь. Ох, и хитрый ты, Захар!.. Ну, да верно. Верно!.. Трудно Курбатову еще.

Он не ошибся. Яшке действительно приходилось нелегко. На его плечи вдруг взвалили необычайно большую и незнакомую ему работу. После смены он шел к Булгакову, и тот, сам уставший до предела, учил его. Именно учил, начиная с того, как проводить комсомольское собрание, и кончая разбором ленинской работы «Что делать?». Яшка только до боли стискивал зубы, чтобы не крикнуть: «Я же устал! Разве вы этого не видите?»

Булгаков все видел. Однажды после одного такого занятия он, провожая Яшку до дверей, тихо и ласково спросил:

— Что, парень, нелегкая, выходит, дорога в большевики?

* * *

Да, нелегкая…

Он работал на заводе с каким-то исступлением, забывая обо всем: и о том, что с фронта вернулся раненый в палец Трохов, — всего и провоевал два дня! — и что на танцах в клубе Трохов неизменно вьется около Клавы, и что дома у него хоть шаром покати, и, если Марфа Ильинична не покормит сегодня, ходить ему голодным. Яшка работал нетерпеливо, будто стараясь обогнать самого себя. Как-то мастер Мелентьев поручил ему сложный ремонт большой вращающейся печи. Мелентьев дал Яшке подручного, рассказал, какой надо делать ремонт и где взять запасные детали.

Печь стояла в кислотном отделе. Ремонт был срочный, времени дали мало. Яшка подгонял своего подручного. Часто приходилось выбегать на улицу и дышать свежим воздухом: в цехе стоял едкий пар. Яшка решил не выходить больше на улицу: «Ничего, выдержим, а то времени совсем с гулькин нос».

В горле жгло, глаза покраснели, воспалились. Горькая слюна, остро пахнущая серой, заполняла рот. Закончив ремонт, оба уже не могли слезать с печи. Подручный как-то боком повалился на ее дно, и Яшка, пытаясь помочь ему подняться, почувствовал, как сам теряет сознание. Ребят стащили с печи и вынесли на улицу; оба были в обмороке.

Первым в больнице очнулся Яшка; его начало рвать, да так, что казалось, внутренности готовы вывернуться. Рвота была с кровью. Врачи уверяли, что отравление серьезное, но Яшка наотрез отказался снова лежать в больнице и к вечеру, улучив момент, попросту сбежал.

На следующий день возле проходной уже висел специальный приказ директора завода Чухалина, в котором Яшке и подручному объявлялась благодарность; кроме того, им была выдана премия-по пять фунтов на брата сушеного урюка, который рабочим отпускали в лавке вместо сахара.

Яшка ходил гоголем. Пять фунтов урюка, конечно, на улице не валяются, но благодарность, которую прочли чуть ли не все в поселке, — это посерьезнее. Да и такой ремонт поручался обычно только слесарю шестого разряда.

А потом Яшка «сорвался». Мастер вызвал его и, шевеля густыми бровями, сказал:

— Пойдешь сушильный агрегат ремонтировать. Знаешь, в отжимном отделе.

Он стал медленно объяснять Яшке, где и что надо сделать, Курбатов стоял и слушал его, с нетерпением перекладывая из руки в руку зубило. Наконец он не выдержал:

— Дядя Ваня, да что я, маленький, что ли? Сам знаю…

Всегда доброе лицо мастера стало злым. Мелентьев вспылил:

— Видишь ты, всезнайка какой! Молокосос, индюк надутый! Вот ведь сколько тебе надо: раз поблагодарили — а ты уже и нос задрал. Я давно замечаю, как ты этаким фертом ходишь, а еще, оказывается, и знаешь все. Мне вот скоро пять десятков, а я, старый дурак, до сих пор считаю, что знаю всего ничего… До сих пор, у кого можно, учусь, ко всему приглядываюсь.

Яшка стоял красный. А мастер все еще кипел. Однако тон его был уже другой, более Душевный, поучительный:

— Запомни, павлин мокрохвостый, что я скажу. Вот ты сделал досрочно ремонт печи — завод и не встал на простой. Тебе и благодарность объявили и пять фунтов урюку выдали за старание. А знаешь ли ты, что, прежде чем пустить печь, я сам осмотрел твой ремонт? У двух болтов на фланцах гайки на две нитки отходили. Думаешь, если бы я недоглядел, долго печь работала бы? Да я про это никому не сказал, сам довернул гайки. Тебя пожалел: видел, что стараешься. Выходит, зря я не сказал…

Когда Яшка услышал это, он вспомнил, что гайки завинчивал подручный и работу Яшка не проверил. А ведь он отвечал за ремонт.

Сейчас он стоял, стараясь не смотреть на Мелентьева. «Стыдно, ой как стыдно!» От стыда щеки у него пылали. И урюк, съеденный им, был не в сладость. А верно, он хвастался, Клаву этим урюком угощал. Хвастался перед Титом Титовичем, перед Чухалиным. Но одна Марфа Ильинична вслух похвалила его, остальные только слушали, а старик Алешин — вспомнил Яшка — лишь неопределенно улыбался.

— Давайте, дядя Ваня, рассказывайте о ремонте, — пробормотал он.

Тот усмехнулся, отворачиваясь.

— Нет, Яша, теперь я тебе этого ремонта не дам. Возьми-ка ты керосину да тряпок да промой как следует сушильные цилиндры, чтобы на них никакой ржавчины не было.

Яшка не ожидал этого. Он чувствовал себя уничтоженным окончательно.

— Дядя Ваня… а ведь это… прочистить-то и ученики смогут. Мне три года назад эту работу давали.

— Вот и сделай как следует. А работы ты никакой не бойся. Всякая для человека не зазорна.

Так «тянули» Яшку большевики, рабочие. Горько было ему порой, но он держался. Как-то раз, взглянув на себя в зеркало, увидел Яшка, что губы у него незнакомые, плотно сжатые, с двумя короткими черточками по краям.

Чухалин при встречах говорил с ним обычно как со взрослым,

но Яшка не знал, что в глубине души Александр Денисович тревожится: «Выдержит ли? Тонка еще кишка у парня».

5. На субботнике

Дни были короткие, а вечера длинные, темные. Днем ярко светило солнце. Кое-где на крышах начинало подтаивать; в воздухе уже чувствовался еле уловимый запах весны — трудной весны двадцатого года.

В один из вечеров при ярком свете больших электрических ламп курбатовская «десятка», давно завоевавшая почетное место в числе передовых бригад, работала на субботнике: пилила на лесной бирже бревна. Ребята накатывали бревна на штабеля, подавали под пилу, а чурки укладывали на «козлы»; там девушки снимали кору.

Все шло хорошо. По обыкновению шутили, беззлобно переругивались и, разгибая занемевшие спины, закуривали.

До конца работы оставалось минут пятнадцать. Вдруг загремели бревна, раздался пронзительный девичий крик, и Яшка, вздрогнув, кинулся к штабелю.

На утоптанном грязном снегу сидела Клава, обеими руками обхватив ногу. Скатившееся со штабеля бревно задело ее; и хотя она только вскрикнула, не заплакала, Яшка перепугался: бревно могло переломить ногу, как тростинку.

Ребята помогли Яшке поднять Клаву, но стоять она не могла.

— Как кончите, давайте в столовую, — сказал Яшка, — а я ее до дому провожу. Возьми, Валька, мой талон, похлебку съешь, а хлеб захвати домой, я забегу.

Ребята пошли работать. Яшка остался с Клавой. Он помог ей встать и крепко взял под руку. Клава попробовала было идти, сделала шаг, вскрикнула и опустилась на снег. Яшка не на шутку встревожился:

— Давай-ка держись за мою шею, — нагнулся он к Клаве, — я тебя на закорках попробую.

— Что ты, Яша! — тихо и протестующе подняла руки Клава.

Все-таки она крепко обхватила его шею. Яшка поднял ее и понес. Идти было далеко, не меньше километра. Клава крепко сжимала горло Яшки; тогда он хрипел:

— Не дави на горло. Задушишь.

Клава была тяжелая в своем зимнем тулупчике. Три раза Яшка отдыхал, сажая девушку то на попавшуюся поленницу дров, а то и просто на снежную дорогу. Уже выбившись из сил, он дотащил Клаву до крыльца.

Открыла им Марфа Ильинична. Увидев Яшку с Клавой на спине, она ахнула, отшатнулась и заплакала.

Потом Марфа Ильинична, немного успокоившись, суетилась

около Клавы. Яшка хотел было уйти: может быть, успеет в столовую, а потом надо еще почитать дома «Коммунистический Манифест» — Булгаков будет проверять. Но Марфа Ильинична и слышать не хотела об уходе.

— Да куда тебе идти? Здесь поешь, да и отдохнешь у нас. Вон лицо-то какое, ровно у шкелета.

Яшка взглянул на Клаву и уловил в ее глазах какой-то особенный блеск. Такими глазами Клава еще не смотрела на него. Яшка остался. Он снял спецовку, вымыл на кухне грязные руки, по нескольку раз намыливая их и стряхивая ледяную воду. Когда он вернулся, Марфа Ильинична стаскивала с Клавы валенки. Один валенок валялся на полу, второй старушка снять не могла. Как только она бралась за ногу, Клава бледнела и откидывала назад голову.

— Разрезать, бабушка, валенок нужно, иначе ничего не выйдет. Наверное, нога распухла, — сказал он.

Старуха махнула рукой.

— Давай режь, Яша. Шут с ним, с валенком! Сходи, там на кухне ящик стоит с сапожным инструментом, возьми ножик.

Яшка сходил, принес нож и стал разрезать голенище. Руки дрожали; он краснел и не глядел на Клаву, не понимая, что с ним творится. Бабушка начала снимать с Клавиной ноги чулок, и Яшка отвернулся.

Нога у Клавы сильно распухла и стала багрово-синей. Бабушка, все еще причитая, отжимала тряпку, потом попросила Яшку помочь придвинуть Клаву к столу. Но как придвинешь, если пол крашеный и стулом его поцарапаешь? Яшка, как ребенка, поднял Клаву на руки и перенес к столу.

Поужинали. Яшка хотел было уйти.

— Не уходи, Яша, посиди, — попросила Клава. — Дедушка на работе, папа еще на субботнике. Не уходи, сегодня ведь в ячейке ничего нет. Давай что-нибудь почитаем…

Он молча согласился.

Яшка читал вслух и ничего не понимал. Клава тоже ничего не понимала. Ею владело, видимо, такое же чувство, и она первая остановила чтение.

— Хватит, Яша. Давай лучше посидим, помолчим…

Они были вдвоем в комнате: Марфа Ильинична хлопотала на кухне. Клава закрыла лицо обеими руками и о чем-то думала. Потом она, словно очнувшись, взяла Яшкину руку и тихо пожала ее. Яшка растерялся.

В комнату вошла Марфа Ильинична, и он поспешно вскочил.

— Пойду я, Клава…

— Посиди, — шепнула она. — Тебе недалеко идти, из

крыльца в крыльцо. Хотя нет… Иди ложись спать.

Яшка пришел к себе в барак. Его сосед, Валя Кият, уже спал. Стараясь не шуметь, Яшка разделся и лег на свой топчан. Он лежал и улыбался в темноте. Новое, тревожное и вместе с тем радостное чувство не проходило.

* * *

Нога у Клавы разболелась, ходить она не могла. Яшка каждый вечер прибегал к Алешиным, усталый, измотанный. Из губкома пришла директива подготовить бригаду на сплав. Весна была не за горами.

Всякий раз, навещая Клаву, Яшка все больше и больше убеждался, что теперь в их отношениях появилось что-то особенное. Сейчас он уже не мог не чувствовать какую-то близость Клавы.

Однако они по-прежнему только читали вслух да играли в «подкидного дурака». Яшка не решался сказать Клаве о том, что он чувствовал.

Клаве надоело сидеть дома. Как-то вечером она пожаловалась:

— На воздух хочется, а ходить не могу. На крыльцо и то не выйти.

Она даже вздрогнула, когда Яшка, ни слова не говоря, не одеваясь, выбежал в сени; хлопнула входная дверь.

В бараке, где он жил, стояли финские сани с длинными — полозьями и высоким сиденьем — креслом. Он быстро вытащил сани на улицу и подогнал к дому Алешиных. Яшка раскраснелся, тяжело дышал, но на лице сияла улыбка.

«Чего же я ей на больную ногу дам? Даже дедушкин валенок не влезет, нога толсто увязана», — задумалась Марфа Ильинична. Потом она что-то вспомнила, ушла и вернулась с куском овчины. Вместе с Яшкой она бережно укутала больную ногу Клавы. На руках он вынес Клаву на улицу, усадил в финские сани и встал сзади на длинный полоз.

Они ехали по тихой, безлюдной, темной улице поселка. Небо было звездное; луна разливала свой холодный бледно-голубой свет. Снег скрипел под полозьями, искрился и вспыхивал. Высоко в небе виднелась широкая полоса Млечного Пути.

Стояли последние зимние крепкие морозы. Порою слышалось сухое потрескивание, о котором говорят, что это «морозко грозится» — на холоде трещали деревья.

Долго ехали молча, словно боясь нарушить тишину. Первой

заговорила Клава:

— Красиво, верно? Сейчас бы побежать да в снег… Как это стихотворение про мороз? Помнишь его?

Яша стал тихо декламировать; ему, как и Клаве, не хотелось сейчас громко говорить.

…Метели, снега и туманы
Покорны морозу всегда,
Пойду на моря-океаны —
Построю дворцы изо льда.

Незаметно они очутились на окраине поселка; дальше белело, теряясь в темноте, занесенное снегом болото. Холодный ветер резал щеки и бросал в лицо тучи мелкой снежной пыли. Яшка развернул сани так, чтобы ветер не дул в лицо. Стало теплее. Они простояли несколько минут. Во всем — в этой поземке и самой темноте — была какая-то притягательная сила.

— Наклонись ко мне, — тихо попросила Клава.

Яшка наклонился к ее лицу, и девушка, обхватив его, поцеловала в губы и отвернулась.

Яшка опустился на снег. Он не сразу понял, что произошло. Вдруг он бросился к Клаве, обнял ее и стал быстро говорить, путая слова, почти рыдая:

— Клавочка!.. Родная моя… Теперь я знаю, что это со мной… Всю жизнь!..

Он опомнился.

— Что же дальше-то будет, Клава? — робко и неуверенно спросил он у девушки, и та вдруг засмеялась, щуря глаза от ветра.

— Как что? Да ничего! Мы с тобой долго дружили, а теперь тоже… будем долго дружить… Глупый ты еще, Яшенька!

Пора было ехать обратно: Марфа Ильинична, надо полагать, волновалась. Яшка нехотя повернул сани. Холода он не чувствовал. Самый родной, самый близкий человек сидел перед ним. Он видел только платок да прядь волос, выбившуюся наружу, занесенную снегом, и щекой прижался к этому платку.

— Глупый ты, Яшенька! — снова с ласковым упреком повторила Клава. — Тебе еще семнадцать, а я старше тебя, мне уже восемнадцать. Что дальше? Да ничего! Пускай никто об этом не знает. Ты только не выдавай себя при народе. А то ты на танцах все время сердишься, когда я с другими танцую. Мне даже обидно делается.

Яшка вдруг буркнул, нахмурившись:

— Я сержусь, когда ты с Мишкой Троховым танцуешь. Не люблю я его, трепача. Вояка!.. В палец ранило… Да у нас в ячейке

все говорят, что он себе палец прострелил. Вот только как доказать это. А потом… Смотреть противно, когда он языком себе губы лижет.

— Это в тебе ревность говорит, — засмеялась девушка. — Мне вот кажется — он совсем неплохой парень. И что на продсклад его послали — тоже так надо ведь кому-то и на складе надо работать.

Яшка не сдавался, чувствуя, как раздражается и совсем некстати начинает говорить резко, вот-вот поссорится.

— Ты послушай, как он заливает. На складе мог бы и старик сидеть. Зачем он таким пижоном оделся? На какие шиши фасонистую форму завел? Вон ребята говорят: не иначе как продуктов нахапал.

Злость душила его. Но Клава не оборачивалась и не видела, как у Яшки по лицу пошли темные пятна.

— Зачем же ты так о человеке говоришь? Не знаешь, а говоришь.

— О Мишке все так говорят, — снова буркнул он. — Хочешь, спроси о нем отца.

— Никого я спрашивать не буду. Сама разбираюсь. Мало ли что говорят. Одно время и про тебя говорили «алкоголик», «хулиган». Ну, мы, кажется, приехали?

Они не заметили, как добрались до дома. В окнах горел свет, и тень Тита Титовича двигалась по замерзшему окну. Яшка несколько раз согнул и разогнул онемевшие пальцы, поднял Клаву и понес к дверям.

Простились они сухо, и Яшка ушел с ощущением чего-то неприятного. Что-то было недоговорено, какой-то холодок вдруг прополз между ними; хотя, вспоминая этот вечер во всех подробностях, он не мог разобрать, что же так взволновало его и откуда появился этот холодок.

6. На сплав

Основным сырьем для завода были металл и древесина. Для заготовки древесины у завода были свои лесоразработки. Лес сплавлялся сначала в реку Кубину; на Высоковской запани бревна сбивались в плоты, и два буксирных парохода тянули их через огромное Кубинское озеро в реку Сухону, на которой стоял завод.

Май выдался теплый. Весна была в разгаре, а из-за паводка сплотка древесины в Высоковской запани прекратилась. Заводу угрожала остановка. Весенние паводки никогда не были здесь неожиданностью; их побаивались и готовились заранее. Но когда Чухалину сообщили, что ночью бревнами разбило часть запани, он заволновался не на шутку. Данилов, уезжая, все-таки сказал ему:

— За то, что не в твоих силах, ругать не имеем права. Но если что-нибудь по твоей вине случится, ответишь перед партией. Знаю, трудно все усмотреть, но надо.

Когда Курбатов, вызванный Чухалиным, вошел в кабинет, директор уже подписывал приказ об отправке комсомольской бригады на запань. Бригада комсомольцев готовилась к этой работе уже давно: ребята «для практики» учились разбирать лес на Сухоне.

Страшно было смотреть, как какой-нибудь лихач, стоя на крутящемся бревне, орудовал багром, подгоняя другие бревна. Ледяные ванны не останавливали ребят, а случалось, в воду летели многие.

Не поднимая головы, Чухалин отрывисто спросил:

— Кого бригадиром?

— Меня, — удивленно пожал плечами Яшка.

— А посерьезнее? — строго вскинул на него глаза Чухалин.

— Чего ж посерьезнее? — обиделся Курбатов, — Что, я работать не умею, что ли?

Чухалин качнул головой и крякнул:

— Эк герой! А здесь за тебя дядя работать будет? Нет у тебя такого подходящего дяди. Так что проводить — проводи, но дальше пристани не пущу. Бригадиром, я думаю, назначим…

— Кията, — не дал ему договорить Яшка.

Наутро Яшка стоял на пристани и с грустью смотрел, как ребята поднимаются по шатким мосткам, раскачиваясь и широко разводя руки. Жаль было расставаться с Клавой, Киятом, но на пристани стояла обычная предотъездная сутолока, и никто не замечал Яшкиного настроения. Только Клава угадала его состояние.

— Яшенька, ты что? Мы же скоро… Да и ты, наверное, выберешься.

— Я не о том!.. — махнул он рукой. — Ты береги себя… Осторожней на сплотке.

Клава рассмеялась и, спохватившись, быстро пожала Яшкину руку. Буксирчик, сипло прогудев, шлепнул плицами по воде, и вода вспенилась, будто закипела. Ребята стояли вдоль борта, облепили рубку, что-то кричали. На корме, чуть в стороне от остальных, сидел на канатной бухте Валя Кият, но смотрел он не на берег, а куда-то в сторону.

Впервые за все время они разговорились этой ночью, накануне отъезда. Яшка спросил его:

— Где у тебя семья? Кто есть у тебя?

Кият промолчал, и Яшка смутился: молчание стало томительным.

— Не знаю, — наконец отозвался тот. — Отец погиб… при взрыве.

— Да, да, — поспешно, далее, пожалуй, чересчур поспешно перебил его Яшка, — ведь и у меня мать.

— Ну, а где мои остальные, не знаю. Где-то Там, в Эстонии.

Они просидели до утра на одной кровати, и — странная вещь! — Яшка, сам того не замечая, рассказал Кияту все, начиная с того, как его били в полицейском участке и кончая темным заснеженным полем, возле которого как-то ночью стоял рядом с Клавой. Он и сам не мог понять, почему вдруг так разоткровенничался, но утром, провожая ребят, почувствовал, что ему жаль расставаться с этим парнем.

Долго были видны все уменьшавшиеся фигурки ребят, и среди них выделялась белая, словно седая, голова Вали Кията, все так же неподвижно сидевшего на корме.

7. Лобзик

Кто-то тронул Яшку за рукав. Позади него стоял ученик из варочного отдела, худенький, большеглазый Лобзик.

— Идем? Нам сегодня днем дежурить.

Они шли рядом, и Лобзик без умолку тараторил, что это безобразие — назначать комсомольцев дежурить по ЧОНу днем и что надо обязательно пойти к чекисту Громову или начальнику ЧОНа Чугунову: пусть переводит на ночные дежурства. А то какое это дежурство, ходи себе да поплевывай по сторонам.

Курбатову Лобзик нравился. Казалось, у него не было ничего, кроме огромных черных глаз да удивительной способности говорить без остановки хоть все двадцать четыре часа в сутки. Ребята смеялись на ним: «Лобзик, а тебя как заводят?»

Никто не знал, откуда он появился здесь, на заводе, где он жил до этого, что делал, где его родители.

Лобзик то забегал вперед Яшки и, отчаянно жестикулируя, доказывал, что с этим безобразием пора кончать, то шел позади и спрашивал:

— Так ты пойдешь к Чугунову? Нет? Тогда я сам пойду, и я…

— Да остановись ты, — взмолился Яшка. — Голова разболелась.

— А я не могу, — выкатывая и без того огромные глаза, серьезно ответил он, — У меня там, — он ткнул себя в горло, — какая-то дрянь сидит, понимаешь? И говорить охота, будто прыщ какой чешется. Так пойдешь к Чугунову?

Яшка вспомнил, как он сам ходил хвостом за Чугуновым, вымаливая у него «Смит-Вессон», и, рассмеявшись, хлопнул Лобзика по спине.

— Ладно, идем. Ну и костлявый же ты! Всю руку о твои кости исколол.

— Девчонкам нравится, — хмыкнул Лобзик.

— Что? — Яшка от удивления и неожиданности спросил, заикаясь. — К-как ты… г-говоришь?

— Нравится, говорю. Гляди.

Он оглянулся, нет ли кругом людей, и, вытащив из штанов рубаху, задрал ее до подбородка. На вдавленном куда-то под ребра животе была вытатуирована большая синяя змея, несущая в зубах обнаженную женщину. Лобзик пошевелил мускулами, и змея тоже зашевелилась, зашевелилась и женщина, развела руки, словно моля о пощаде.

— Видал? Я как девчатам покажу — визжат от страха. А нравится…

Так нелеп был этот переход от чоновских дел к татуировке, что Яшка, потрясенный, даже забыл спросить, откуда у него этот рисунок. Лобзик уже засовывал рубашку в штаны, довольно улыбаясь.

— Во всем мире три такие штуки. Одна у малайского пирата, другая у меня, а третья… у одного человека.

— Какого человека?

— Так… — уклончиво ответил Лобзик, поняв, что сболтнул лишку. — Был знакомый… Ну, так, значит, к Чугунову?

— Ты ему покажи это, — полушутя, полусерьезно посоветовал Яшка. — Может, за такую диковинку он тебя в специальный чоновский музей отправит. Я слышал: есть уже такой в Москве.

Лобзик метнул в Яшкину сторону недоверчивый, испуганный взгляд.

— Слушай, Курбатов, будь друг, не говори в ЧОНе об этом… Громову не говори, а? Не скажешь, а?

Яшка насторожился. Видимо, Лобзик в своем хвастовстве зашел дальше, чем хотел, и теперь струсил.

Яшка спросил как можно равнодушнее:

— Что же у тебя за тайна такая? Девчонки, говоришь, видели, а Громову нельзя? Подумаешь, змея с теткой…

— Не говори, — взмолился Лобзик, — Я лучше тебе скажу, если слово дашь. Ну, комсомольское?

— Ну, комсомольское, — все еще стараясь казаться равнодушным, повторил Яшка.

— Я ведь по тюрьмам шлялся… И кончил, шабаш… Мне в Бутырках печенки отбили… Я Дзержинскому письмо написал. Судили виновных. А потом, знаешь, Дзержинский в больницу приходил. Говорит — в колонию, а я собрал барахлишко свое и рванул когти… сюда.

Яшка не заметил, что шли они медленно и что так случайно начавшийся разговор вдруг стал напоминать тот, вчерашний, ночной, который Яшка вел с Киятом.

— Боюсь я все-таки Чека, — со вздохом признался Лобзик. — Так что не говори, Курбатов, а?

Яшка неожиданно обнял его одной рукой за острое, выпирающее, худое плечо и то ли с удивлением, то ли вопросительно сказал:

— А ведь ты вроде ничего парень, Лобзик!

Чугунов был в помещении ЧОНа. Он сидел за столом, грузный, злой, небритый, будто невыспавшийся, и, постукивая по выскобленным доскам своим кулачищем, читал какую-то бумажку. Яшка заметил, что, когда они вошли, Чугунов поспешно

спрятал ее в карман.

— А-а, орленки. Чего вам? Уже на дежурство? Отменяется.

— Почему?

— В ночь будете дежурить. Приказ пришел. И вот что, ребятки, садитесь-ка… Дело тут такое… Ну, прямо скажем, плохое получается дело. В городе застукали одну группку; они и раскололись — рассказали на допросе в Чека, что подготовлен поджог у нас на заводе. Поняли? Днем-то, на людях, не подпалить, а вот ночью будем высылать усиленные наряды. Когда у вас смена?

Яшка ответил, и Чугунов кивнул.

— Ну, вот и валяйте. Отработаете, сосните минуток так полтораста — и сюда.

Когда они вышли от Чугунова, Лобзик рассмеялся.

— Чего ты?

— Да ничего. Весело все получается. Ты разбудишь меня по пути, а?

Яшка, шагай впереди, не ответил. Уже у самых заводских ворот он, будто вспомнив что-то, обернулся.

— Вот что… После смены ко мне пойдем. Кият уехал, ложись на кровать. Барахлишко только захвати — одеяло там, подушку…

Лобзик как-то странно сверкнул на Яшку своими черными, как антрацит, глазами и улыбнулся.

— Значит, корешки?

— Какие еще «корешки»? — буркнул, не поняв, Курбатов. — Говори уж со мной по-русскому.

— Ну, дружки, значит? Гроб, могила, три креста…

Яшка оборвал его:

— Забудь ты эти свои штучки, Лобзик, могилы там или эти… когти. И о тюрьме у нас с тобой разговора не было. Точка.

Уже входя в цех, он подумал: «Что это он со мной так разболтался? Молчал, молчал — и нате вам». И тут же ответил сам себе: «А ты? Все Кияту выложил… Душа, что ли, требует?»

8. Пожар снова Генка!

Как хорошо ни охранялись заводские помещения, а все-таки однажды ночью весь поселок был поднят по тревоге. Горели склады готовой целлюлозы. Подожгли их умело — изнутри, и чоновцы увидели пожар только тогда, когда огонь начал выбиваться наружу, лизать крыши. Спасти целлюлозу было уже немыслимо; единственное, что оставалось делать, — это гасить пламя, чтобы оно не перекинулось на другие заводские постройки.

Примчавшийся Чугунов, отчаянно ругаясь, орал чоновцам:

— Да что вы стоите? Оцеплять поселок!.. Поселок оцеплять, говорю! Чтоб мышь не пролезла. Головой отвечаете. Без вас здесь потушат. Ну!

Яшка исполнил приказание нехотя: черт его знает, хватит ли народа, чтобы погасить огонь! Возле последних домов он остановился, тяжело дыша, и обернулся: там, в стороне складов, пламя становилось все ярче. Лобзик, бежавший рядом, тянул его:

— Идем, идем… Эх, поймать бы!.. На месте бы грохнул!

Они подбежали к болоту, за которым начинался низенький редкий перелесок. Прыгая с кочки на кочку, Яшка первый перебрался через болото и упал в кусты, выбрав место посуше. Лобзик плюхнулся неподалеку; очевидно, он попал в воду, — оттуда донеслась отчаянная ругань.

Неожиданно вокруг стало тихо. Не слышны были людские голоса; где-то в перелеске ухнул пару раз филин и замолк. Яшка лежал, вглядываясь в темноту, и ему казалось, что всюду — и за кочками и за кустами — ползут поджигатели. Но все было тихо, и только с булькающим звуком поднимался со дна болота и выходил, раздвигая густую воду, газ.

Яшку начало знобить. Он тихо окликнул соседа.

— Я пройду по той стороне. Скоро вернусь.

Но, поднявшись, он увидел, как в стороне завода вдруг широким снопом рванулось вверх ослепительное оранжевое пламя…

От горящих складов огонь перекинулся на поселок. Горела вся заречная, сплошь деревянная, часть. Пожары возникали сразу то на одной, то на другой улице.

Зрелище было грандиозным и зловещим. Огромные клубы едкого дыма поднимались и пропадали в высоте или вдруг, прибитые ветром, стлались по земле. Снопы искр, головни, целые горящие бревна взлетали кверху. С треском лопались оконные стекла; как выстрелы, рвалось разгорающееся сухое дерево. От

сильной жары трудно было дышать; из уцелевших домов люди выбрасывали скарб и перетаскивали его подальше от огня. Страшные, разлохмаченные, воющие женщины с плачущими детьми метались от одного дома к другому. Начиналась паника.

Но здесь, вдали от пожара, Яшка не видел и не слышал ничего. Он медленно шел вдоль болота, всматриваясь в густую темноту.

Внезапно ему показалось, что возле одного из крайних домов поселка мелькнула тень, и он присел, боясь пошевелиться. Он не ошибся. Из калитки, крадучись, прижимаясь к забору, выбежал человек, и сразу Яшка увидел огонь, лизнувший бревенчатую стену дома. Человек нырнул в соседнюю калитку. Вскинув винтовку, Яшка бросился за поджигателем, быстро вбежал во двор и увидел, как тот, присев на корточки, чиркает возле стены спичкой.

— Стой, сука!.. Убью!

Поджигатель метнулся к высокому забору. Он с разбегу ухватился за его зубья и закинул ногу. Но Яшка уже подскочил к нему и, не соображая, что делает, ударил поджигателя винтовкой. Тот, вскрикнув, упал, и, пытаясь подняться, послушно поднял руки.

На Яшку глядело перекошенное злобой знакомое лицо. Бандит, взглянув на Яшку, вдруг усмехнулся.

— А, чумазый. Вот ты какой стал? Что, завоевания революции защищаешь?

Яшка вздрогнул. Генка с Екатерининской, сын пристава! На брюхе заставляли ползать… грязь жрать.

Эта картина из детства, уже, казалось, забытая, промелькнула перед Яшкой с отчетливостью почти фотографической. Ну да, это он, Генка!

— А ну, ложись, стерва! — крикнул он Генке каким-то не своим голосом. — Ложись, говорю!

Яшка щелкнул затвором. Наглая усмешка Генки сразу сменилась каким-то раскисшим, гадливым выражением. Яшка орал, не помня себя:

— Ешь землю! Ешь, гадюка! — Дуло винтовки уперлось в Генкину спину.

— Да я… Да что ты?

— Ешь, гад! Ешь! В последний раз говорю, стрелять буду! — захлебываясь от злобы, орал Курбатов.

Действительно, лицо у Яшки перекосилось; в бешенстве он был готов на все и еле сдерживался, чтобы не выстрелить.

Генка губами ткнулся в жидкую грязь двора, пахнущую помоями и навозом. Яшка скомандовал: «Ползи!» — и Генка

пополз.

Яшка не слышал, когда его окликнул начальник пробегавшего мимо патруля. Он все еще орал: «Ешь!.. Ползи!.. Ешь!.. Ползи!..» Первым патрульных увидел Генка. Он теперь был согласен на что угодно, лишь бы скорей вырваться из рук озверевшего Курбатова.

— Спасите! — крикнул Генка.

* * *

Когда Генку привели к Чугунову, черному от копоти, с опаленными волосами, и подробно рассказали обо всем, Чугунов только коротко бросил ему:

— Ну?..

Но Генка уже пришел в себя. Осмелевшим, плаксивым голосом он закричал:

— Я официально… требую записать в протокол допроса, как вот этот чум… этот товарищ…

Яшка оборвал его:

— Зверь и тот к тебе в товарищи не пойдет. Сука ты продажная!

Подскочив к Генке, он с силой ударил его кулаком по скуле, и тот сразу осел на пол. Чугунов схватил Яшку за плечо жесткими, как клещи, пальцами:

— Прочь! Белогвардейщину разводить вздумал? Не ты судья, а трибунал…

Генка пошел к двери, все еще держась за скулу. Шел он боком, пугливо косясь на Курбатова.

9. Злая Сухона

Во время пожара умерла Марфа Ильинична, Клавина бабушка. Хотя горел и не алешинский дом, старуха бросилась помогать соседям и не добежала — остановилось сердце. Она сделала еще несколько шагов, подняв руки к сухой, желтой, морщинистой шее, а потом рухнула на дороге, приложившись щекой к земле, будто прислушиваясь к топоту сотен людей…

О пожаре еще ничего не знали на запани. Не знали и о том, что погибло более двадцати человек. Кому-то надо было ехать на запань, и Курбатов заявил Чухалину:

— Поеду я. Ребята здесь справятся…

Это был первый и необдуманный порыв; хотя Чухалин, которому сейчас было не до Яшки, и махнул рукой — ладно, езжай! — Яшка, выйдя на улицу, разозлился: «От трудного уходишь… Дурак. Лобзик поедет». И пошел будить Лобзика, который только утром вылез из болота, продрогший и голодный, и сейчас отсыпался на кровати Вали Кията.

Растолкать его оказалось делом нелегким. Лобзик брыкался, отмахивался обеими руками и бормотал своей обычной скороговоркой, не открывая глаза:

— Да иди ты к лешему… Хорошему человеку поспать не дают… Ей-богу, сейчас драться начну.

Наконец он сел, с трудом раздирая слипающиеся, тяжелые веки.

Яшка коротко рассказал ему, что нужно сделать на запани. Главное — ничего не говорить сразу, подготовить ребят: у некоторых погибли родители.

— Клаве тоже поначалу ничего не говори… Понял? Так, походи вокруг, поболтай, о чем хочешь… Любила она старуху-то. И, как лес разберут, — часу не сидите, приезжайте на плотах.

Лобзик, уже совсем очнувшись, зябко ежился, обхватывая руками острые, костлявые плечи и, зевая, повторял:

— Это я-асно…

Яшка, провожая его до проходной завода (буксир «Богатырь» стоял сейчас у заводского причала), думал — послать ли ему с Лобзиком записку Клаве, но решил, что лучше не посылать: правду писать нельзя, а веселого все равно ничего не напишешь. Тронув Лобзика за рукав, он только попросил:

— Клаве привет передашь. Понял?

— Ясно, — снова протянул Лобзик, — Ждет, скажу, и страдает…

Яшка вспыхнул.

— Не говори ерунду. Что ж, парень с девушкой дружить не может?

Лобзик приехал на запань в конце дня. Здесь, вдали от чадного завода, пахнущих гарью улиц, дышалось легче, хотя ехал Лобзик и неохотно: все комсомольцы были мобилизованы на работы в поселке.

Проходя мимо домов, выстроившихся над запанью на высоком юру, Лобзик увидел большой плакат, написанный красным и синим карандашами.

Товарищи рабочие запани!

Сегодня в 6 часов вечера кружками комсомольской ячейки завода имени Свердлова будет дан большой концерт.

ПРОГРАММА

1. Драматическое представление «О лодыре, дезертире и белом гаде адмирале Колчаке».

2. Спортивные выступления и пирамиды.

3. Разнообразный дивертисмент на местные темы.

Концерт состоится на лугу у конторы.

Просьба не опаздывать.

Прежде чем идти дальше, Лобзик прислушался; издали донеслись смех, хлопки, и он, стараясь казаться беззаботным, пошел туда. Сначала он увидел людей, сидящих полукругом прямо на траве, а потом помост, на котором ребята двигались и что-то говорили, очевидно — смешное, потому что смех не затихал.

Помост — сцена на лугу была построена самими ребятами. Декораций не было. Когда Лобзик подошел и, никем не замеченный, сел позади всех, спектакль «О лодыре, дезертире и белом гаде адмирале Колчаке» уже подходил к концу.

В пьесе рассказывалось о том, как лодырь не хотел работать на Советскую власть, как дезертир не хотел воевать за Советы, но пришел белый адмирал Колчак и заставил несознательного лодыря работать на него по двадцать часов в сутки, а дезертира — воевать против Красной Армии.

Лобзик похлопал ребятам вместе со всеми и, нетерпеливо

вертясь, ждал, когда же кончится этот, совсем некстати затеянный, концерт. Но ждать ему пришлось долго: сразу после пьесы начались спортивные выступления.

Рабочие запани видели спортсменов впервые. Когда на сцене появились ребята в трусиках и девчата в шароварах, послышались возгласы:

— У, срамники бесстыжие, беспортошные!

— А глянь-ко! Да это девки! Чисто светопреставление! Смотри, и они в портках!

— Ой, ой! Что делают-то? Верхом на ребятах ездят!

Девушки краснели, но программа спортивных выступлений была проведена до конца.

Устькубинским мужикам и парням — сезонным рабочим — все это, видимо, понравилось; зато женщины плевались:

— Ну и бесстыжие, вырядились в мужиков-то!

Но струнные инструменты, баян и песни понравились всем. А ребят, певших частушки, долго не хотели отпускать со сцены, кричали: «Еще! Еще давай!» — и хлопали так оглушительно, что Лобзик и в самом деле разогнал на лбу морщины.

Частушки пели двое девчат и два парня, одетые и загримированные под деревенских. Пели под баян, сопровождая каждую частушку пляской:

Посмотрите на Ефима,
Весь оброс, одна щетина.
Как работать, так в кусты —
Без меня собьют плоты.

Все оборачивались на Ефима из Каромы, смеясь и указывая на него пальцами. Ефим, не зная, что ему делать, начинал тихо и яростно ругаться. А ребята пели уже о другом сплавщике, дяде Павле:

Дядя Павел, дядя Павел
Всех нас нынче позабавил:
Влез он в воду по колено,
Сплавил ровно три полена!

— Смотри-ко-ся! — надрывался кто-то от смеха. — И дяде Павлу попало! Ох, и ребята приехали!

Общим одобрением были встречены частушки о начальнике и десятниках запани; хотя фамилии и не назывались, но все поняли, о ком шла речь:

И всего-то по осьмушке
Надо с каждого украсть,
Но зато такому типу
Можно жить и кушать всласть.

Как с рабочим — матерится
Наш начальничек лихой,
А с начальством в обращенье
Как ягненочек тихой!

И опять кто-то надрывался от смеха, опять люди хлопали, довольные: до сих пор начальника все боялись.

— Поди-ко, приехали городские-то! Как начальника нашего продернули! И правильно! Откуда они только все и знают? Видишь, молодые, а дошлые.

— А чего им бояться-то? — обиженно сказал, ни к кому не обращаясь, сосед Лобзика. — Небось сегодня уезжают. Я б им показал кузькину мать, если б еще денек здесь проторчали…

Лобзик, покосившись на него, не сдержался и фыркнул. Сосед повернулся.

— А ты чего смеешься-то, нехристь, комсомол сопливый?..

Он толкнул Лобзика в грудь, и тот мягко покатился на траву. Кругом них уже шумели, а сосед, поднявшись, крикнул:

— Будет зубы скалить. Давай работать, не то…

Ребята только теперь увидели Лобзика.

— Ты? Как ты сюда попал?

— Работать приехал.

Клава Алешина, пробившись сквозь толпу, расхохоталась первая:

— Работать? А мы уже все сделали. За три дня все бревна разобрали! Ну и работничек нагрянул!..

Они смеялись; смеялся и Лобзик, глазами отыскивая в толпе Валю Кията, нашел его и, подойдя, кивнул: айда, поговорить надо. Кият, услышав о случившемся, заторопился…

— Никому не говори… Сам скажу, когда обратно поедем. Вот сейчас плот возьмут на буксир — и поедем.

…Ребята слушали его мрачные, насупившиеся. Когда Лобзик, почему-то волнуясь, добавил, что одного поджигателя удалось схватить Курбатову, он невольно поглядел на Клаву. Та заметила этот взгляд и равнодушно отвернулась.

В обратный путь шли на плотах: снова на пароходе плыть не хотелось. На каждом плоту из веток были построены шалаши. Дни стояли погожие, жаркие; паводок спал, и ребята купались

прямо с плотов. Но, когда буксир вышел на середину озера, подул свежий ветер, поднявший волну. Скоро на гребнях волн показались белые барашки, и плоты скрипели, жалобно стонали, потрескивали. Могучие бревна — хлысты — то вздымались на волнах, то проваливались. С трудом удавалось ходить по плотам, и казалось, что они вот-вот расползутся, рассыплются по бревнышку и все живое пойдет ко дну. В рупор капитан кричал с буксира, чтобы ребята приготовились. Ему ответили смехом…

Но и при такой волне «Богатырь» с плотами благополучно достиг верховьев Сухоны. Здесь река была быстрее, чем в среднем течении. В этом месте и хорошему пловцу трудно переплыть реку с одного берега на другой. Переплыть по прямой вообще невозможно: пловцов вода сносила чуть ли не на полкилометра.

Буксировка шла по течению. Вокруг плотов кипела вода, бревна зарывались в воду, и белая пена клочьями летела по ветру. Хотя на «Богатыре» дали полный ход, буксирный канат то и дело ослабевал: казалось, что плоты догоняли буксир, а тот удирал от них.

Клава босиком шла по краю плота, по мокрым бревнам. Никто не услышал ее вскрика, но все увидели поднятые руки и мелькнувшее на какую-то секунду, искаженное ужасом лицо. Плавать она не умела. На плоту все оцепенели. Снова мелькнула ее голова, высоко поднятая рука, и девушка пропала в кипящей воде.

Лобзик был в центре плота; он не видел, когда упала Клава, и только сейчас заметил ее голову и руки, поднятые над водой. Коротким, неожиданно сильным прыжком он перенес свое худое, почти невесомое тело к крайним бревнам и как-то боком, снова подпрыгнув, упал в реку.

Он успел сообразить, что Клаву снесет течением, и прыгнул впереди того места, где она показалась. Нырял он всегда с открытыми глазами и свободно видел под водой. Вот и сейчас, немного позади себя, в мутно-желтой пене он увидел плывущую вниз по течению тень. На быстрине реки она не могла сразу опуститься на дно. Лобзик, нагнувшись змеей, повернулся и схватил Клаву одной рукой, другой отчаянно выгребая наверх. Приподняв над водой голову Клавы, он прямо перед собой увидел проходящие бревна и вцепился в проволочный канат. Десятки рук уже тянулись к нему…

Девушки плакали. Лобзик осторожно вынес Клаву на середину плота, к шалашу. Оказалось, что он знает правила спасения утопающих; расстегнул пуговки лифчика и дрожащими от напряжения руками взял ее руки…

Клава не дышала, глаза были закрыты. Минут через десять

раздался слабый стон, у нее вздрогнули ресницы. Тогда Лобзик кивнул девчатам — давайте, делайте дальше — и отошел, вытаскивая из кармана промокший кисет…

…Когда Клаву, снова потерявшую сознание, вынесли на берег, Яшка бросился к ней.

— Жива, жива! — схватил его Кият. — Да очнись ты, а то тебя откачивать придется. Вот его благодари, он спас.

Лобзик стоял в стороне, скаля свои изумительно ровные белые зубы. Яшка, чувствуя, как ему не хватает воздуха, сделал несколько шагов к Лобзику, и, схватив его за плечи, через силу пробормотал:

— Я… тебе… никогда…

— Ну вот еще!.. — вырвался Лобзик. — Еще целоваться полезешь.

— Всю жизнь… Лобзик… — снова выдохнул Яшка.

— Меня, между прочим, Володькой зовут, — равнодушно ответил он, скрывая за равнодушием свое волнение. Вдруг он повернулся к ребятам и крикнул:

— А ведь и напьюсь я на кубатовской свадьбе, ей-богу, напьюсь, ребята.

Яшка, ничего не слыша, подошел к Клаве и, нагнувшись, легко поднял ее — тоненькую, словно не живую, — но она жила; Яшка видел, как у нее на виске бьется еле заметная голубая жилка.

10. Продотряд идет за хлебом

Долго пробыть в Печаткино Яшке не удалось. Начальник ЧОНа Чугунов получил от Громова из ЧК приказ — поднимать чоновцев и идти через Сухой дол в Тотемский уезд. Что такое продотряд, уже было известно: прошлой зимой продотряд из рабочих завода уже ходил в деревню. Сейчас Чугунову тоже приказали идти — за хлебом, а заодно прочесать по пути несколько деревень. Задержанный Курбатовым поджигатель признался на допросе, что остальные прячутся сейчас там.

Прежде чем уехать, Яшка забежал к Алешиным. Клаве рассказали о Марфе Ильиничне, и она плакала. Алешин, как мог, утешал ее:

— Плачь, плачь, дочка… Этого уже не поправишь… Со смертью мы бороться не в силах…

Слезы облегчили. Увидев Курбатова, Клава уже с улыбкой потянулась к нему, но заметила «Смит-Вессон» в кобуре и карабин и удивленно спросила:

— Куда ты?

— Надо, Клава…

— Всегда «надо»… — она снова всхлипнула.

Так неровен был этот переход от одного состояния к другому, что девушка снова заплакала, уткнув голову в плечо отца, и тот, обернувшись, кивнул Яшке: иди. Не хотелось ему идти, не хотелось уезжать из Печаткино, но Рыжий уже фыркал возле забора, стремясь дотянуться большими желтыми зубами до березовой ветки.

Чоновцы собирались возле клуба, и Яшка, не оборачиваясь на алешинский дом, направил Рыжего туда.

Начальником продотряда, отправлявшегося в дальний Тотемский уезд, был назначен Чугунов, а комиссаром — коммунист Рыбин, недавно присланный из города, боевой комиссар Красной Армии, весь израненный и демобилизованный по непригодности к дальнейшей службе.

В отряде было сорок человек: бойцы-чоновцы и беспартийные рабочие. Курбатова зачислили в отряд на ту же должность, в которой он числился в ЧОНе, — конным ординарцем. Между Чухалиным и Чугуновым по этому поводу была короткая перепалка, о которой никто не знал: Чухалин не хотел отпускать комсомольского секретаря, а Чугунов, грохнув своим кулаком по столу, гаркнул на директора:

— Грош ему тогда цена, секретарю! А кого прикажешь взять? Этого Трохова, что ли?

Тотемский уезд, куда шел продотряд, был глухой, но богатый хлебом. Летом по Сухоне и Северной Двине можно было доехать до уездного города Тотьмы на пароходе, но Чугунов решил все-таки пройти двести верст на лошадях и обшарить по дороге суходольские деревни: может, и не соврал поджигатель, которого Курбатов землей накормил…

Но двести верст!..

Чугунов, приподнимаясь в стременах, пропускал мимо себя бойцов, пустые телеги и хмурился: с таким обозом намучаешься. Крестьяне и так-то насторожены, бедноту кулачье запугало, про художества мироедов узнаешь разве только случайно. «„Понятна задача“, — мысленно передразнивал Чугунов Громова, — А чего понимать-то? Не только отобрать излишки, но и постараться вырвать бедняка из-под кулацкого влияния… А как его вырвешь, если бедняк с кулаком изба в избу живет, а ты приедешь и уедешь…»

По разбитым, местами заросшим густой травой, дорогам, с полуразвалившимися мостами и настилами, по хворостинным гатям отряд шел четыре дня, а прошли всего ничего.

Но в лесу, на лесных дорогах все-таки было хорошо, а главное — было время подумать обо всем; и Яшка вдруг начинал волноваться, что забыл составить график занятий по политграмоте, не предупредил Кията, чтобы тот обязательно отослал протоколы последних собраний в губкомол…

Чугунов, заметив, что Яшка нервничает, спросил:

— Ты чего? Седло неудобное?

Курбатов высказал ему все, что его волновало, и Чугунов вдруг разозлился:

— Все хочешь сам делать? Думаешь, ты один в комсомоле такой умный? И без тебя обойдутся, не бойся… Ты, брат, чего-то на Чухалина стал смахивать; тот тоже все сам да сам. Пуп земли!

Яшка промолчал. Чугунов ехал рядом с ним и тоже долго молчал, покачиваясь в такт хода лошади. Потом он сказал:

— Как думаешь, если б партией или страной один человек управлял, — что бы было?

Он не дождался Яшкиного ответа и, хлестнув коня, вырвался вперед, крикнув уже через плечо:

— Плохо было бы! Так и у тебя тоже…

Курбатов зло посмотрел на его широкую спину:

«Опять учат».

Но тут же злость прошла; расступились деревья, и мелькнули серые бока изб, соломенные крыши: деревеньки обычно стояли вдоль дорог, и эта была третьей на четырехдневном пути отряда.

Уже смеркалось, и Чугунов, сверившись по карте, чертыхался:

то весь день едешь — ни одной живой души нет, а тут пять деревень одна на другой рядышком налеплены. Он кивнул Рыбину:

— Поезжай с Курбатовым в соседнюю деревню, пошукайте, что там. Если задержитесь — ночуйте, мы утром подойдем.

Рыбин попросил еще одного бойца, и Чугунов усмехнулся:

— Вдвоем страшновато? Ничего, места здесь тихие, до Сухого Дола еще портки протрешь.

Но бойца все-таки дал.

До соседней деревни было километра два, не больше. Но бойцы ехали тихо; стемнело, когда они добрались до нее.

Где-то на болотах, охватывающих полукольцом деревню, пронзительно и дико вскрикивала какая-то птица, и Яшка чувствовал, как откуда-то из-под корней волос вниз по хребту бежали колючие мурашки.

— Выпь орет, — спокойно заметил Рыбин. — Цапля такая…

Идти по деревне было сейчас бессмысленно: люди спали. Рыбин, спешившись, постучал ручкой хлыста в первую же избу, и продотрядники долго ждали, пока там, за стеной, не зашаркали короткие стариковские шаги.

Коней поставили в хлеву. Курбатов, валящийся с ног от усталости, не стал дожидаться, пока дед — хозяин избы — задует самовар, и, раздевшись, полез на русскую печь, занимавшую пол-избы. Ночи в этих местах прохладные, и Яшка продрог в одной рубашке и гимнастерке; здесь, на печи, в кирпичах еще хранилось тепло, и он, пригревшись, уснул.

Сквозь сон он слышал неясные голоса и крики, но долго не мог поднять тяжелые, словно набухшие, веки. Однако, когда что-то глухо упало на пол, Яшка повернулся, подполз к печной трубе и заглянул из-за нее в комнату. Он словно окаменел и перестал дышать, боясь выдать свое присутствие.

В тускло горящем свете керосиновой лампы он увидел, что боец отряда лежит на полу, связанный, окровавленный, с тряпкой во рту. Комиссар стоял неподалеку, тоже связанный и голый до пояса. Все лицо у него было в крови. Четверо людей сидели на лавке у стола, а один — высокий, тощий — водил ножом по груди Рыбина.

Яшка вздрогнул: что-то знакомое и страшное было в лице этого человека. Он напряг память, и его словно ошпарило кипятком: «Сова… полковник… поджог»… Оцепенение сразу прошло. Он не взял с собой оружие, когда ложился спать, и сейчас лихорадочно соображал, что же делать.

Лаз на печь был рядом с дверями, выходящими в сени. Тихо освободился Яшка из-под горячего тулупа, в одной рубашке и

трусиках сполз под полати, в густую и мрачную темень. Потом попробовал бесшумно открыть дверь, но она не подалась. Он налег на нее плечом, и дверь, скрипнув, открылась. Видимо, этот скрип услышали и бандиты. Двое из них бросились к дверям. Выбежав в сени, Яшка нырнул в узкую дверь, ведущую в хлев. В темноте провалился в остро пахнущую навозную жижу и, хлюпая по ней, побежал туда, где стояли кони.

Рыжий встретил его тихим ржанием. Яшка быстро нащупал и отвязал поводок уздечки, отталкивая морду Рыжего; мерин норовил ткнуть его в лицо своими бархатными губами.

Двери хлева были отворены. Яшка вскочил на теплую спину коня и вылетел во двор.

— Рыжий, грабят, — шепнул он. Приученный старым хозяином, конь вздрогнул, прижал уши, и Яшка едва успел вцепиться ему в холку…

Сзади кто-то кричал, потом один за другим раздалось несколько выстрелов, но пули прошли стороной. «Скорей»… — мысленно торопил Яшка Рыжего. А тот и так уже храпел, пена летела у него с губ клочьями, попадая Яшке в лицо. Но он не замечал этого. Не чувствовал он и холодного ветра, который сначала пузырем надул на его спине рубашку и, усиленный бешеной скачкой, вырвал ее из трусиков: рубашка заполоскала, захлопала по ветру.

Подлетев к избе, где остановился отряд, Курбатов на скаку спрыгнул с коня, больно стукнувшись о землю босыми пятками, рывком отворил двери.

— Скорей!.. Комиссар…

Он выкрикнул это каким-то чужим, осипшим от ветра голосом. Вначале никто не мог понять его несвязный, сбивчивый говор.

Но еще не дослушав, Чугунов первый схватил карабин и выскочил во двор; за ним выбежали и другие.

Кони стояли оседланные. Чугунов крикнул Яшке: «Оставайся здесь», но Яшка скользя голой ногой по мокрому, остро пахнущему потом крупу Рыжего, тяжело залез на него и тронул уздечку. Рыжий, медленно раздувая бока, нехотя пошел по дороге; в галоп его уже нельзя было пустить…

Когда Курбатов добрался до деревни, стрельба уже стихла. Как потом рассказывали Яшке, бандиты бросились бежать не по дороге, а завернули за хлев, скрылись за овином и побежали по тропке к лесу. Но в этом месте Чугунов не поставил отрядников; никто не знал, что там есть тропа, а по болоту — рассчитывал Чугунов — далеко не убежишь. Бандиты убежали, исчез и «сова».

Комиссар Рыбин лежал на полу; он был без сознания. Лица не

было видно: вместо лица было какое-то сплошное кровавое месиво. На груди багровела вырезанная пятиконечная звезда, а на ней блестели, переливаясь огнями, как рубин, красные от крови кристаллы крупной соли.

Однако комиссар жил. Сердце его слабо, но билось. Боец, лежавший на полу, был уже мертв. Ему распороли живот и туда насыпали рожь. Сверху была положена записка: «Он выполнил продразверстку».

11. Не у дел

В Печаткино отряд вернулся с хлебом. В тот же день Чугунов отчитывался на бюро партячейки; почему-то на бюро пригласили и Яшку; он не успел даже вымыться и сходить в клуб, к Кияту и к Клаве. Алешин, сидевший рядом с ним, только хитровато подмигивал и посмеивался про себя.

Когда Чугунов коротко рассказал о стычке с бандитами, Яшка перебил его:

— Одного-то из них я знаю… Полковник… Ну, тот, что с Ермашевым.

Громов, что-то чиркая карандашом на листке бумажки, кивнул.

— Да, полковник Базылев… Мы его с восемнадцатого года ищем.

Дальше Яшка почти не слушал Чугунова: ему не терпелось скорее уйти и все-таки сначала забежать к Алешиным, а уже потом в клуб. Чугунов говорил медленно, словно вытягивая из себя слова, — о том, что хлеба еще по деревнях у кулаков закопано в ямах бог весть сколько.

— Мы только так, по сусекам поскребли, — сознался он. — Крепко запрятали хлеб…

Он по привычке выругался, и Булгаков, сам яростный ругатель, постучал карандашом по столу.

— Ближе к делу, товарищ Чугунов.

Все заулыбались, а Чугунов, еще раз — уже удивленно ругнувшись, сказал: «Извините».

На бюро проголосовали — деятельность отряда одобрить, всем бойцам вынести благодарность. Алешин, встав, хлопнул Яшку по спине:

— Ну, теперь небось к ребятам побежишь, секретарь? А тебя уже переизбрали.

— Как переизбрали? — не понял Яшка.

— А так вот. Долго отсутствовал, а надо кому-то работать… Выходит, не секретарь ты уже… Да не расстраивайся, Курбатов, мы тут… Словом, Булгаков, растолкуй ему.

— Пусть станцует сперва, — потребовал Булгаков. — Русскую, с присядкой.

Яшка слушал и не верил. По рекомендации бюро ячейки Курбатова заочно выбрали делегатом на губернский съезд комсомола, а Данилов будет рекомендовать его делегатом на Третий Всероссийский съезд… По предложению Булгакова, его направляют в Архангельск, на военные курсы политруков. Значит,

сначала на съезд, потом в Архангельск, не заезжая домой… Булгаков хлопнул его по спине и, рассмеявшись, пошутил:

— Дай-то бог, чтоб и меня с секретарей так же сняли.

Яшка вышел на улицу, еще ничего не соображая. Все полетело кувырком: и работа в организации, и масса дел, которые были намечены, — все это уже будут делать другие, хотя до отъезда еще несколько недель. Он хмуро поглядел на уходящего к заводу Булгакова: все это, конечно, очень почетно, но зачем женили, не спросив?..

— Кому дела сдавать? — крикнул вслед Булгакову Яшка.

Тот обернулся, и Курбатов увидел зеленые, смеющиеся глаза секретаря.

— Да ты никак не доволен, парень? Сдавай Кияту, дружку своему. А если не доволен — дурень в таком случае. Подумай лучше.

Яшка покраснел и отвернулся. Где-то в глубине души шевельнулась слабая еще, но печальная, быть может даже тревожная, мысль: «Уеду… А Клава?»

* * *

Сборы были недолгими. Вот только надо проститься с Клавой. Уже третий вечер они прощались и никак не могли проститься. Оба, молчаливые и понурые, крепко прижавшись друг к другу, бродили по тихим темным улицам рабочего поселка, останавливались, целовались, шли снова и снова останавливались.

Он несколько раз хотел сказать Клаве, чтобы она не встречалась с Троховым, но молчал. Глупая ревность, зачем омрачать последние часы. Наконец настал последний день и час, когда они подошли к алешинскому дому.

— Зайдем к нам. С папой и дедушкой простишься.

Они вошли в дом, Яшка разделся и прошел в комнату, а Клава осталась на кухне — ставить самовар.

Дядя Павел сидел и что-то писал. Дедушка читал газету и, когда Яшка вошел, сдвинул к кончику носа свои очки.

— Проститься зашел, адвокат? Это хорошо, что не забыл. Садись вот сюда да рассказывай!

— Да чего рассказывать? Вот еду…

— Съезди, съезди. Срок невелик, а свет посмотришь и для себя что полезное почерпнешь.

Яшка опять что-то пробормотал, и старик переспросил: «Что, что?»

— Только не знаю, вот как… — повторил Яшка. — Что выйдет — не знаю. Уезжать как-то неохота…

Он посмотрел на вошедшую Клаву.

— Не дури! — прикрикнул старик, передразнивая: «Неохота»! — Поди, с Клавкой расстаться неохота, насквозь я вас вижу. Думаешь, ей охота, чтобы ты уезжал? Что, отговаривала она небось тебя?

— Что вы, дедушка! — вспыхнула Клава.

Она села за стол рядом с Яшкой, и Тит Титович смотрел на них исподлобья. Очки у него еще ниже спустились на нос; он снял их и сразу улыбнулся хитроватой, доброй улыбкой. Впрочем, улыбка тут же пропала: он нахмурился и прикрикнул на сына:

— Хватит писать-то, писатель! Видишь — гость у нас. В последний вечер, пришел проститься!

Павел послушно отодвинул чернильницу и бумаги. Старик лукаво подмигнул ему, кивнув головой, спросил:

— А что, Павлуха, не плохая пара? Что, разве неверно говорю? Краснеть вам, ребята, нечего, я правду сказал. По уши вы друг в друга врезались. Давно уж это все знают, а вы-то знаете об этом еще больше.

— Перестаньте, дедушка!

Клава сказала это таким тоном, что ясно было: старик действительно прав, и сказано это было для приличия. Алешин, видимо, так и понял это; остановить его уже было нельзя.

— Давай сосватаем их, Павел? Сегодня вот вроде помолвки сделаем, а вернется он, тогда и в Совете запишутся…

Павел Титович, отвернувшись, чтобы больше не смущать ребят, пожал плечами.

— Я не против. Такой дружбы, как у них, трудно найти. А что любят друг друга, так это сразу видно. Давай, Клава, собери по этому случаю чаек. Я слышал, ты самоваром гремела.

— Раз такое дело, — засуетился Алешин, — что в печи, на стол мечи. Принеси-ка, внучка… там рябиновая и смородиновая есть. Еще покойная Марфа, царство ей небесное, готовила! Вот и выпьем по поводу.

Клава стала собирать на стол. Принесла настойку, закуску — соленых рыжиков, огурцов, свиного сала. Подала на стол лепешки. Дядя Павел на вытянутых руках притащил кипящий самовар. Алешин уже разливал настойку; все сели за стол. Поднимая стакан, старик таинственно сказал:

— Давайте выпьем по первой, а я потом скажу — за что.

— Нет, нет! — запротестовала Клава, чувствуя какой-то подвох. — Так не бывает. Сперва всегда говорят, за что, а потом уже пьют!

— Ты сейчас помолчи, внучка. Я твой дед, а деду и вперед поверить можно; он за плохое пить не будет!

Пришлось выпить без всякого тоста. Старик вытер свои седые, снизу пожелтевшие от табака усы и прищурился.

— Знаете, за что мы выпили? А за правнуков моих. Правнуков я хочу иметь! Вот таких, — он показал рукой их рост от пола. — Слышишь, Клавка? Чтобы они вечером меня и за усы, и за нос теребили.

Клава и Яшка сидели опустив глаза; казалось, что Клава вот-вот заплачет.

— И смущаться тут нечего, — уже ласково, спокойно говорил дед. — Взрослые вы, сами все знаете. Хорошо вот, одобряю я, что вы до поры до времени себя соблюдаете. Расплескать себя недолго, а от этого только себе вред… Давайте по второй. Вот этой смородиновой выпьем. Пейте, пейте, нечего скромничать, сегодня можно!

Алешин залпом выпил еще полстакана, крякнул: «Ух и хороша!» — и сразу налил себе в третий раз. Под хмельком любил Тит Титович поговорить, особенно поучить молодежь житейской мудрости.

— Слава богу, сынами бог меня не обидел, целых трое было. Да вот двое неженатиками где-то бродят, только от Павла и есть внучка. Да опять же одна. Правнуков мне, стало быть, надо; хоть последние годы жизни порадуюсь.

Он снова потянулся к бутылке и налил одному Яшке.

— Да что, разве мне одному нужны они? Вот опять же с государственной точки. Новые люди нужны. Чтобы нарождалось их больше, чем стариков мрет. России нашей особенно людей надо, в этом ее и сила. Поняли? Давай еще по стопочке. Э, постой, постой, молодец, впереди старших нельзя! Ну-ка, валяйте поцелуйтесь при нас, а потом хоть потоп…

— Да что вы, дедушка! — крикнула Клава.

— «Что-что», — передразнил старик. — Да ничего! Что, впервой тебе с ним целоваться, что ли? А при нас стыдно?

Пришлось поцеловаться. Дядя Павел сидел и смеялся: раз уж старик вошел в раж, его перебивать нельзя.

— Ну, совет вам да любовь! — сказал Алешин и выпил остатки наливки, не замечая, что у него дрожат от волнения руки и капли вина стекают по подбородку…

Первым из-за стола поднялся Павел Титович. Незаметно подмигнув отцу, он подошел к Яшке и обнял его.

— Ну, до свидания, сынок! Ничего я тебе не говорю, сам все знаешь. Одно скажу — пускай хоть и все хорошо у тебя будет, а ты всегда собой немножко да недоволен будь. Не зазнавайся, не

хвастай успехами, пускай за тебя ими другие похвастают. Теперь ты мне родной вроде… Ну, учись хорошо и домой возвращайся.

Он трижды поцеловал Яшку и вышел. Алешин, пошатываясь, пошел за ним.

Яшка и Клава посидели еще час. Клава проводила его на крыльцо; они в последний раз поцеловались, и Яшка, сойдя с крыльца, еще раз обернулся.

Клава глядела куда-то за его голову. Он быстро взглянул туда, куда смотрела она, и увидел возле забора двоих; они стояли к нему спиной, но Яшка сразу узнал рыжую куртку Кията и засаленный картуз Лобзика.

— Вы чего здесь?

— Можно повернуться? — спросил Лобзик. — Тебя что, поезд ждать будет?

У Яшки перехватило дыхание. Он, подойдя к Лобзику, обнял его, и тот, как и тогда, на пристани, недовольно заворчал:

— А ну тебя к черту! С ним вот целуйся, он тебя целый час ждал.

Кият смотрел на Яшку грустными, глубокими глазами и, шагнув к нему, убеждающе заговорил:

— Ты не волнуйся, все в порядке будет… Работать будем. Ты пиши только… А мы справимся, справимся…

12. Ночь накануне съезда

Москва!

Она появилась в окнах вагона еще задолго до того, как остановился поезд. Вначале потянулись низенькие домики, пакгаузы, разбегающиеся и снова сходящиеся ниточки рельсов, заводы за глухими заборами, потом появились улицы, красный с облупившейся краской трамвай, первые вывески… Поезд резко затормозил, подойдя к перрону, и сотни людей с корзинками, тючками, чемоданами заспешили к выходу, сошли с привокзальных ступенек на площадь и растеклись в разные стороны, как ручейки.

Накрапывал дождь — мелкий холодный осенний дождь, и делегаты из губерний жались к стенке вокзального здания. Их никто не встретил; и сейчас, стоя на улице, они гадали — куда ехать. Кто-то побежал к начальнику станции, позвонить по телефону в ЦК комсомола. Начальник долго не разрешал, кричал, что телефон только для служебного пользования, но когда делегат грохнул кулаком по столу, начальник трусливо шмыгнул в дверь и уже из-за дверей взвизгнул:

— Милицию позову…

В ЦК объяснили: ехать на Садово-Каретную. Но где эта Садово-Каретная, никто из делегатов не знал, — все были в Москве впервые. Курбатов кивнул на выстроившиеся возле вокзала пролетки.

— Довезут, наверно. Ну, заплатим лишних «лимонов».

— Правильно, — подтвердил кто-то. — Зачем знать географию, когда есть извозчики.

Но извозчик, сверху вниз поглядывая на ребят, спросил:

— У вас что — «лимоны»? Моя баба ими комнату обклеивает заместо обоев. Разве это деньги? Даете фунт соли — довезу.

Ребята поскребли по своим мешкам — соль была у всех. В кульке, отданном извозчику, было больше фунта, и тот, подкинув кулак на руке, проворчал:

— Ну и соль! Вода одна, сырь и ужасть.

Миновали Охотный ряд, стоящие бок о бок лавки, пустые, плотно забитые досками. С облетающих деревьев срывались галки и кружили над серыми, исхлестанными дождем улицами. Ребята набились в пролетку так, что смотреть по сторонам могли только крайние, но им кричали:

— Да не вертитесь! Рассыплемся…

В самом деле, пролетка, дребезжа по булыжной мостовой, стонала, скрипела, словно впрямь грозя развалиться на первом же

повороте.

— Приехали с орехами, — проворчал извозчик. — Ежели еще понадоблюсь, ищите у Никитских.

Сказал он это таким тоном, что можно было подумать — Никитские вовсе не ворота, а какая-то известная всей Москве фамилия…

Делегаты приехали поздно: в коридорах и в комнатах третьего Дома Советов уже стоял несмолкаемый гомон; общежития были забиты, откуда-то сверху доносились звуки гармошки. Курбатов заглянул в одну из комнат: там, навалившись грудью на стол, какой-то парень печатал на разболтанном «Ундервуде», тыча в клавиши одним пальцем.

— Регистрация здесь? — спросил Яшка.

— Здесь, здесь. Заходи, зарегистрируем…

Находящиеся в комнате втащили Курбатова к себе и, не спросив, кто он и откуда, сунули в руки большой лист с крупным заголовком — «Подзатыльник».

— Читай! — приказал печатавший на машинке парень.

— Сашка! — кричали из коридора этому парню. — Безыменский! Куда ты пропал? Иди получай шамовку…

Делегаты знакомились повсюду и запросто. Одних, как Курбатова, затаскивали в комнаты, других останавливали в коридоре — жали руки, ходили в обнимку и пели. Яшка заметил: большинство было в военном. Но немало было и таких, как он, — и это успокаивало.

Расположиться на ночлег удалось с трудом: чудом досталась койка в общежитии ярославской делегации, и Яшка приходил сюда только переночевать — все остальное время гонялся с ребятами по Москве, попал в облаву на Сухаревке и долго объяснял в милиции, что он никакой не карманник и не фармазон. Его отпустили, предупредив, чтоб больше он на Сухаревке не появлялся: «Там у стоячего подметки оторвут — не услышишь».

Когда он вернулся в общежитие, там все гудело: Курбатов не сразу понял, о чем спорят ребята. Здоровенный парень с перевязанной рукой басил:

— Да ясно, о чем будет говорить.

— Он что, советовался с тобой? — ехидно спрашивал один из ярославцев, а известно, что ярославцы — народ бойкий.

Парень, не смущаясь от хохота товарищей, назидательно выставлял вперед палец здоровой руки, словно целясь в ярославца из пистолета.

— Неграмотный ты. Ну, подумай сам — о чем он может говорить. И вы еще тут ржете. Ясно ведь: Врангель не разбит —

это раз. Мировая революция еще не состоялась — два. Чего еще-то?

— Это верно… И о дискуссии в комсомоле.

— Ну да, будет он этим еще делом заниматься.

— А что? Мы, брат, мировые проблемы сейчас решаем. Мы…

Курбатов осторожно подтолкнул своего соседа по койке.

— Чего распетушились-то?

Тот поглядел на Якова отсутствующим взглядом. Глаза у него были какие-то шальные, светящиеся, будто и впрямь только что решал одну из мировых проблем. Курбатову пришлось повторить — «Чего спорите?» — и сосед, поняв наконец, ответил, сразу же отворачиваясь к спорящим:

— Ленин завтра будет выступать.

У Курбатова сладко замерло сердце. Где-то в глубине души он и раньше надеялся, что увидит Ленина, но уверенности в этом не было. Сейчас, прислушиваясь к разговорам, Яшка пытался представить себе, какой будет эта встреча. Думал об этом не он один, и вздрогнул, когда сосед спросил, не обращаясь ни к кому:

— А какой он — Ленин?

Все сразу замолчали. Откуда им, ярославским, вологодским и костромским паренькам, было знать Ленина? Поэтому кто-то неуверенно ответил:

— Большой, надо полагать. Здоровый, вроде Кваснухина…

Кваснухин — парень с рукой на перевязи — прогудел:

— И голос у него, наверно, такой… — он сжал крепкий, тяжелый кулак и потряс им у горла: по-видимому, это означало бас.

Впрочем, в ту пору о Ленине так думали все, никогда не видевшие его; просто не верилось, что внешне самый обыкновенный человек может делать то, что сделал и делает Ленин.

— Верно, — отозвались с дальних коек, — на то он и Ленин.

Час спустя, лежа с открытыми глазами, Курбатов не мог заснуть. То, что он, семнадцатилетний слесарь, послан в Москву и через несколько часов — если верить ребятам — увидит Ленина, наполняло его каким-то новым чувством.

Все уже спали. Очевидно, навалившись во сне на раненую руку, вскрикнул Кваснухин и долго еще бредил потом, заставляя ребят тревожно подниматься на своих скрипучих, расшатанных койках: «Слева заходите… Слева… Пулемет…» — Кваснухин воевал и во сне.

Курбатов, осторожно пробираясь между кроватями, принес ему воды, и Кваснухин, проснувшись, долго не мог понять, почему его разбудили:

— Что? Опаздываем?

Пришлось шепотом успокаивать его.

— Попей и спи. Никуда не опаздываем. Вон какая темень за окнами.

13. Говорит Владимир Ильич

Что творилось в этом зале на Малой Дмитровке! Мест уже не было, а люди все шли и шли. Зал гудел, и с трудом можно было услышать в этом нестройном гуле голосов отдельные слова. Повезло многим: они сидели на стульях, по двое на каждом, на каких-то скамейках, притащенных из дворницкой соседнего дома, на подоконниках. Курбатову места не заняли; он едва пробился к сцене и сел на нее, касаясь головой рояля. «Считай, брат, мы с тобой почти в президиуме», — пошутил его сосед, парень в гимнастерке и густо-малиновых галифе. Курбатов, увидев эти галифе, только промычал в ответ что-то невразумительное.

Он оглядел зал. Серые стены, окна в потоках дождя и поэтому мутные, непрозрачные; плакат, с которого сердитый рабочий показывал на него: «Что ты сделал для фронта?» Курбатов смотрел на плакат, и ему почему-то стало неловко, как будто он ничего не сделал, — и он отвернулся.

Действительно, много ли сделано? Вон сколько ребят — в шинелях, кожанках, мятых солдатских папахах, ободранные, с забинтованными руками и головами; в картузах и кепках — поменьше, хотя и они тоже, надо полагать, видели виды. Курбатову снова стало неловко своей новенькой гимнастерки из «чертовой кожи». Прямо перед ним, разложив на коленях листки жесткой, как фанера, оберточной бумаги, сидел парень в перешитой бабьей кофте и в сапогах, перехваченных кусками проволоки, чтоб не отваливались подметки. Зато в первых рядах справа — несколько красавцев, матросы в лихо заломленных бескозырках и с пустыми деревянными кобурами маузеров. Один из них, рассказывали, недавно был у Ленина делегатом от балтийской братвы с просьбой прибавить морякам хлеба. И, рассказывали, Ленин его выслушал, а потом сказал: «Знаете, в Питере несколько тысяч детей на голодном пайке. Что, если бы моряки помогли им?» После этого балтийцы отдали детям четверть своих пайков.

Сейчас, сидя перед залом, Курбатов сам себе показался таким ничтожным, что даже оглянулся: не попросят ли его отсюда. За эти дни он наслушался всякого, и знал одно — что владельцы всех этих шинелей, курток, малиновых галифе, этих подвязанных проволокой рыжих сапог, этих разломанных картузов и смятых блином бескозырок — люди, которые сделали в тысячу раз больше его. Тот же парень в бабьей кофте — давно ли его вызволили с Мудьюга[1]. И вовремя, иначе не быть бы ему здесь. Или разговор, случайно подслушанный в фойе: рассказывали о

шестнадцатилетнем командире полка, именуя его при этом Аркашкой[2]…

Нет, мало было сделано Яшкой Курбатовым; он сидел, чувствуя, как в нем говорит сейчас самая что ни на есть обыкновенная зависть, и не сдерживал ее. Он даже усмехнулся, представив, что́ ответит ему вечно спокойный Кият, если рассказать ему об этом: «У нас еще впереди мировая революция». Да, может быть, и стоит утешаться разве что только этим…

Кругом него доставали листки бумаги, карандаши, готовились записывать, прилаживая бумагу на коленях, на спинах сидящих спереди. Курбатов досадливо поморщился: забыл-таки взять сшитую еще в Печаткино тетрадку.

Секретарь Цекамола — его показали Яшке еще вчера, — невысокий, широкоплечий, в поношенной синей рубашке с расстегнутым воротом, нервничал. Он то и дело посылал ребят, окружавших его, в коридор. О нем тоже рассказывали всякое, и в рассказах, по-видимому, переплетались правда и вымысел. Душевный и вместе с тем крутой человек, он мог остаться голодным на несколько дней, отдав свой хлеб другу, но, когда комсомольский стихотворец написал о секретаре, что тот сам тайком сочиняет стихи, — говорят, секретарь, от негодования задрожав, обругал поэта обыкновенной прозой.

Время тянулось долго; то один, то другой член президиума вставал и не очень настойчиво просил делегатов:

— Товарищи, очистите сцену! В зале полагается сидеть, товарищи…

Но все, сидящие на сцене, молчали и единодушно не слышали его. Зато если кто-нибудь кричал — «Тихо, товарищи!» — сразу, словно по какому-то волшебству, замирал этот огромный, гудящий, похожий на взбудораженный муравейник зал, и невольно все глядели на дверь возле сцены. Почему-то казалось, что именно оттуда должен выйти Ленин.

Яшка не уловил короткого мгновения, когда в зале что-то произошло. Сначала это было легкое, едва заметное движение в первых рядах, к которым он сидел лицом. Затем люди начали вставать, и словно какая-то невидимая волна прокатилась от первых рядов до последних. Яшка только услышал короткое, как бросок, слово — «Он!» — и, обернувшись, замер.

Возле дверей, ведущих на сцену, стоял невысокого роста человек в черном пальто. Кепку он снял — и Яшка прежде всего увидел огромный, светлый, крутой ленинский лоб. Уже потом он разглядел золотистые, хитровато улыбавшиеся глаза, прикрытые тяжелыми веками, знакомый по портретам овал лица и эти усы, и короткую бородку. Ленин был не таким, каким Яшка представлял

его себе, и вместе с тем почувствовал, что будто давным-давно где-то видел его именно таким, каким увидел сейчас.

Потом он не мог вспомнить ничего, кроме того, что вместе со всеми до боли в ладонях хлопал, кричал одно только слово — «Ленин».

Ленин стоял, перекинув свое пальто на спинку стула. Несколько раз он поднимал руку, а овация все росла, росла и ширилась. Это был не просто порыв, нет! Это огромная любовь и огромное счастье — целое море любви и счастья выплескивалось из человеческих берегов.

Владимир Ильич нетерпеливо ждал, все чаще и чаще оборачиваясь к президиуму и что-то говоря: его слов не было слышно. Секретарь Цекамола, подняв над головой колокольчик, яростно потрясал им — не было слышно и этого колокольчика. Ленин сунул большие пальцы рук за вырез жилета, стремительно наклонился к залу, потом вынул часы и показал их: время дорого. Какое там! Это была лавина, неудержимый поток, и Ленин понял: надо переждать!

Яшка слышал, как председательствующий, перегнувшись через стол, кричал, стараясь перекричать грохот:

— Владимир Ильич!.. Как объявить ваше выступление?.. Выступление, говорю, как объявить? Доклад о текущем моменте?

Ленин отрицательно качнул головой. Его ответа не было слышно, и, по-видимому, его не расслышал и председательствующий.

Наконец зал затих. Вдруг неожиданно наступила такая тишина, что стало слышно, как хлещет по стеклам косой дождь и они тонко дребезжат.

Ленин подошел к краю сцены и как-то быстро, по-деловому, сказал, оглядывая ряды:

— Товарищи, мне хотелось бы сегодня побеседовать на тему о том, каковы основные задачи Союза коммунистической молодежи и в связи с этим — каковы должны быть организации молодежи в социалистической республике вообще.

Питерские делегаты — видел Яшка — слегка задвигались; матросы после этих слов расселись поудобнее, и Яшка подумал, что кому-кому, а им-то эти задачи дай бог как известны: где им только не приходилось воевать и придется воевать еще. «Очевидно, с Врангелем», — мелькнула мысль.

Владимир Ильич уже освоился на этой узкой сцене, заставленной стульями. Он даже прошелся по ней, откинув назад полу пиджака и снова засунув большой палец правой руки в вырез жилета. Яшка Курбатов, повернувшись и почти навалившись на соседа, хорошо видел его; был момент, Ильич

подошел почти вплотную и быстро взглянул на Яшку. И тут же перевел взгляд на зал, выбросив вперед правую руку.

— И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о задачах молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких других организаций в частности можно было бы выразить одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться.

Он особенно подчеркнул это последнее слово — «учиться»; и тут же сосед толкнул Яшку в бок:

— Что, что он сказал?

Ленин не мог не заметить, как по залу прошел легкий шорох. Лица делегатов медленно менялись: только что они были напряжены; люди ловили каждое ленинское слово, вдумывались в него, настраивались на другое — на большой разговор о продолжении войны, о том, что надо покончить с Врангелем, надо бороться с разрухой. И вдруг — это «учиться», да еще сказанное так, особенно твердо, непререкаемо.

Кто-то переглянулся, кто-то со скрипом двинул стулом… Владимир Ильич, глядя в зал, чуть заметно улыбнулся и продолжал говорить, подавшись вперед:

— Я должен сказать, что первым, казалось бы, и самым естественным ответом является то, что союз молодежи и вся молодежь вообще, которая хочет перейти к коммунизму, должна учиться коммунизму.

Курбатов ничего еще не понимал. Учиться коммунизму — это чему именно и как? Очевидно, не понимал этого не он один. Ленин, на секунду задумавшись, пояснил свою мысль:

— Что же нам нужно для того, чтобы научиться коммунизму? Что нам нужно выделить из суммы общих знаний, чтобы приобрести знание коммунизма?

Опять зал замер. Каждый, словно ухватившись за невидимую ниточку, начинал разматывать новый клубок, а Ленин будто помогал в этом, подробно объясняя каждое положение.

— Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли о том, что учиться коммунизму — это значит усвоить ту сумму знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и трудах. Но такое определение изучения коммунизма было бы слишком грубо и недостаточно… Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой…

При словах «без работы, без борьбы» Яшка легко вздохнул. Это-то ему было понятно. А Владимир Ильич уже говорил о старой школе, с какой-то злой, пожалуй, интонацией в голосе, —

о том, что было в ней чуждого, почему она была лживой. Тут же он, предостерегающе подняв руку, сказал:

— Но вы сделали бы огромную ошибку, если попробовали сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием.

Курбатов подался вперед. Он не успевал обдумывать каждое слово, хотя бы фразу; они западали в него и ложились где-то, и он скорее чувствовал, чем понимал все то, о чем говорил сейчас Ленин.

Он старался запомнить все. И то, почему стало всемирным учение Маркса, и что такое пролетарская культура, и что надо взять от старой школы. Когда же Владимир Ильич, заканчивая мысль, сказал: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», — Курбатов растерянно начал шарить по карманам: нет, бумаги не было. На него зашикали, — «не крутись».

Он все-таки нашел клочок бумаги и записал эту фразу; вторая половинка листка ему была нужна для того, чтобы послать Владимиру Ильичу вопрос.

А записки уже шли из зала. Владимир Ильич брал их и, не разворачивая, клал в карман. Сейчас он переходил к главному в своей речи — к обобщению того, что уже было сказано и стало ясно всем.

— У предыдущего поколения задача сводилась к свержению буржуазии… Перед новым поколением стоит задача более сложная… Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы.

Все глубже и глубже заглядывал Курбатов куда-то в далекие времена, которые словно бы приблизились, открылись ему сейчас, и стало видно кругом то, что еще совсем недавно было только в догадках, предположениях, сомнениях…

Ленин улыбался навстречу сотням молодых, ясных, светящихся лиц. Он держал в руке какую-то бумажку, очевидно конспект речи. Но то ли речь шла так живо, что не укладывалась в рамки конспекта, то ли новые мысли обгоняли те, которые были в конспекте, — он не заглядывал в него.

Но вот сказаны последние слова о том, что поколение, которому сейчас пятнадцать лет, увидит коммунизм. О том, что мы победим и что победа в строительстве нового мира будет еще

более твердой, чем во всех прежних битвах. И никто поначалу не понял, что Ленин кончил свою речь. Все молчали, словно дослушивая уже свой, внутренний голос. Владимир Ильич поднял руку, устало провел по лбу и, повернувшись к столу, начал разбирать записки… Кто-то вскочил, придвинул ему стул.

И только тут снова грохнула буря аплодисментов; казалось, стены ее не выдержат…

14. «Я тоже увижу коммунизм?»

Волна отнесла Яшку Курбатова к столу. Ленин сидел, быстро прочитывая записки, раскладывая их, и вдруг то начинал смеяться, то хмурился — очевидно, было написано неразборчиво. Наконец все записки разложены, но Курбатов, следивший за тем, как работает Ленин, не увидел своей: может, просто проглядел? В это время его кто-то больно прижал к краю стола, и Яшка, оглянувшись, увидел, что парень в бабьей кофте, который сидел перед ним, протискивается вперед, к Ленину.

— Куда ты?

Тот не ответил, скользнув по Курбатову невидящими глазами. И тут же снова нажал плечом, освобождая себе место. Схватив парня за рукав, Яшка потянул, но кофта подозрительно затрещала, и он отдернул руку. Парень уже стоял перед Лениным и молча глядел на него.

Ильич поднял глаза. Какую-то долю секунды он рассматривал эту нескладную, нелепую фигуру, и Яшка заметил на лице Ленина то ли боль, то ли участие.

— У вас тоже вопрос?

— Да… Вот вы скажите… — голос у парня срывался. — Значит, я тоже… коммунизм увижу?

Ленин порывисто встал.

— Да, да. Вы! Именно вы, дорогой товарищ!

И парень, шлепая в тишине подошвой, подвязанной куском проволоки, пошел назад, держа руки у груди, будто прижимая какую-то, одному ему доступную драгоценность.

Ленин снова провел ладонью по лбу, взял записки и вдруг забеспокоился, сунул руку в карман, потом положил все записки и начал искать в других карманах. Затем он, нагнувшись, встал на колено, отодвинул стул…

— Что вы потеряли, Владимир Ильич? — спросил председатель.

— Да записку потерял. Хорошая была записка…

— Вы на эти ответьте, не ищите ее.

— Как не искать? Надо найти. Товарищ, может быть, волнуется, ждет, а я не отвечу. Надо ответить.

Наконец общими усилиями записку нашли.

Владимир Ильич быстро разложил записки веером.

— Записок, товарищи, очень много, но я постараюсь ответить на большинство. Меня спрашивают о военном и хозяйственном положении. К сожалению, второго доклада вам я сегодня сделать не смогу, — он лукаво улыбнулся, — особенно хриплым голосом.

Нет, это были не «вопросы и ответы». Это опять была беседа о том, что волновало людей, о чем они думали, что их печалило…

И когда час спустя от подъезда дома на Малой Дмитровке отошла, пофыркивая, постреливая синим дымком, крытая брезентом машина, здесь остались люди, для которых жизнь начиналась словно бы сызнова; да, впрочем, оно и было так. Все они, сколько их ни было здесь, начиная от семнадцатилетнего рабочего паренька и кончая солдатами, прошедшими сквозь смерть, были только в начале жизни, той, которую они должны строить сами.

15. Живая вода

Пожалуй, ничем не была примечательна эта дорога. Вагон, битком набитый людьми, едкий, ставший привычным уже запах жженого угля, корболовки и пота, духотища и нескончаемые разговоры куда-то и зачем-то едущих женщин о том, что «леворюцию сделали, а хлебушка не дали».

Однажды Яшка не выдержал и, свесившись со своей третьей полки, крикнул:

— Да чего вы языками-то треплете: «не дали, не дали»! Может, вас Советская власть подрядилась за бесплатно кормить?

— Ишь, какой идейный, — спокойно заметила одна из женщин. — А что ж ты прикажешь делать?

— Работать — вот что. А то только и слышишь: ездим с места на место — всюду плохо. Потому и плохо, что ездят… такие.

— Верно, корешок! Давай знакомиться. Матрос Иван Рябов со старой калоши «Чесма».

Яшка и не заметил, как из другого купе высунулась взлохмаченная светловолосая голова. На Яшку смотрели лукавые, с искоркой, глаза.

— Верно агитируешь. Нынешним дамочкам теперь хлеба на блюдце с каемочкой подавай. А вот — не видели?

Он вытянул вниз руку, и женщины лениво отмахнулись от кукиша. Они и в самом деле устали; ругаться им, видимо, не хотелось.

Яшка познакомился с соседом: все-таки веселее было ехать. Но дорожные знакомства коротки; матрос вышел на станции Няндома, сказав на прощанье:

— Ну, корешок, будь здоров. Может, встретимся еще. Жизнь — она, брат, тесная!

* * *

В Архангельске Курбатова ждал сюрприз. Поезд подходил к вокзалу; и, стоя на подножке вагона, еще издали Яшка увидел одинокую и знакомую фигуру. Тощий, угловатый паренек, зябко поводя острыми плечами под разодранной курткой, вертел большой головой на длинной шее, выискивая кого-то в толпе приехавших. Яшка увидел огромные черные глаза, как две плошки на бледном, почти голубом лице, и заорал, сорвав с головы шлем:

— Лобзик! Эй, я здесь!..

Минуту спустя они стояли друг против друга, и Лобзик, счастливо улыбаясь, даже щурясь от удовольствия, торопливо говорил:

— А я тебя, брат, уже отчаялся встретить. Понимаешь, как получилось. Только ты уехал — бац, из губкомола еще разверстка на одного человека. Ну, я и напросился сюда.

Яшка был счастлив. Все-таки не один, все-таки рядом родная душа; странный он человек, Лобзик, но есть в нем что-то такое, по-особенному искрящееся, словно скрытый, но физически ощутимый огонек горит в этом щуплом человеке.

На пароходе они перебрались через Двину; осень в этих краях уже совсем кончилась, на улице стояла какая-то странная, бесснежная, но морозная погода, и пароходик шел, раздвигая бортами круглые льдинки густого «сала». Яшка слушал торопливые объяснения Лобзика — о курсах, о ребятах, о начальнике курсов, — и смотрел не отрываясь на берег, на низенькие дома, маковки церквей, длинные штабеля досок — лесные биржи. Ему неудобно было спрашивать у Лобзика, как Клава; да и что он мог рассказать сейчас: последнее письмо от Клавы было всего недельной давности.

Курсы политруков Курбатову понравились. Размещались они в помещении бывшего губернского архива — в длинном белом одноэтажном здании с низенькими окнами и сводчатыми потолками. Здание было старинное, выстроенное еще при Аракчееве; ребята говорили, что прежде здесь была тюрьма. Неподалеку находился кинотеатр «Мулен-Руж». За кинотеатром была толкучка; там торговали английским табаком и тупорылыми лыжными ботинками-шекельтонами, надо полагать, трофейными…

Яшка почти не заметил перемены, которая произошла в его жизни. Быть может, потому, что за годы, проведенные среди множества самых различных людей, он привык близко сходиться с новыми товарищами.

Едва устроившись на новом месте, Курбатов знал уже добрый десяток курсантов, кто они и откуда, и был польщен тем, что его наперебой расспрашивали о съезде, о Ленине, о ленинской речи, которую здесь еще не читали.

Лобзик — тот слушал с горящими глазами, все поторапливая: «Ну, ну…» А Курбатов, сидя на койке в полутемной комнате, словно бы заново переживал свою встречу с Ильичем.

Курсанты не заметили, как во время рассказа в дверях появился незнакомый мужчина — уже пожилой, в гимнастерке и высоких, закрывающих колени, русских сапогах. Все вскочили. Тот, кивнув — продолжайте, — подошел и сел на чью-то кровать,

нашаривая в кармане кисет. Но Яшка смутился и замолчал.

— Что ж вы, товарищ курсант? Так интересно говорили, и вдруг…

— Я уже все рассказал, — ответил Яшка.

Все помолчали для приличия. Наконец военный, свернув папироску и несколько раз облизав ее для прочности, усмехнулся.

— А у нас вот не все еще понимают, как учеба, о которой Владимир Ильич говорил, нужна… Мы, говорят, революцию делаем, можем и без политэкономии обойтись. Знай бей буржуев — и всё тут.

Ребята вежливо улыбнулись; улыбнулся и Яшка, еще не понимая, какая может быть связь между битьем буржуев и политэкономией. Кто-то из ребят спросил:

— А политэкономии — про что это, товарищ Ходотов?

Яшка пытался припомнить эту фамилию: «Ходотов… Ходотов… А, Лобзик на пароходе говорил: комиссар курсов…» Тем временем Ходотов, неторопливо закурив и щуря от дыма один глаз, хитровато поглядел на спрашивающего.

— Политэкономия-то? Да так… про всякое. Про золотишко-серебришко.

Кто-то недоверчиво хмыкнул.

— Значит, денежки считать? Вроде бухгалтеров?

— Вот-вот, — обрадовался Ходотов. — А потом вас всех кассирами работать пошлем. Кого в булочную, кого еще куда.

Он все еще лукаво щурился, пряча улыбку, и вдруг, сразу став строгим, сказал:

— Нет, ребята, эта наука такая… как бы вам сказать… Ну, вроде живой воды. Знаете сказку: ослепнет человек, — так стоит только помазать живой водой, сразу прозреет. А без нее, без этой науки, мы как слепые кутята. Вот ты, товарищ Курбатов, например, знаешь, почему капиталисты богатели, а рабочие нищали?

Яшка удивленно повел плечами.

— Конечно, знаю. Эксплуатировали они нас, вот и все тут.

— Ну, а как же они так эксплуатировали? — допытывался Ходотов.

— Как это «как»? — не понял Яшка. — Ну, работали мы на них…

— А ведь они-то платили вам за работу?

— Ну, платили.

— Значит, не на них вы работали, а на себя?

Яшка смутился, буркнул что-то насчет штрафов, и, догадавшись, что ляпнул вовсе непростительно глупое, смутился вконец. Ходотов протянул руку, потрепал его по плечу.

— Ничего, узнаешь… Вот ведь как получается, ребята: простая вещь, а растолковать ее даже наш делегат не смог.

Он вынул из кармана зажигалку и, вертя ее в коротких, толстых пальцах, начал объяснять, что такое прибавочная стоимость. Яшка жадно, как губка, впитывал в себя каждое слово. Все казалось так ясно, что ребята как-то даже разочарованно переглянулись… А Яшка, недоуменно раздумывая над услышанным, досадливо поморщился: «Дурак, значит, я, что ли? Просто ведь, как огурец…»

Но через несколько дней он уже не говорил и не думал «просто, как огурец»: к вечеру у него от всех занятий голова шла кругом, — в ней мешались понятия, формулы, выводы, и он временами, тупо уставившись в книжку, напрасно старался усвоить что-нибудь еще: голова отказывалась работать.

Как-то Лобзик пожаловался ему:

— Убегу я отсюда, Яша. Ну на кой мне бес эти капиталы?

Он кивнул на том Маркса, лежавший перед Яшкой. В это время Яшка — в который раз! — перечитывал строчки: «Всякий труд есть, с одной стороны, расходование человеческой рабочей силы в физиологическом смысле слова — и в этом своем качестве, одинакового или абстрактного человеческого, труд образует стоимость товаров»… Лобзик жалобно взмолился:

— Да оставь ты это. Я говорю — не могу больше.

Яшка, медленно подняв на него воспаленные, сразу ставшие злыми, глаза, угрожающе поднял книгу.

— Убежишь — прибью. Понял? И дружба врозь.

На курсантов взвалили сразу массу занятий.

И быть может, потому, что Яшка чувствовал себя стоящим на ступеньку выше многих, он не жаловался; ребята косились на него — «Смотри, какой камешек, а? Будто ему нипочем…» А он вспоминал мертвую тишину в зале, невысокого роста человека, разрубающего рукой воздух, и его слова о том, что надо учиться и учиться коммунизму…

16. Конец «Совы»

Первым серьезно нарушил дисциплину Лобзик. Вечером он стоял на посту у ворот. За две трамвайные остановки была красноармейская чайная, где выдавали бесплатно, по красноармейской книжке, чай с монпансье и маленький кусок черного хлеба с чем-нибудь, чаще всего с повидлом; Лобзик снял тяжелый и теплый тулуп, завернул в него свою винтовку и все это поставил в сугроб. Потом он закрыл калитку с внутренней стороны, перемахнул через высокий забор, сел на трамвай и поехал в чайную.

Комиссар курсов, Ходотов, в этот вечер лично обходил посты. Он наткнулся на тулуп, торчащий из сугроба, забрал винтовку и снес ее в караульное помещение. Возвратившийся Лобзик не нашел винтовки: тулуп валялся, а винтовки не было. Ему ничего не оставалось, как самому пойти в караульное помещение; там он был сразу же арестован, У него отобрали поясной ремень. Утром на общекурсовой проверке Лобзика вывели и поставили перед строем. Ходотов зачитал приказ начальника курсов: за проступок Лобзику дали пятнадцать суток гарнизонной гауптвахты. Яшка стоял, глядя себе под ноги. Когда Лобзика провели мимо, он взглянул на него и увидел, что тот лукаво подмигивает.

— Отдохнет парень, — шепнул кто-то сзади не то одобряюще, не то завистливо.

Лобзик вернулся с гауптвахты еще более похудевший и какой-то притихший. Какой там отдых! С утра до вечера он работал с другими штрафниками на лесобирже! Яшка, покатываясь со смеху, глядел, как Лобзик то и дело поддергивает галифе.

— Вот как исхудал, — крутил Лобзик головой. — Штаны не держатся.

Но что-то изменилось в нем, словно сломалось; даже говорить он стал как-то меньше и чаще молчал, глядя куда-то в сторону, будто видел там что-то, ведомое ему одному.

Эту перемену заметил не один Курбатов; но то, что случилось, Лобзик рассказал только ему…

…В одну из суббот на лесобирже, где работали заключенные с гауптвахты, был субботник: пришли несколько десятков девушек-активисток, в основном работники комитетов комсомола, сведенные в одну бригаду.

Еще на «гражданке», на различных собраниях и вечерах такие девушки просто пугали даже не очень-то робкого Лобзика. Они старались и внешностью и поведением походить на ребят, да и то

не на обычных, а какого-то блатного ухарства. Носили они русские, нечищенные месяцами рыжие сапоги, кожаные тужурки, короткие волосы, за которыми мало следили. У некоторых на чулках и грязных затасканных юбках были дыры, словно девушкам не хватало времени залатать, зашить их. Они, как правило, курили махорку, напрашивались, не стесняясь, на циничные разговоры.

Откуда они только взялись после гражданской войны? И почему-то, пока девушка была беспартийной или рядовой комсомолкой, она сохраняла и свой нормальный вид, и свою девичью стыдливость, но стоило ей попасть в активистки, да еще в освобожденные, она сразу преображалась. Лобзик не понимал таких девушек и поэтому пугался еще больше.

Быть может, именно поэтому он заметил среди них одну, самую обыкновенную, но показавшуюся ему необыкновенной. Во время перерыва они очутились рядом.

Ее звали Нина Гаврилова. Лобзик… стыдясь своего «арестантского» вида, долго не решался подойти к ней, она заговорила первая, надо полагать, изумленная этими огромными черными, не таящими волнения, глазами.

И Лобзик не сдержался. Он наврал ей о себе с три короба, чтобы только быть ближе даже в делах. Он ей наговорил о себе такого, что потом только краснел — и что он тоже комсомольский работник, и что на курсы приехал сразу со съезда, и что воевал против Колчака…

Нина в свой черед рассказывала ему:

— Знаете, мне тяжело на освобожденной комсомольской работе. С беспартийными и рядовыми комсомолками я всегда нахожу общий язык, все они… ну… такие все, какими и должны быть. А вот с некоторыми активистками не могу ужиться… Они меня интеллигентной птичкой зовут. Не могу понять — откуда у нас такие девушки появились? Ведь наша революция этого не предполагает. Я читала речь Ильича… Мне кажется, девушка везде должна быть девушкой. А какая это девушка, когда из нее, как из трубы, махорочный дым идет…

Лобзик в это время курил «козью ножку»; после слов Нины он незаметно смял цигарку и выбросил ее. Нина заметила и засмеялась:

— Ой, какой вы смешной! Да курите себе. Девушкой вы ведь не собираетесь быть?

Девушки редко разговаривали так с Лобзиком, а этот разговор вообще шел так, что у Лобзика в голове окончательно перепутались все представления о девушках. Нина казалась ему такой светлой и так высоко, недосягаемо высоко стоящей над

ним, что он боялся обернуться к ней.

Они сели на кучу досок, и Лобзик, мучительно краснея, попытался поддержать этот умный, и потому для него непривычный, разговор. Слов он не находил; те, которые приходили, были какими-то пустыми и незначащими.

Он не заметил, откуда появился и когда сел рядом с Ниной незнакомый парень. Лобзик раньше не видел его: очевидно, он работал до этого в стороне, в бригаде лесокатов. У парня было наглое лицо, жидкие черные волосы вылезали из-под какого-то ободранного треуха.

— Ну-ка, Нинка, подвинься, — осклабясь, сказал он, толка девушку локтем.

— Я вам не Нинка, товарищ Кандидов, не забывайтесь, — строго и серьезно ответила Нина. Парень коротко хмыкнул.

— Верно говорят, что ты недотрога… Что, товарища красного курсанта захороводила? Сидите тут, любовь крутите? Не помешаю?

Лобзик покраснел от злобы; у Нины дрожали губы.

— Что вам от меня нужно? Уходите.

— А, помешал, помешал… Извиняюсь… то есть пардон, мамзель.

Лобзик не мог больше сдерживаться. Он вскочил, обернулся к сидящему рядом с Ниной, схватил его за ворот пальто и рывком придвинул его лицо к своему. Задыхаясь, он проговорил:

— Ну, ты… гнида человеческая. Кто ты такой? Подлец!

Коротким и сильным ударом он отбросил парня и тронул Нину за руку.

— Пойдемте…

Сейчас, вспоминая все это, Лобзик мучился: его вдобавок ко всему на месяц оставили без увольнительной. Курбатов поначалу было удивился, что с несерьезным Лобзиком могло приключиться этакое, потом загрустил сам и даже не улыбнулся, когда Лобзик, подсев к нему на кровать, сказал:

— Выходит, мы вроде женихов с тобой теперь, а?

* * *

Но думать об этом пришлось недолго: той же ночью курсы были подняты по боевой тревоге. Ребят и прежде поднимали по ночам: с оружием они выбегали и строились во дворе, потом начинался марш — далеко за Мхи, где англо-американская разведка совсем недавно расстреливала архангельских коммунистов.

На этот раз что-то не похоже было на простое ночное ученье. Во двор выкатили санки; на них положили цинковые ящики с патронами, и озабоченный чем-то Ходотов вместе с начальником курсов пересчитал их. Высокий человек в наглухо застегнутой длинной кавалерийской шинели то и дело поглядывал на часы и торопил начальство. Наконец он повернулся к курсантам, и по тому, как он начал говорить — тихо и с тревогой, — Курбатов понял: да, здесь не ночное ученье.

— Вот что, товарищи, — говорил тот. — Идем мы на боевое задание вместе с чекистами. Неподалеку от города, на Мхах, находится банда… Надо взять всех живьем, ну, а если не удастся… Короче говоря, идем!..

Шли молча. Быстро кончились освещенные улицы, и впереди легла темень, глухая, почти ослепляющая. Временами за спиной вдруг словно бы начинало светать; там появлялись, росли, ширились голубовато-зеленые полосы; они перемещались, начинали гореть, мерцать на своих концах тонкими игольчатыми стрелками и так же быстро, как возникали, гасли… Тогда еще гуще становилась темнота, чернее — небо.

Отряд остановился через час на большом поле. Здесь росли, прижавшись к самой земле, а сейчас занесенные снегом, можжевеловые кусты, тянулись вверх из-под снежных шапок уродливые, скрюченные, как мертвые пальцы, ветви карликовых берез. Хорошо еще, что погода стояла теплая: там, на курсах, градусник показывал пятнадцать градусов ниже нуля.

И все-таки разгоряченные часовым маршем ребята теперь продрогли. Курбатов почувствовал сначала легкий озноб и глубже зарылся в снег, под куст. Соседей он не видел, но знал: ребята где-то здесь, рядом, и так же мерзнут сейчас, как и он. Выберутся ли они все отсюда живыми?

Через два часа, немного привыкнув к холоду, Курбатов поймал себя на том, что ему неудержимо хочется спать. С трудом он взял негнущимися пальцами пригоршню снега и приложил к глазам; снег, растаяв, прилип к лицу. А когда где-то слева суматошно затрещали выстрелы, он даже не вздрогнул, не заволновался, а только подумал: «Ну, наконец-то…»

Три тени мелькнули неподалеку. Сосед справа начал стрелять, и Курбатов, опомнившись, закричал:

— Не стреляй… живьем брать будем… бежим!..

Он не мог бежать. Вернее, он бежал, но ему казалось, что он только медленно, как это бывает во сне, переставляет ноги.

…Опять на горизонте зародилось, начало тянуться вверх, раздвигая темноту неживым, голубоватым светом, северное сияние. Трое уходили: теперь Яшка отчетливо видел три

согнувшиеся в беге фигуры. Курсант, бежавший рядом, припал на колено и начал стрелять. Один из бандитов, словно споткнувшись о кочку, которой он не заметил, повалился в снег, безжизненно раскидывая руки.

Курбатов не успел выстрелить: сияние, освещающее пустую белую равнину, начало гаснуть, и снова все кругом нырнуло во мрак, будто над землей сразу раскинули черный непроницаемый полог. Куда бежать? Выстрелы захлопали уже впереди, далеко и глухо. Он споткнулся о лежащее на снегу тело и, задыхаясь, опустился, все еще не сгибающимися, распухшими пальцами стараясь вытереть сбегающий с висков пот.

Рядом с ним оказался тот чекист в длинной шинели, который привел ребят сюда. Чиркая непослушные спички и закрывая огонек ладонью, он разжег, наконец, несколько штук и нагнулся над убитым. Курбатов, мельком взглянув на лицо бандита, отпрянул…

Прямо на него глядели мертвые, остановившиеся, но такие же круглые глаза человека-«совы».

17. Что с Клавой?

Пожалуй, в иное время Курбатову и не показалось бы, что время тянется так мучительно долго. Четыре месяца — не ахти уж какой большой срок, а ему казалось, что прошло уже столько, что даже не сосчитать — целая жизнь!

Писем от Клавы не было месяц. Лобзик не утешал Курбатова, но неизменно на чем свет стоит бранил почту («Зимой работать не умеет!»), переводил разговор на старые письма и незаметно заставлял Якова лезть в сундучок, доставать и перечитывать их. Действительно, становилось легче. Клава писала, что ей очень одиноко, что она ждет, любит…

— И чего она влюбилась-то в тебя? — тараща свои цыганские глазища, деланно удивлялся Лобзик. — Нос загогулиной, бровей полное отсутствие. Рот… Зубы хорошие, что у лошади, а вот подбородочек подгулял малость. Переделали тебе подбородок, Яшка, лишку налепили. Кувалда какая-то вместо подбородка.

Курбатов так же шутливо поднимал вверх указательный палец.

— Тише!

— А что? — настораживался Лобзик.

— Слушаю, как у тебя, скелета ходячего, кости скрипят…

Все словно бы сломалось в один день. Сложенное треугольничком, какое-то измятое, будто переданное через сотню рук, на имя Курбатова наконец-то пришло письмо. Лобзик, влетев в казарму, заставил Яшку сплясать и даже отвернулся, когда тот жадно схватил этот серый треугольничек.

— Это… не от нее, — выдохнул Яшка.

Письмо было от Вали Кията. Строчки расплылись у Яшки в глазах, он не мог понять, что ему рассказывал друг… Лобзик, почуяв недоброе, тревожно подскочил к нему.

— Что… что?..

— Читай, — едва двигая губами, пробормотал Курбатов. — Я… не могу…

Он не понял слов: он понял только одно — Клавы у него нет. И, быть может, оттого, что потрясение было настолько велико, он сел, тупо уставившись в какую-то одну точку на полу, сцепив пальцы.

Кият писал:

«Здорово, дружище!

Твое письмо получил. Не сообщал я тебе ничего о Клаве потому, что не хотел расстраивать. Я знал, как ты ее любишь. А теперь думаю, что зря тебе ничего не писал о ней. Буду писать

кратко и только о том, что знаю. Разные сплетни писать не буду. Их в поселке ходит много.

После твоего отъезда Клава никуда не ходила. Бывала только в комсомольской ячейке. Девчата и ребята немного над ней подсмеивались. Началось, по-моему, это в марте. Клава пришла на танцы. К ней сразу подлетел этот трепло — Мишка Трохов — и целый вечер танцевал с ней. Он по-прежнему воевал в своем продскладе. Звенел шпорами, кланялся, ну, был таким кавалером, как в романах пишут. Клава и Мишка все время были вместе. Что там промежду их было, я не знаю. Только Клаву стали предупреждать некоторые девчата и ребята, и я с ней говорил. Она и от ячейки совсем отбилась. Клава только смеялась, а потом на нас стала сердиться и говорить: „Не ваше дело“.

Тогда мы взялись за Мишку, его предупредили, а ты знаешь его. В общем, ничего не помогло. Однажды во время танцев мы вызвали Мишку на крыльцо и стали угрожать ему, что намнем бока, если он не оставит Клаву в покое. Он засмеялся, вынул наган и показал его нам. „А ну, налетай, кому жить надоело. Сколько вас тут на фунт сушеных, подходи“. Потом положил наган в карман, обозвал нас шкетами и снова ушел плясать.

Потом я узнал, что Мишка обманул Клаву, а потом Клава и Мишка в конце апреля поженились и расписались в Совете. Только Клава замужем за ним была всего один день. Что там у них было, я не знаю. Только говорят, что она рано утром прибежала в милицию и заявила, что Мишка спекулянт. Был обыск. Все подтвердилось. Мишка арестован. Говорят, его скоро судить будут в губернском городе. Их работала целая шайка, а Мишка был у них главным.

Дедушка Тит и дядя Павел отказались от Клавы и не пустили ее обратно домой. Она живет теперь одна в Мишкиной комнате. Работает табельщицей на бирже. От ячейки совсем оторвалась, всех сторонится, даже избегает своей подружки Зины.

Вот и все, что я знаю. Ты, Яша, очень-то не убивайся. Мало ли что бывает! На твоем веку встретятся и не такие, как Клава. Только я сам не знаю, что это за штука, любовь. Так что, может, и неправильно пишу. Яша, приезжай. Все тебя ждут. Новостей пока нет никаких.

Привет от ребят и девчат.

Остаюсь твой Валентин».

18. Не надо протирать скатерть

— Встать, смирно!

Яшка вскочил, вытягивая по швам руки. Ходотов, хмурясь, барабанил пальцами по столу.

— Опять не слушаете? Не напрасно ли вы занимаетесь здесь, курсант Курбатов? Учитесь хуже всех, разленились, наряды вне очереди вам, кажется, не надоедают… Вы сами-то чувствуете это?

Яшка стоял и молчал. Военком посмотрел на него внимательнее.

— Короче говоря, в шестнадцать ноль-ноль зайдите ко мне в кабинет. Понятно?

Яшка повторил: «Понятно», и ему действительно было понятно, что он куда-то катится, и ему не остановиться…

В назначенное время он явился к военкому. Доложив по уставу о своем прибытии, он остался стоять у дверей. Ходотов кивнул на старое, полуразвалившееся кресло.

— Подойдите сюда, товарищ Курбатов… Садитесь!

Яшка сел, стараясь не глядеть на военкома. А тот уже расспрашивал его, тихо, ласково, настойчиво, но Яшка подумал, что рассказать о Клаве он не сможет. Да и зачем?

— Что с вами, товарищ Курбатов, происходит? Вы чувствуете, как из передовых курсантов попадаете в отстающие? У вас, видимо, есть какие-то причины, а один справиться не можете. Есть у вас здесь товарищи? Ну, такие, с которыми вы могли бы поделиться… горем?

Яшка кинул на военкома быстрый взгляд. «Да он… Он же все знает!» Какая-то судорога свела ему горло, он хотел ответить Ходотову и не смог.

— А что, Яша, я могу знать о твоем горе?

Курбатов молчал.

— Значит, не могу, — ответил сам себе военком, откидываясь на спинку стула, — Выходит, не заслужил отец-комиссар, не заслужил, старина, чтобы тебе ребята свою душу на ладошку выкладывали. Я думал, что заслужил доверие… а на проверку выходит — нет, плохой я комиссар. Вам что, восемнадцать лет?

Вопрос был задан уже другим, сухим тоном. Так скор был этот переход в голосе Ходотова, что Курбатов растерялся.

— Да.

— А мне пятьдесят второй! Да в партии с двенадцатого года. В подполье пропагандистом был, в нелегальных рабочих кружках преподавал. Рабочие мне рассказывали о своих самых потайных думах. В Красной Армии с первых дней революции. И все

комиссаром… У Щорса комиссаром батальона был… Да что там! В общем, плох оказался комиссар! Не пора ли на покой, с женой да детишками воевать? Как ты, Курбатов, думаешь?

Но Курбатов не думал об этом. Две мысли сейчас боролись в нем: «Сказать… не говорить… Скажу… Нет, не надо». В это время военком спросил:

— Ответьте, по крайней мере, Курбатов, одно: горе у вас личное или общественное?

— Личное… — тихо ответил он.

— Как же так, Курбатов, вы свое личное горе путаете с общественным? Выходит, личное горе мешает общественному долгу? И это у вас, у комсомольца, который, наверное, думает в партию вступать. Ваша служба в Красной Армии, учеба — не личное, а общественное дело, дело партии, если хотите… Вам об этом, помните, кто говорил?

Голос Ходотова гремел.

— Так какое вы имеете право, товарищ красный курсант, манкировать службой, занятиями, напрасно проедать народные деньги, когда каждая копейка на счету?

Военком встал, вышел из-за стола и остановился перед Курбатовым. Яшка продолжал сидеть, низко опустив голову.

— Встать! Как ведете себя, товарищ курсант, в присутствии старших!

Курбатов вскочил и вытянулся. Вид у него был подавленный, губы дрожали, холодный пот выступил на лбу.

— Разговор окончен, можете идти, товарищ курсант! — глядя в сторону, сказал военком.

Яшка повернулся кругом и направился к двери. Его остановил окрик: «Курбатов, подождите!» Яшка остановился. Военком подошел к Яшке, взял его за плечи и подтолкнул обратно, к креслу. На Яшку снова ласково смотрели добрые глаза старого большевика.

— Что, напугал я тебя, сынок? — с легкой усмешкой спросил Ходотов. — Надо так… Видишь, какой ты упорный да настойчивый!

Нервное напряжение, которое поддерживало силы Яшки, прошло. Он не удержался. Положив голову на стол, он рыдал без слов, спина так и ходила ходуном. Военком стоял, гладил его по волосам и тихо говорил:

— Поплачь, поплачь, сынок… Легче будет. Мужчины тоже плачут. Трудные это слезы. У женщин — глаза на болоте, у них слезы близко, самый пустяк их выжать, а мужские — из глубины идут. У мужика не глаза, а он сам весь плачет.

Через полчаса Курбатов рассказал ему все. Протянув руку к

карману гимнастерки, он отстегнул пуговицу, вытащил и подал военкому пачку писем; в них была завернута карточка Клавы. Военком посмотрел сначала на Курбатова, затем взял карточку Клавы, долго вглядывался в нее, перевернул и прочитал на обороте. Там было написано: «Моему дорогому, любимому, самому близкому Яшеньке! Всегда с тобой, на всю жизнь вместе. Клава».

Потом Ходотов начал читать письма. Читал он долго, не поднимая головы; лицо у него было спокойное, а Яшка сидел и нервничал. Он скреб ногтем зеленую суконную скатерть стола, проскреб дыру, покраснел, взглянул на военкома и, видя, что тот как будто ничего не заметил, закрыл протертое место пепельницей.

Наконец Ходотов прочел все письма, поднял голову и понимающим, долгим взглядом посмотрел на Курбатова.

— Так… Трудно, говоришь, Яша? Понимаю, трудно. Очень трудно. А в руках себя держать надо. Нельзя поддаваться такому настроению — оно далеко заведет. Я думал, что у тебя воля крепкая, а выходит, тебе еще воспитывать ее надо. Ведь так-то говоря, плохо это — на трудности равняться, по течению плыть. Но трудности у тебя, как ты сам сказал, личные — значит, наше общее дело не должно страдать. Запомни это на всю жизнь, мой тебе совет. Никогда общественное нельзя растворять в своем, в личном. Это только какой-нибудь обыватель может рассуждать иначе. Он из-за кисейных занавесок, пуховой перины да сытного обеда ничего видеть не хочет. А мы, большевики, — мы не для себя, а для всех работаем. А раз так — возьми себя в руки, спрячь поглубже свое личное горе и не переноси его на учебу и на службу.

Военком снова подошел к нему и, опять подталкивая, на этот раз к двери, шутливо проворчал:

— Все же и при таком горе дыры на скатерти протирать нельзя. Это тоже имущество общественное, государственное.

Смущенный Курбатов хотел было что-то сказать, но Ходотов тихо вытолкнул его из кабинета и закрыл дверь.

19. Снова дома

То, чего больше всего боялся теперь Курбатов, — свершилось. В июне курсы закончились, выпускные испытания остались позади. Ходотов, вручив курсантам удостоверения, пробурчал «летите, орлята» и ушел.

Курбатов почувствовал, как кругом него вдруг появилась тревожная пустота. Лобзик оставался в Архангельске — на комсомольской работе. Оставался он, конечно, потому, что здесь была Нина. Приглашали в губкомол и Якова, но ему было тяжело здесь: Лобзик, как ни старался, не мог скрыть счастливой улыбки, она так и сверкала на его физиономии. Курбатов, понимая, что завидовать вроде бы нехорошо, не мог не завидовать его счастью, его любви и открыто признавался себе в этом: да, завидую.

Боялся он и другого: встречи с Клавой, хотя, собственно, бояться было нечего. Не выдержит? Ну так что ж, что не выдержит: в конце концов ошиблась, раскаялась… И все-таки боялся.

Когда он приехал в Печаткино, ему захотелось тут же сесть в состав, идущий обратно, и уехать — куда? Да не все ли равно куда, лишь бы не встретиться с Клавой. Но уехать он уже не мог. Какие-то иные, более властные силы привели его сюда; здесь его дом, его горе, его друзья, и он принадлежал им — дому, горю, друзьям.

Он избегал даже далеких встреч с Клавой. Раз, увидев издали знакомую фигурку, он пошел обратно, завернул в переулок и побежал, Клава же, наоборот, искала встречи с ним и часто, не замечаемая никем, ждала, когда он выйдет из общежития, клуба или дома, где помещались Всеобуч и ЧОН. Но Курбатов всегда был не один, а она не хотела, чтобы их видели вместе.

Все же Клава дождалась этой встречи. Как-то Курбатов вышел из клуба с ребятами; на улице они остановились, и Курбатов о чем-то оживленно и горячо рассказывал им, размахивая руками. Больше получаса ждала Клава, наконец ребята расстались, и Курбатов пошел к своему дому.

По соседней улице Клава забежала вперед, свернула в переулок и, выйдя из него, лицом к лицу столкнулась с Курбатовым.

— Здравствуй, Яша, — протянула она руку, как-то незнакомо усмехаясь. — Ты как будто бы меня нарочно избегаешь?

— Да нет… Что ты? — тихо сказал он, краснея. От волнения он не мог произнести даже эти простые, односложные слова. Клава понимающе кивнула.

— Мне ведь тоже не легко, Яша… Может быть, тяжелее, чем тебе… Ты, пожалуйста, не думай… не думай, что я от тебя чего-то хочу. Я только все рассказать хотела. Ты ведь ничего не знаешь еще… Рассказать… все? Это, наверно, последняя наша встреча. И я ее действительно искала. Может быть, когда узнаешь, не так уж плохо будешь думать обо мне…

— Не надо ничего говорить, — тихо ответил Курбатов. — Я много думал, Клава… В конце концов…

Она не понимала, что он хочет сказать. А он чувствовал, что не может поступить Иначе, что он любит ее, и каким же трусливым дураком был, что избегал этой встречи!

Протянув руку, Курбатов осторожно взял Клавин локоть и прижал его к себе. Потом он посмотрел ей в глаза — взглядом долгим и грустным, таким, что она не выдержала и отвернулась.

— Не молчи хоть… — шепнула она.

— Клава… — так же тихо шепнул Курбатов. — Я… и все равно…

Она освободила свой локоть и предупреждающе подняла руку.

— Не надо. Я знаю. Но это уже невозможно. Я… я сама не прощу себе того, даже если ты простишь. И… я пойду, Яшенька. Нет, нет, не провожай меня.

Вечером Яков пришел к Клаве, чтобы если не уговорить, то хотя бы заставить ее вернуться к отцу и начать жизнь по-новому, но женщина, открывшая ему дверь, в комнату его не пустила.

— Клавы нет. Уехала.

— Как уехала? — ахнул Курбатов.

— Да так. Собрала вещички и уехала, а куда — не знаю.

В полном отчаянии он побежал в ячейку: вечером там должно было собраться бюро. Кият пригласил Курбатова сделать доклад о текущем моменте. Надо было отказаться от всех дел и ехать. Куда? Он еще не знал, — туда, куда могла уехать Клава.

Кият был один. Он сидел за столом, запустив обе руки в светлые прямые волосы, морщась, как от острой головной боли.

— А, это ты! От Лобзика тут письмо пришло. Хочешь — почитай…

Курбатов нехотя взял письмо. Корявые строчки пересекали страницу сверху вниз. В глаза Яшке бросилась его фамилия, и он стал читать оттуда, с середины страницы.

«А Яшке Курбатову передай, что мы теперь вроде как бы оба вдовцы: на днях замаскировавшийся контрразведчик убил мою Нину, он знает ее… Сунул перо под сердце — и померла, так что я теперь места себе не нахожу и, пока сам всех притаившихся белых гадов не передушу, спокоен не буду».

Курбатов, осторожно положив письмо на стол, поглядел на Кията.

— Да что же это такое, Валька?

Тот долго не отвечал, ероша свои желтые, словно соломенные, волосы, а потом сказал тихо, качнув головой:

— Жизнь это, Яша… Жизнь.

Часть третья

1. Кандидат партии

Яшка Курбатов привык за последние годы и месяцы к поездам, к перестукиванию колес под полом вагона, когда думается легко и спокойно, а колеса, словно бы в лад мыслям, поддакивают.

На этот раз ехать ему было недалеко — всего лишь до губернского города. Однако та стремительность и суетливость, с которой его собирали и провожали, больше походила на долгое расставание; в спешке у Курбатова даже не было времени спокойно посидеть и еще раз подумать о том большом, что вошло в его жизнь.

…Рекомендации ему дали директор завода Чухалин и старший мастер цеха Мелентьев. Оба они знали Яшку с 1916 года, когда он был еще учеником слесаря.

На бюро партячейки прием Яшки в кандидаты РКП(б) занял мало времени: вопросов к нему почти не было; вырос он у всех на глазах, и только в заключение секретарь партячейки, Булгаков, сказал:

— Кончился теперь Яшка. Теперь ты — товарищ Курбатов; так гляди, брат, не подкачай.

На общем собрании партячейки вопрос о приеме Курбатова рассматривался в текущих делах и тоже не вызвал особых прений. После нескольких вопросов, заданных Курбатову, выступил старик Пушкин; никто не ожидал от него столько слов сразу, и все поняли, что старик волнуется, видимо чувствуя значительность происходящего.

— Я не оратор и красиво говорить не умею, а скажу просто, по-рабочему. Не осрами нас, Яша; меня, старика, не осрами, не ходи по кривым переулкам. Пускай в них тебе обещают молочные реки и кисельные берега. Всегда иди прямой дорогой, той, которую нам Центральный Комитет да Владимир Ильич указывают. Понял ты меня, парень? Смотри, помни мои слова.

Курбатова приняли единогласно.

На следующий день он зашел к секретарю партячейки за кандидатским удостоверением. Выписав удостоверение, Булгаков положил его перед собой и кивнул Курбатову: «Да ты садись, в ногах правды нет».

Потом он долго молчал, словно собираясь с мыслями, и, наконец, поднял на Курбатова задумчивые и строгие глаза.

— А знаешь, Курбатов, что тебе хотел на собрании Пушкин сказать. Коряво у него вышло, но прав старик: иди только прямой дорогой. Дорогу эту всегда нам Центральный Комитет партии

большевиков указывает; вот ты прямехонько по ней и иди. Как бы и кто тебя ни звал, — никогда не ходи за отдельными людьми, пускай они тебе хоть как красиво говорят.

Иди только за ЦК. Коллектив — он не ошибается, а один человек, будь он семи пядей во лбу, может ошибаться и завести черт те знает куда.

Весь этот разговор он вспомнил сейчас с отчетливостью, ощутимой почти физически. И, дотрагиваясь до кармана, где лежало кандидатское удостоверение, будто заново переживал чувство какой-то необычайной приподнятости, какое бывает, наверно, у молодых птиц перед их первым большим полетом…

2. Совпартшкола

Поспешность, с которой его собрали и отправили из Печаткино, была напрасной: в Губсовпартшколу Курбатов приехал одним из первых. К приему слушателей еще ничего не было готово: в общежитии не успели поставить даже кровати.

Совпартшкола помещалась в нижнем этаже длинного трехэтажного здания бывших «присутственных мест»: в старое время здесь размещалось большинство правительственных учреждений губернии.

Дом стоял на берегу реки; рядом, за высоким деревянным забором, с утра и до вечера гудел рынок. Нэп возродил свободную торговлю, и сейчас здесь хозяйничали дельцы, спекулянты, а то и просто жулье, научившееся ловко водить за нос доверчивого городского обывателя. Были здесь и торговцы счастьем с попугаями или морскими свинками, которые за «лимоны» вытаскивали отпечатанное в типографии счастье, и просто мошенники, мастера обобрать до нитки в «три листика». Шипели в масле на таганах поджаристые пышки, испускал навозно-острый запах коровий рубец. Бабы продавали в мешках мокрую рассыпную махорку-горлодер, кем-то окрещенную в «Прощай молодость»; другие торговали обсосанными на вид монпансье. Здесь же воры сбывали краденое, а фармазоны артистически заставляли городских модниц покупать медь вместо золота. Это был нэп наизнанку, когда все самые темные силы старого мира выползли из своих глухих нор.

Вместе с ребятами, приехавшими в Совпартшколу, Курбатов целыми днями шатался по городу, приглядываясь к давно забытым и немилым сердцу местам. Он долго стоял перед своей старой школой, а потом быстро пошел прочь: это возвращение к прошлому было тягостным даже в воспоминаниях, и он не любил своего детства.

Ребята Курбатову понравились. Они приезжали каждый день из таких мест, о которых Курбатов и не слышал. Многие из них видели город впервые, о железной дороге знали только понаслышке и понятия не имели о самых, казалось бы, простых вещах. Одеты все были пестро и плохо, кто в чем. Одни — и парни и девушки — прибывали в лаптях и белых онучах, в домотканых сермягах, подпоясанных цветными полинявшими кушаками, а то и просто обрывками пеньковой веревки. Были тут и пастухи, хлеборобы — голь перекатная — и середняки, и продавцы кооперативных деревенских лавок, учителя и учительницы, делопроизводители ВИКов и сельсоветов. Но были

и рабочие, такие, как Курбатов.

Приехала из глухой тотемской Кокшеньги Хиония Кораблева, девушка-комсомолка, первая без боязни вступившая в малочисленную местную комсомольскую ячейку. Из-за этого отец прогнал ее из дома, а поп отлучил от церкви. Ядовитые бабы сочиняли про Хину разные небылицы. Запуганная, она приютилась у местной учительницы, которую и без того мужики стращали местью за то, что она «совращает с пути девок». Учительница оставила Хину школьной уборщицей, а когда из уезда пришла разверстка в Совпартшколу, учительница посоветовала девушке ехать учиться.

Снова разгорелись в деревне страсти, когда узнали, что Хина едет учиться в какую-то «собпортшколу». Досужие языки переводили это название — «собачья беспортошная школа». Бабы судачили о том, что «городские комиссары по всем деревням себе статных девок собирают».

И вот в платочке, в домотканом армячишке, в липовых лапотках и онучах, с котомкой за плечами, тронулась Кораблева, не испугавшись, в неизведанный путь. Не смутило ее и то, что надо было пройти до ближайшей железнодорожной станции сто пятьдесят верст — по непроезжей грязи разбитых дорог, по первым северным заморозкам, по холодным оттепелям. В жизни Хина не видела поезда и железной дороги. Ребята покатывались со смеху, слушая ее рассказ, а Курбатов и улыбался, и хмурился, вскидывая на Хину то удивленные, то грустные глаза.

— Направилась это я, — говорила она, — пешечком; иду, устану — к деревне к кому-нибудь в избу зайду. Попью кипяточку, отдохну — да дальше. Спрашивают меня, куда я иду. А я правду-то не говорю, боюсь. На станцию, говорю, иду: отец у меня там на заработках заболел, вот к нему и пробираюсь. Верят и разные наставления мне дают.

…Вот шла я, шла, да и вышла из лесу. Вижу, дорога не дорога… Какое-то железо длинное лежит, а под ним бревна строганные. Не подумала я сразу-то, что это и есть железная дорога. Села я на железину, вынула из котомки кусок и сижу, жую. Хоть и холодно сидеть на железе, а сижу, — больше-то сесть некуда. Вдруг слышу — шум какой-то. Я и жевать перестала, слушаю. Дело уже в сумерки было. А тут из-за поворота с ревом выскочило такое чудовище, что я и сказок про такое не слыхала: два пребольнущих глаза и свет из них полосой далеко идет, а вверху огонь… Искры снопом летят да дым черный поднимается. И несется он прямо на меня. Я и котомку оставила, в кусты бросилась, а он налетел на мою котомку, отбросил в сторону, да как заревет, заревет.

…За чудовищем домики красные бегут. Смотрю, а на них беседки, и люди в них с фонариками. Ну, тут-то я и догадалась, что вышла к железной дороге, а мимо меня поезд прошел.

…Добралась я до станции, купила билет. Подали мне в окошечко картонку маленькую. Вижу, один мужик такую же купил. Я к нему: «Дяденька, возьмите меня с собой, я ни разу по железке не ездила». — «Что ж, — говорит, — ладно. Держись за меня». Вот я все и хожу за ним, боюсь потерять. А он посмеивается: «Боязливая ты, девка; видно, и впрямь первый раз едешь».

…Подошел тут поезд; мужик помог мне в вагон влезть. Взошла я в вагон и под лавку полезла. Мне кричат: «Куда ты, девка?» — а я внимания не обращаю: залезла под лавку да в ножку вцепилась. Слышу, про меня говорят: «Наверно, заяц». А я уж молчу, только думаю: «Какой я заяц? Не видят они, что ли, что девка я?»

…Вот поехали. Укачало меня, да еще с устатку… Я и заснула. Слышу сквозь сон, кто-то меня за ногу тянет и сердито так орет: «Вылезай, девка, заяц ты этакий!» Ну, вылезла из-под лавки. С фонарем, который за ногу-то тянул, и спрашивает, куда я еду. Я сказала, а он опять: «А билет у тебя есть?» — «Картонка-то, — говорю, — да вот она». И подаю. «Так что же ты, — говорит, — девка, под лавку залезла?» Я и говорю: «Спокойнее, да и не так боязно мне».

Курбатову было жаль ее: нечего было и думать, что девушку примут в Совпартшколу. В уезде, как водится, напутали: послали вместо молодого коммуниста неграмотную комсомолку… «Чего-нибудь придумаем», — думал он, глядя на Хину.

Ночевали ребята в большой, плохо протопленной комнате общежития Совпартшколы. Курбатов накрылся шинелью, кое-как согрелся и заснул. Проснулся он от истошного крика уборщицы, тети Нюши. В окна комнаты проглядывал еле заметный рассвет. В сизых его сумерках Яшка увидел крестящуюся старуху и какого-то парня перед ней; парень, заметив, что ребята проснулись, махнул рукой и пулей выскочил из комнаты. Курбатов узнал его: это был прибывший одним из первых совпартшколец Иван Галкин, пастух из деревни Авнеги. О случае с Ваней Галкиным тетя Нюша рассказывала потом так:

— Начальство вчера приказало мне: «Ты завтра пораньше печи протопи, а то учеников много приедет». Встала я чуть свет, к печкам дров наносила и стала растоплять. Одну растопила — ничего, вторую — тоже. Стала я это третью печь растапливать, а дверка у нее была открыта. Начала я тут поленья пихать, а они во что-то уперлись и не лезут. Слышу, в печи чего-то завозилось.

Милые мои! Я так и обомлела. Гляжу, из дверки-то ноги вылезают. Я совсем как каменная сделалась. А он лезет и лезет, и голова мохнатая, а кругом, как венчик, волосы кольчиками вьются. Вылез это он, встал и такой большущий мне показался. Стоит надо мной, наклонился да этаким хриплым, как хрюк у свиньи, голосом и спрашивает: «Тетка, — говорит, — как на двор выйти?» А я-то с перепугу ничего не понимаю. Глянула на него: и — батюшки светы — рожа-то вся черная, а глаза огнем сверкают. Мне показалось, вроде как и рога у него на лбу. Я и завопила. Воплю, да то себя, то его крещу. «Свят, свят, — говорю, — исчезни, нечистик, скрозь землю провались!» А он стоит хоть бы что да буркалы свои на меня пялит. «Ништо мне это, — говорит, — бабка. Партейный я». Тут я и запела не своим голосом: «Да воскреснет бог и расточатся врази его».

Случай же был простой. Ночью Галкин промерз до костей, попрыгал, устал и не согрелся. Тут-то он и сообразил, что печь в комнате еще не остыла, залез в нее, скрючившись, и уснул. Когда же он вылез, весь в золе, перемазанный сажей, ничего не было странного в том, что старухе и впрямь померещилось.

Утром приехало сразу человек пятьдесят. Общежитие преобразовалось, — в его больших комнатах стало теплее и уютнее. Посередине комнат стояли длинные, грубо сколоченные столы, и уже к вечеру за ними плотно сидели, склонив головы, курсанты, лихорадочно читали, готовясь к предстоящим проверочным испытаниям.

Особенно беспокоили всех испытания по русскому языку. Мало было таких, кто чувствовал бы себя уверенно. Большинству приехавших больше приходилось писать ручником да зубилом, сохой по земле или винтовкой.

Экзаменационная лихорадка сменилась тяжелой, с непривычки, усталостью. Галкин, в общем-то начитанный паренек, хотя и прошел по конкурсу, но жаловался:

— Ей-богу, братцы, если так и дальше дело пойдет — махну в деревню коровам хвосты крутить.

Заведующий Совпартшколы, Иван Силыч Зайцев, услышав это, пообещал:

— Дальше еще круче будет.

Как и предполагал Курбатов, Хину Кораблеву даже не допустили до экзаменов. Не предполагал он другого — того, что эта забитая, испуганная и поэтому всегда спокойная девушка сможет устроить самый настоящий скандал — да с требованием, с угрозами дойти «до самого главного», со слезами и твердым убеждением, что «все вы тут сговорились». Минут двадцать из-за дверей кабинета заведующего до курсантов доносились громкие

голоса: наконец двери отворились, и Зайцев, красный, какой-то растерянный, вышел из комнаты.

— Ладно, ладно, чего-нибудь придумаем! — крикнул он через плечо. В коридоре он увидел группу ребят и улыбнулся им как-то растерянно.

— Ну и чертова девка, совсем извела! Грамотная, как семь с половиной лошадей, а вот смотри — аж в пот вогнала. Кончит ликбез — обязательно возьму в школу: люблю боевых.

Хину устроили в кружевную мастерскую и зачислили в ликбез. Курбатов радовался, встречая ее: день ото дня девушка переставала напоминать ему маленького, насмерть перепуганного жизнью зайчонка.

* * *

Хотя испытания остались позади, занятия долго не начинались: то не было книг, то преподавателей; и Зайцев, взяв с собой трех ребят, в том числе и Курбатова, с утра до вечера объезжал город в дребезжащей, словно готовой рассыпаться на ходу, пролетке.

В разных концах города, возле крытых ларьков, торговали книгами букинисты. Как правило, это были чистенькие, аккуратные старички, в прошлом учителя или библиотекари, страстные книголюбы, но люди, словно бы прилетевшие с другой планеты, и книги они продавали тоже какие-то аккуратные, но никому уже не нужные, «Тарантас» графа Сологуба или «Сочинения Сергея Аттавы». Букинисты жаловались:

— Сквозной народ теперь пошел. Никакого уважения к святыням. Сологуба в убыток продаю, а они и даром не берут. Подавай им Маркса, Энгельса и Ленина. Я говорю им: «Достолюбезные граждане, вот возьмите — уверяю вас, плакать будете — „Петербургские трущобы“ Всеволода Крестовского. Кровью писал человек. Поверите, перечитываю в который раз и все нутро мое клокочет благоденственными словами».

Ребята возвращали ему пахнущий бумажной плесенью томик.

— Нет, не нужно. А «Государство и революция» найдется?

— Извиняюсь. Вы поройтесь сами, поищите; что надо — у меня все есть.

Старичок надевал на свой синежильный нос перевязанные ниточкой очки в черепаховой оправе и начинал читать корешки своих книг.

— А вот-с извольте: Брешко-Брешковский. Возьмите?

— Нет, тоже не надо…

Старичок обиженно говорил:

— Извиняюсь, вы очень капризны.

Они возвращались из этих поездок с ворохом брошюр, книг новых или разлохмаченных, отпечатанных на серой бумаге, из которой торчали чуть ли не целые щепки: более сносной бумаги в республике не было.

3. Первые дни занятий

Наконец подошел первый день занятий. В расписании, вывешенном еще накануне, стояло загадочное и одновременно немного скучное слово: «беседа». Галкин, изучая расписание, покривился.

— Мораль будут читать. Учитесь, детки, постигайте. На вас вся Европа и Азия смотрит. А я всхрапну часок.

Курбатов, перебирая сшитые нитками чистые тетради, не заметил, как открылась дверь и в класс вошел Григорий Иванович Данилов. Секретаря губкома партии Яков не видел давно и сейчас с каким-то новым интересом разглядывал крупное лицо Данилова. Он заметил, что тот постарел, даже потемнел как-то, и только глаза у него по-прежнему живые, с хитрым огоньком.

Данилов, поздоровавшись, прошел к учительскому столу, оглядел комнату и одобрительно качнул головой.

— А ничего хоромы. Только вид у вас всех какой-то такой… Не очень радостный вид, прямо скажем. А, и Курбатов здесь! Тебя что, уже в партию приняли?

— В кандидаты, — ответил смущенный этим вниманием Курбатов.

Данилов снова одобрительно кивнул, а потом хмыкнул то ли удивленно, то ли с досадой:

— Вот ведь как время бежит — и не замечаешь.

Он внимательно осмотрел каждого, и ребята невольно подтягивались под его пристальным взглядом. Вдруг Данилов тихо и как-то совсем буднично сказал:

— А я, товарищи, только что в Доме крестьянина был. Никто из вас не заходил туда? Зря, обязательно сходите, послушайте, очень интересно… Крестьян полно; в одном углу юриста обступили, в другом лекцию слушают. В общем, мужик всем интересоваться стал. Зашел я было в одну комнату… Сидит на топчане дед с эдакой седой бородищей, в лаптях и онучах. Спрашиваю его: «Откуда, дед? Зачем пожаловал?» А он мне отвечает знаете как? «Беспрекословно. Из-под Высоковского я… С Усть-Кубины. Пришел пешечком, пенсию себе хлопотать; потому, вижу, старость приходит, а с ней беспрекословно многие болезни, вредные для меня». — «Кто же тебе, дед, пенсию хлопочет?» — «Да юркий, чернявый такой… Извиняюсь, не выговорить… Юра… Какой-то консюлом прозывается». — «Юрисконсульт, что ли?» — «Во-во. Этот самый… Прости ты меня грешного, опять забыл… На городские-то слова язык туго ворочается».

Поговорил я еще с дедом и пошел дальше. В другой комнате

второй дед. Но этот уже середнячок. В сапогах, волосы под горшок острижены, усы и борода аккуратные. Видно, с хитринкой дедка. Спрашиваю — откуда и зачем. Дед, оказывается, по железке с Вожеги приехал и сразу по двум делам. Во-первых, он посчитал, что на него налог неправильно наложили. Надо 13 рублей 70 копеек, а наложили 15 рублей 90 копеек.

Вот он — середнячок. У него каждая копейка на счету. Он свое хозяйство рачительно ведет и думку думает, как бы в зажиточные выбраться. Во-вторых, дед к «дохтору» приехал: чего-то в пояснице у него, как цепами молотят.

Спрашиваю у деда, как в деревне живут. Он мне так отвечает: «Живем — не тужим, бар не хуже; они на охоту, мы на работу; они спать, а мы опять. Они выспятся да за чай, а мы цепами качай».

Я говорю ему: «Что ты, дед! Бар-то ведь давно нету». — «Старые, — говорит, — баре провалились, новые вместо них народились». — «Кто же эти новые баре, дед?» — «Кто, кто? А рабочие, городские, — вот кто». — «Да какие же это баре? Они не меньше тебя работают». — «Говори!.. По восемь-то часов. Разве это работа? А мы от зари до зари».

Чувствуете, товарищи, как кулацкое влияние сказывается? Это кулачок хочет вбить клин между рабочим классом и середняком. А нам середняк вот как нужен.

Данилов провел ребром ладони по горлу. Курбатов покосился на Галкина, сидевшего рядом. Тот слушал секретаря губкома с какой-то недоверчиво-ехидной улыбкой, и Курбатов поморщился: «Не верит, что ли?» Наконец Галкин, не выдержав, спросил, перебивая секретаря:

— А на кой бес он сдался, середняк? Я, между прочим, сам из деревни; мне в Дом крестьянина вроде бы и не к чему идти, так вот неясность у меня: зачем нам середняк-то нужен. То же кулачье, только добра поменьше, а жадности побольше.

Данилов круто повернулся к Галкину. Он смотрел на него долго, так, что тот первым отвел глаза.

— Всем понятно или объяснить? — так же тихо спросил Данилов и, не дожидаясь ответа, начал объяснять одному Галкину.

— Ты, наверно, только достаток и видел у середняка. А того не заметил, что середняк в нынешней деревне — сила, большая сила. Без середняка нам туго придется. К кулаку пойдет середняк — у нас больше врагов станет; к бедняку — легче с кулаком разделаться.

— От добра добра не ищут, — усмехнулся Галкин. Усмехнулся и Данилов.

— Вот ведь ты какой упорный. Не веришь. Сам обмозгуй на досуге, а поймешь — самому легче работать станет.

Галкин, пожав плечами, сел поудобнее; его, казалось, заинтересовала эта беседа, на которой он собирался всхрапнуть. А Данилов, расхаживая вдоль стены, говорил уже о другом, медленно, словно обдумывая каждое слово, прежде чем сказать его.

— …Вы уже знаете, что́ происходит в стране. И какие задачи перед партией и государством стоят, тоже знаете… А вот хотя бы наша губерния: крестьянская, большая… Хозяйство сложное. Но главная особенность сейчас та, что в деревне идет жестокая классовая борьба. Мы опираемся на бедноту, боремся с кулаком, и это ведь борьба за влияние на середняка, который, как ввели нэп, еще больше колеблется. Мироеды и хотят перетянуть середняка на свою сторону. Мы же с вами социализм ведь не только в городе должны строить. В городе строить легче. А вот бороться за социалистическое преобразование темной, неграмотной, убогой русской деревни куда сложнее. Поэтому нам и не безразлично, с кем пойдет середняк. С рабочим классом — значит, в фарватере социализма, за кулаком — значит, в фарватере капитализма.

Потом Данилов говорил о новых кадрах, о молодых специалистах, и Курбатов даже думать забыл о Галкине. Когда же секретарь губкома, простившись, ушел, Галкин зевнул, потягиваясь.

— Ну, начнем благословясь. Жрать вот только охота. После занятий пойдешь на рынок. Я тебе одну штуку покажу.

Курбатов не расслышал его. Все, что сказал Данилов, было для него новым. То, что, по всей видимости, после Совпартшколы придется ехать в деревню, в сельский район, было уже известно, и Курбатов особенно прислушивался ко всему, что касалось деревенских дел.

Прежде чем пойти на рынок, Курбатов зашел в соседнюю комнату за товарищем по фамилии Горобец. Тот сидел на кровати, до пояса закутавшись в одеяло.

— Ты чего сегодня, Петро, дома, а не на лекции?

— Та дежуре, — ответил парень с густым украинским акцентом: сюда его завели из-под Полтавы сложные пути.

— Где дежуришь? По общежитию, что ли?

— Та ни. У себя у комнати.

— А что ты здесь делаешь?

— Сижу, та и все, — ответил Горобец.

— Да зачем сидишь-то? — не понимал Курбатов.

— А що мени робыть? Босый та без штанив, куда я пийду?

— То есть как без штанив?

— А так, без штанив. Бо не уси наши хлопцы мают ладни штани и обутки. Ну, значит, мы и ходимо по очереди.

Лишних штанов ни у кого не нашлось; пришлось идти на базар вдвоем с Галкиным, и Курбатов впоследствии пожалел об этом.

Впервые за все это время ему удалось увидеть Галкина таким, каким он был. На руках у Галкина были деревенские вязаные варежки. Проходя мимо женщины, торговавшей монпансье, Ваня хлопнул поверх конфет и спросил: «Сколько стоит». Та ответила, подозрительно оглядев покупателя.

— Дорого дерешь. Пойдем дальше, может, там дешевле.

Отойдя, он протянул Курбатову варежку: «Посмотри теперь». Курбатов увидел на варежке штук пять или шесть прилипших леденцов.

С продавцами махорки он поступал иначе. Махорка продавалась рассыпная, в мешках. Меркой был граненый стакан. Галкин подходил и спрашивал — почем. Ему отвечали. Галкин говорил: «Давай попробую», — свертывал из газетной бумаги цигарку толще пальца, прикуривал, затягивался и, скорчив гримасу, плевался: «Затхлая, не годится». Так он проделывал много раз, и всякий раз находил махорку то мокрой, то некрепкой, то горлодером. Но, отходя от очередной владелицы махорки, он высыпал содержимое цигарки к себе в карман. Через какое-то время у него скапливалось курева дня на четыре-пять.

Курбатов, которому все это поначалу показалось забавным, неожиданно подумал: «А ведь нехорошо. Мелкое, но все же мошенничество».

— Слушай, хватит… Брось ты эти свои штучки… Чем ты сейчас от любого мошенника отличаешься?

Галкин широко раскрыл глаза:

— Что ты, Яшка! Чего ж тут такого? Мы не у государства, не в кооперации, а у спекулянтки, у частников… Я, может, этой своей цигаркой частника подрываю.

Курбатов нахмурился и остановился, выругав себя за то, что сообразил все это слишком поздно.

— Нет, неправильно. Все равно это мошенничество. Частника подорвать захотел! Не так его подрывают. А сюда я больше не ходок.

Галкин неожиданно вспылил:

— Ишь ты, ортодокс какой. Да я не меньше тебя понимаю, ты меня не учи. «Мошенник, мошенник»! Черта с два я тебе теперь покурить оставлю или ландринину дам. Накося…

Курбатов не ответил — повернулся и ушел домой один.

Вечером, играя с ребятами в шашки, он прислушивался к тому, как заведующий Совпартшколой разговаривает с курсантами. Обычно такие разговоры были теперь каждый вечер: Иван Силыч знакомился с ребятами. До Курбатова донеслось:

— У меня и дед, и батька коровам хвосты крутили. Умею — лучше не надо.

— Значит, сельский пролетарий?

— Так точно. Еще больше, чем пролетарий: до четырнадцати лет штаны не носил: не было. В одной длинной рубахе коров гонял. Ну, а когда девки надо мной по всей деревне смеяться стали, так батя свои штаны отдал… Только чего на них больше было — дыр или заплат, — не помню.

Кругом смеялись, а Курбатов, нахмурившись, сделал вид, что думает над ходом. Что-то неприятное, отталкивающее виделось ему сейчас в Галкине: и то, как он спорил с Даниловым, и как рассказывал сейчас о себе, и как вел себя на базаре. «Может, не надо так строго судить? — подумалось ему. — Пройдет время — поумнеет, перемелется… Так-то говоря, что он до сих пор видел?» И все же ощущение чего-то неприятного не проходило.

4. «Дурак Галка»

Наконец жизнь в Совпартшколе вошла в свою, ставшую уже привычной, колею. И незаметно оказалось, что учиться не так-то уж трудно; снова вернулась прежняя бодрость, чаще слышался смех, даже стали поговаривать, что Галкин влюбился в какую-то нэпманшу. В самом деле, вечерами Галкин куда-то исчезал и возвращался тайком, поздней ночью, сопровождаемый ворчанием тети Нюши.

— Ах ты, черт!.. Гуляешь все, вельзевул. Ну, ступай спи — дело ваше молодое.

Наутро Галкин еле поднимался; глаза у него были сухие и красные. Когда ребята начинали подтрунивать над ним, он смущенно разводил руками: «Что ж поделаешь, ребята, такая уж природа…»

Потом стал пропадать курсант Митя Чубуков. Вместе с ним уходил киргиз Мухаметдинов. Возвращались они все вместе, и однажды Курбатов, не выдержав, спросил:

— Да что вы все, за одной ухаживаете, что ли?

— Зачем ухаживаем? — ответил Мухаметдинов. — Мы учиться ходим. Каменский учит — мы слушаем. Приеду домой — ай-яй-яй какой умный приеду. Как аксакал.

Курбатов насторожился. Тем более что он заметил, как Галкин толкнул Мухаметдинова в бок: жест, должно быть, означающий — помолчи, не болтай лишку. Насторожился он еще и потому, что о Каменском, читавшем в Совпартшколе историю партии, говорили, что он был в оппозиции.

Галкин понял, что тайна открыта, и деланно рассмеялся.

— Ну да, аксакал. По складам читать научиться бы нам с тобой — и то хлеб.

— Чему же он вас учит, Каменский? — поинтересовался Курбатов, стараясь казаться равнодушным.

— Да всему… Книги читаем. Достоевского он очень любит — читаем вслух.

Однако после этого исчезновения ребят прекратились, а Каменский разговаривал с Курбатовым подчеркнуто-любезно. «Рассказать Ивану Силычу про эти занятия? — думал Курбатов. — А зачем? Чего здесь плохого? Только почему все это в тайне от других?» Он молчал и молчал до тех пор, пока к нему не подошел Мухаметдинов.

— Слушай, Курбат, объясни… Совсем башка пустой стала… Объясни, пожалуйста, почему это мы социализм у нас не построим? А если я хочу строить, тогда что?

— Да кто тебе сказал, что мы не построим?

— Галка говорит… Он умный мужик. А ему Каменский сказал. А я не понимаю. Зачем не построим? Зачем тогда революцию делал?

Курбатов нахмурился. Вечером, подойдя к Галкину, он спросил его в упор, глядя сверху вниз:

— Слушай, что это ты болтаешь, парень? Почему это мы социализм не построим?

Галкин пожал плечами, отворачиваясь.

— Это только гипотеза… Есть много pro и contra, то есть «за» и «против». Могу пояснить.

— «Контра», — усмехнулся Курбатов. — Ах ты кулацкая душа! Да что ты знаешь, что ты в жизни видел? Теоретик сопливый! Да мы…

Курбатов поднялся; вскочил и Мухаметдинов. Они вышли из общежития; и, только очутившись на улице, Курбатов почувствовал, как у него ноют зубы — так он стиснул их.

— Дурак он, Галка!.. Ой, дурак!.. — коверкая слова, быстрой скороговоркой повторял Мухаметдинов, — Я приеду — всем расскажу… Нельзя такой дурак учить, бить надо такой дурак.

Курбатов шел, глубоко засунув руки в карманы куртки. У него было такое ощущение, будто он притронулся к чему-то скользкому, неприятному, холодному. «Член партии… — мучительно думал он. — Как же так, как же? Хотя… Трохов ведь тоже был большевиком… Потомственный пастух. Кто научил его всему этому?»

Когда он вошел к Зайцеву, тот сидел, читал какую-то бумажку и быстро спрятал ее в стол.

— А-а, это ты? Садись.

Он потер ладонями глаза и, вынув из стола бумажку, положил перед собой.

— Вот что, товарищ Курбатов… Тут из губкома пришло письмо. Данилов требует, чтобы мы сообщили официально, как преподает Каменский. На почитай…

Курбатов, прочитав скупые строки запроса, отложил бумажку и, глядя Зайцеву в глаза, ответил:

— Я бы Каменского к нам даже истопником не взял. И, если надо, я сам пойду к Данилову. Слышали бы вы, что Галкин говорить начал…

5. Секретарь райкома комсомола

Каменского в Совпартшколе больше не видели. Произошло это как-то незаметно, и вместо него лекции по историй партии начал читать Зайцев. Ребята вздохнули: пусть заведующий читал скучновато, но зато все было ясно, просто, без выкрутасов… После его лекций не надо было еще часами ломать голову над тем, в чем же была сущность разногласий между Лениным и Мартовым и почему Владимир Ильич, высоко ценивший вклад Плеханова в марксизм, разошелся с ним впоследствии как раз по основным вопросам марксизма…

Казалось, не будет конца учебе: каждый день открывал что-то новое, еще не известное; и Курбатов, вчитываясь в ленинские строчки, находил там снова и снова такое, что сразу же становилось близким его сердцу и оставалось там навсегда.

Но однажды вместо Ивана Силыча в класс снова вошел Данилов, а Зайцев, мелькнув в дверях, ушел. Данилов, как и тогда, осмотрев ребят, улыбнулся.

— Ну, как? Выросли, поумнели? Суть постигли поглубже или глубже копнули? А я вот грешен, уже забывать кое-что стал, снова садиться за книги надо… Ведь мы всю науку по тюрьмам проходили…

Он прошелся мимо столов и, поглядев в окно на улицу, повернулся.

— Словом, прощаться нам пора, товарищи. Губком решил ускорить выпуск. Нам очень нужны люди.

И повторил, словно бы в раздумье: «Да, нет людей-то, а они нам нужны…» Сначала никто не понял, что сказал Данилов, а потом все заговорили разом, перебивая друг друга; и Данилов, стоя у окна, наблюдал. Такого оживления у курсантов давно не было. Секретарь угадал чутьем: сейчас они рады, несказанно рады тому, что наконец-то начнется работа, по которой все стосковались. «Рановато радуются, — с неожиданной грустью подумал секретарь. — Хлебнут еще шилом патоки».

На Данилова уставились десятки выжидающих глаз. Он шевельнул густыми колючими бровями.

— Вот о чем надо нам сегодня поговорить, товарищи… О том, что у нас нынче происходит. О жизни поговорим… О той, которая не в пивных да на базарах идет (он кинул короткий и чуть насмешливый взгляд на Галкина), а о настоящей жизни…

И, по привычке расхаживая между столами, он начал говорить как-то необычно, по-домашнему, так, что все поняли: он говорит сейчас о самом главном, о своем и общем, а потому и

сокровенном; говорит, как и положено говорить коммунисту с коммунистами, не тая и не изменяя ничего.

— …С молодежью придется вам больше работать. Политически отсталая ее часть все еще не может понять и примириться с новой политикой партии. Есть отдельные случаи, что даже рабочая молодежь выходит из комсомола. Отдельные комсомольцы направляют свою энергию на гульбу да хулиганство. Все это нужно учесть тем, кто пойдет на комсомольскую работу. Мне кажется, что у нас в комсомоле насчет методов работы не все продумано. Не всегда мы умеем заинтересовать молодежь делом и воспитывать на этих делах. Видимо, здесь что-то надо подправить. Молодежь не в пивные должна идти, не на вечеринки, а должна идти в наши клубы, в которых пока от скуки мухи и те дохнут.

…Как видите, задачи у вас большие. Но, когда ясна цель, когда мы правильно организованы, для нас нет невыполнимых задач. Нет предела силе человеческой, если эта сила — коллектив. Никогда не вините обстоятельства в своих неудачах, а вините только себя. Не успокаивайтесь, не остывайте, не старейте душой. Будьте всегда целеустремленны, не позволяйте, чтобы вас захлестнула текущая работа. Но не относитесь высокомерно к черной работе и к «мелочам». Из мелочей и крупные дела вырастают. Вникайте во все сами, серьезно анализируйте факты. К сожалению, у нас есть немало таких руководителей, которые не вникают, не анализируют происходящие внутренние процессы, пока обстоятельства не ткнут их носом. Такие могут лишь загубить дело. А нередко и мы допускаем ошибки в подборе людей. «Авось вытянет, вроде парень неплохой» — у нас еще это играет не малую роль.

Он замолчал, словно вспоминал, что еще хотел сказать, но, видимо, так и не вспомнив, кивнул головой.

— Вот вроде бы и все…

* * *

Казалось, этого дня все ждали с таким нетерпением, а прощаться было грустно. Мухаметдинов, добрых полчаса тиская Курбатова своими смуглыми сильными руками, быстро говорил что-то по-своему, и Курбатов вырывался, шутливо ругаясь: «Да уйди ты, шайтан!» Потом, отдышавшись, спросил:

— Куда ты сейчас поедешь? Где своих найдешь?

— Перебылызытельно искать будем.

Оказывается, чтобы найти свое кочевье, он должен

«перебылызытельно» отмахать сотни верст, расспрашивая кочевников, куда ехать.

Галкин прощался с ребятами сдержанно, с достоинством; ему простили все грехи и назначили в экономический отдел губкома комсомола. Надо думать, он завидовал Курбатову. Тот ехал секретарем райкома комсомола в Няндому…

Узнав об этом назначении, Курбатов разволновался так, что первой мыслью было: просить о чем-нибудь полегче. «Справлюсь ли? А если нет?.. Как это говорил Данилов? „Авось вытянет, парень вроде бы неплохой…“ Ну и попроси чего-нибудь полегче, чего ж ты…»

Зайцев, словно угадав состояние Курбатова, спросил, обняв его за плечи:

— Что, страшновато?

— Страшновато, — сознался Курбатов.

— А знаешь, — задумчиво сказал Иван Силыч, — мне в восемнадцатом году полк дали… Целый полк. Понимаешь, как мне-то страшно было? За тысячи жизней в ответе…

И закончил, словно сам удивляясь происшедшему:

— И ведь ничего — вытянул.

6. «Нужно все перевернуть»

Как странно порой складывается жизнь!

Три года назад, глядя из окошка поезда на темный перрон, на далекие огоньки, на унылое, грязное здание няндомского вокзала, Курбатов не мог даже предполагать, что ему придется работать здесь. И сейчас, сойдя с подножки поезда на ту же самую платформу, он увидел знакомое здание станции и те же мерцающие огоньки вдалеке; поезд прогудел и ушел, оставив за собой теплый запах влажного кокса. Курбатова никто не встречал, и он был даже рад этому.

С чемоданом в руке он спустился с перрона и, оглядевшись, пошел по улице, еще не зная, где райком. В губкоме ему объяснили, как пройти туда, но он волновался, думал о другом и не расслышал половины этих объяснений. Сейчас спросить было не у кого: улица лежала перед ним тихая, безлюдная, будто вымершая, и только где-то далеко-далеко на разные лады заливались собаки.

Ночь была лунной, и густые черные тени заборов, деревьев, домов лежали на серебряной, припорошенной первым снегом земле.

Курбатову припомнилось другое. Там, в губкомоле, ему сказали так:

— Едешь на голое место. Есть человек триста комсомольцев, здание райкома тоже есть, но никто ничего не делает и не знает, как и что делать.

Из-за поворота, покачиваясь, вышли двое. Они что-то бормотали, придерживая друг друга; ноги у них заплетались. Курбатов не любил пьяных; эта нелюбовь оставалась у него с детства, когда он из угла смотрел испуганными глазами на бушующего дядю. Но ведь надо было кого-то спросить, где райком, и он окликнул одного из гуляк, как ему показалось, менее пьяного.

Тот недоуменно поглядел на Курбатова.

— А на что тебе?

— Так, по делу надо.

— По делу, так и ступай… Может, ты сюда работать приехал?

— Да. В комсомол…

— А, ну тогда валяй, работай. Только зря хлеб жрете, вот что я тебе работничек, скажу…

— Почему?

— А потому, — пьяный неожиданно зарыдал, рванув свободной рукой ворот свитера. — Кровь мы за что проливали, а?

Опять брюханы с цепочками через все пузо пошли? Частных лавочек кто пооткрыл, а? Эх, вы!..

Он выкрикнул это тоскливо и, выругавшись, снова пошел, шатаясь, с обвисшим на плече молчаливым приятелем, так и не показав, где же все-таки райком. Парень был молодой, и Курбатов невольно подумал: «Может быть, комсомолец? Как это он сказал: „Брюханы с цепочками… За что кровь проливали…“ Не понимают новой политики партии, злобятся, пьют… Да, действительно — на голое место приехал. Но ведь не все же так».

Через час он разыскал райком. В окнах серого бревенчатого здания не было света, и Курбатов, поднявшись на скрипучие ступеньки, долго чиркал спички, чтобы найти хоть какой-нибудь звонок. На стук никто не отвечал. Он уже отчаялся было достучаться, как там, за дверью, раздались хлопающие шаги.

— Кто там?

— Откройте, пожалуйста.

— Кто это?

— Курбатов, новый секретарь райкома.

Негромко зазвенели какие-то многочисленные задвижки и цепочки; наконец двери распахнулись, и Курбатов, шагнув в сени, увидел зябко поеживавшегося паренька в накинутом на плечи полушубке. Тот держал в руках «летучую мышь»; в сенях пахло керосином и кислой овчиной.

— Мандат есть? — спросил паренек.

— Есть. Может быть, сначала в комнату проводите?

— Идите, — зевая, ответил тот: у него получилось «Ыыте».

Курбатов вошел в большую, холодную, нетопленную комнату, заставленную столами и шкафчиками. При неверном свете фонаря он разглядел поблескивающую по углам изморозь, окна, словно покрытые куриными перышками, выцветший плакат во всю стену: «Ударим по старому быту» и, наконец, заспанное лицо открывавшего ему паренька.

— Ты что, живешь здесь?

— Нет, дежурю. Так вы давайте мандат… на всякий случай.

Курбатов, улыбнувшись, достал свои документы. Хорош дежурный! Он все кулаки отбил, прежде чем достучался. Такого дежурного можно вынести со всеми потрохами — и не разбудить.

Дежурный внимательно посмотрел документы и, возвращая их, отрекомендовался:

— А я — Уткин Иван, член бюро райкомола.

— Вот как! — обрадовался Курбатов. — А работаешь где?

— В депо. Да вы садитесь, располагайтесь. Я сейчас дров принесу…

Через полчаса они вдвоем сидели возле печки, смотрели, как

в черные трубочки сворачивается береста, как шипит на поленьях вода.

И Курбатов слушал негромкие, какие-то, пожалуй, даже тоскливые слова Уткина:

— Девать себя некуда. Вот только в компании, в буфете за пивом и находят себя ребята. В комсомоле у нас скучно. Мы уже квалифицированные рабочие; некоторые помощниками машинистов работают. Вот я чувствую, что и я себя не нашел. Скука — она как червяк сосет.

— Чем же все-таки молодежь занимается? — спросил Курбатов.

— Многие семейные вечерухи с выпивкой устраивают. Что там иногда бывает, рассказывать тошно. Зимой одна комсомолка повесилась после этих вечерух. В комсомоле у нас нынче только треплются, а дела не видно. Скажи — разве хорошо, что комсомол не помог той же девушке, даже морально не поддержал ее? А об этом и секретарь райкома знал, что нелады у девчонки.

— Конечно, плохо, очень плохо, — задумчиво ответил Курбатов.

— Видишь, и ты говоришь «плохо». Так зачем такой комсомол нужен? Мы все не знаем, куда себя девать. И так-то в глуши живем, ничего не видим. Молодежь потому и гулять ходит на станцию, что там хоть новые лица в поезде видит. Ничего у нас нет. Клуба нет. Учпрофсож давно обещает пригласить инструктора спорта, да одними обещаниями и кормит. Все треплются. От этого еще хуже: ребята никому не верят, особенно таким приезжим, как ты. Некоторые уже из комсомола выходят. Да, по совести, и мне неинтересно стало… Гоняюсь за ребятами, чтобы членские взносы платили. А это разве дело?

Курбатов смотрел на огоньки, перебегающие по поленьям, и ответил не сразу.

— Все это ты верно говоришь, Ваня. Такое положение не только здесь. А работать все-таки нужно. Нужно здесь все перевернуть. Райком не будет проводить старую линию. И перевернуть все надо так, чтобы в комсомоле каждому парню и девушке было интересно.

Уткин смотрел на Курбатова с нескрываемой усмешкой, а потом резко сказал:

— Брось трепаться-то, товарищ секретарь. И до тебя все так говорили. Все вы, активисты, трепачи. Вы только циркуляры писать можете: «Усилить, оживить, улучшить и принять меры». Знаю я, мне управдел райкома жаловался, что за три месяца из губкомола сто циркуляров пришло.

— Это ты тоже, пожалуй, правильно говоришь. Только учти,

что циркуляры и хорошие есть, их выполнять надо.

Курбатов поглядел на кислую физиономию Вани и неожиданно расхохотался:

— Ой, член бюро! Так-то ты мне помогать думаешь? Ну, вот что: когда я буду делать не то, ты мне честно об этом скажешь. По рукам? Мне, брат, твоя помощь вот как нужна.

— Что я-то один сделать смогу? — кисло ответил Уткин. — Хочешь, завтра после работы я к тебе ребят в райком приведу? Ты поговори с ними. Только знаешь, не загибай — попроще и прямо. Много им не обещай. А то вдруг скексуешь или кишка v тебя тонка окажется — противно будет…

Курбатов, соглашаясь, кивнул.

7. Первые знакомства

Хотя всю прошлую ночь он не спал, ему не спалось и сейчас. Вместе с Уткиным он сдвинул два стола, постелил тулуп, накрыл его своей простыней и лег, стараясь как можно плотнее подвернуть под себя со всех сторон полы наброшенной сверху шинели. Уткин спокойно посапывал на соседних столах, а Курбатов глядел на раскаленную до вишневого цвета дверцу печки и уснуть не мог. Глаза ему словно бы натерли песком — их больно было закрыть…

«Так дальше нельзя, — думал он. — Тоска появилась… Все ребятам уже надоело; они не верят, что можно жить иначе. Формы комсомольской работы надо изменять, приспосабливать их к потребностям молодежи — об этом все говорят… Внести в них политическое содержание… Как все просто на словах!.. Таким образом молодежь в делах и будет воспитываться. Культурничество? Вот так и можно увязать политику и культурничество. Как об этом „Комсомолка“ писала? Завтра вспомнить надо…»

Днем Уткин привел в райком ребят и познакомил с ними Курбатова. Были тут Алеша Попов, Кузя Лещев, Шура Маркелов, Тося Шустрова и Ваня Иванов — Карпыч, как звали его ребята. Все не торопясь расселись по скамейкам.

— Начнем? — спросил Курбатов.

— Что, опять под протокол? Тогда мы и говорить ничего не будем. Нам сказали, что ты с нами познакомиться хочешь, а выходит — пришли и сразу на совещание нарвались. Уж лучше мы по домам пойдем.

Курбатов, коротко рассмеявшись, качнул головой:

— Никакого совещания у нас нет и протокола тоже. Ведь знакомиться — это не значит сидеть да смотреть друг на друга и молчать.

— А ты и не загинай, — буркнул Карпыч. — Этим нас не купишь. Говори прямо: зачем мы тебе понадобились?

Теперь Курбатов ответил резко: он совсем не думал подлизываться к ребятам.

— А ты не шуми здесь. Не знаешь, о чем будет речь, и за всех не говори. Другие, может, и не по-твоему думают. Тебе неинтересно — мы тебя не держим.

— Давай выкладывай, что там у тебя, — уже примирительно сказал Карпыч, отворачиваясь от злого взгляда Курбатова.

И хотя Курбатова предупреждали, что будет трудно, и не просто трудно, а тяжело, но меньше всего он ожидал таких

разговоров и такой первой встречи с комсомольцами. Что это: недоверие к новому секретарю или больше — неверие в то, что комсомол может и должен быть живой, деятельной, боевой организацией? Он не винил людей, сидящих перед ним: в конце концов они не виноваты. Но какой равнодушный человек был тут раньше — тот, кто развалил всю работу! За такое полагается не просто из партии гнать, но и судить.

Курбатов расстегнул дрожащими пальцами ворот гимнастерки; сразу же стало легче дышать. Он и не заметил, как Карпыч подошел к нему и, взяв за плечо, тревожно тряхнул несколько раз.

— Эй, секретарь, что с тобой? Может, воды дать, а? Ребята, да что с ним?..

— Ничего, — улыбнулся Яков. — Это у меня после ранения… Сейчас пройдет…

Он смущенно, будто извиняясь за что-то, провел рукой по коротко подстриженным волосам и, зябко передернув плечами, начал говорить:

— Так вот, собственно, что у меня… Спортивный кружок надо организовать в Няндоме — раз…

Ему не дали договорить, что же будет «два»: все загалдели, замахали руками, пытаясь перекричать один другого. Курбатов ничего не мог разобрать и напрасно пытался утихомирить расходившихся ребят. Они кричали каждый о своем:

— Какой там, к лешему, спорт, когда инструктора нет!

— А костюмы, а снаряды?

— Деньги нужны, а где их взять?

— Помещение…

Обо всем этом Курбатов уже знал. Этой бессонной ночью, подумав о спортивной работе, он также возражал сам себе, спорил с самим собой, и поэтому сейчас у него был готовый ответ.

— Инструктором буду я сам — кой-что смыслю в этом деле («Ого. Ай да секретарь!»). Костюмы — вещь нехитрая: у ребят — трусы, а у девчат — шаровары; как-нибудь раздобудут сами («Это верно»). Деньги? Устроим платный вечер — вот вам и деньги. Да еще и учпрофсож обещал дать немного. Помещения пока не надо, будем заниматься в райкоме, в соседней комнате.

— Вот это уже дело, — не удержался Алеша Попов. — Ты бы с этого и начинал, секретарь. Попробуем, ребята; может, что и получится? Только бы вот руководитель не подкачал…

…Они засиделись допоздна, обсуждая план работы. И по тому, как они прощались, крепко встряхивая руку Курбатова, он понял, что разговор прошел не зря, что первая искорка уже

заронена, что они пусть хоть немного, но поверили, и это хорошо, очень хорошо.

Карпыч уходил последним. У дверей он замешкался и, когда ребята вышли, прикрыл за ними дверь, потом потоптался на пороге и обернулся:

— Ты… вот что…

— Что?

— Я говорю, не дело тебе… здесь жить. Холодно и вообще… непорядок. У нас дежурные комнаты для машинистов есть, ровно гостиница. Мы потолкуем с начальником тяги.

— Спасибо.

— Ну, вот еще… А обедать там и прочее — семью подыскать надо, пусть берут тебя «на хлеба»…

Он хотел еще что-то сказать, но так и не сказал, ушел, на ходу нахлобучивая огромную, когда-то пушистую, а теперь драную меховую шапку.

Курбатов глядел на его блестящий от мазута ватник, треугольники кожаных «пяток», подшитых к валенкам, и внезапное тепло словно бы облило его. Ему захотелось догнать этого крикливого, задиристого паренька, схватить и, встряхнув так же, как тот встряхивал его, сказать… Что сказать? Да ничего особенного: сказать, что он, Курбатов, просто счастлив, что его прислали сюда, на это «голое место», которое вовсе не такое уж и голое…

8. Кажется, пошло…

Дня через три во всех ячейках состоялись открытые комсомольские собрания. Вместе с Лукьяновым, секретарем райкома партии, Курбатов пришел в депо и сидел в президиуме собрания, слушая, как, заикаясь и заплетаясь на каждом слове, Карпыч докладывает о спортивном кружке. Лукьянов тоже слушал; вдруг он толкнул Курбатова в бок и, хитро подмигнув, прошептал:

— Кажется, пошло, а?

— Кажется, — таким же шепотом ответил Курбатов.

— Только докладчик-то у тебя… Всю игру испортит. Давай-ка сам.

Курбатов выступил после Карпыча. Он повторил все то же, что говорил тот, только более связно. Его слушали внимательно; тихо было в холодном помещении депо, и Курбатов даже вздрогнул, когда из задних рядов донесся громкий голос:

— Я же говорил — свой парень.

На того зашикали, кто-то рассмеялся. Яшка увидел, что ребята выпихивают к столу президиума какого-то человека, а он упирается и отмахивается.

— Вы что, говорить хотите? — спросил он, мучительно вспоминая, где видел этот плотный широкий рот и вздернутый нос с широкими насмешливыми ноздрями.

— Хочет! — кричали из задних рядов. — У него идея есть. — Но тот так и не вышел.

Он подошел к Курбатову после собрания и, хлопнув по плечу, сказал:

— Здоро́во, братишка. Что смотришь на меня? Не узнал? Помнишь военмора Ивана Рябова с крейсера «Чесма»? Мы с тобой на этой станции познакомились. Я уже два года как демобилизовался.

Яшка, наконец, вспомнил и обрадованно схватил его за руки.

— Так ты что — здесь теперь?

— Да, здесь и якорь бросил. Я, брат, теперь к этому месту просмоленным концом пришвартован. Женился, работаю смазчиком. А по вечерам все больше с молодежью треплюсь, все еще не постарел и к спокою меня не тянет. Уж за это и жинка меня пилит, но ничего…

Он перевел дыхание, оглянулся и, оттащив Курбатова в угол, быстро зашептал:

— Давно у меня, секретарь, одна морская идейка есть. Здесь кругом воды много; можно бы нашу братву морскому делу

обучать. Ведь черт его знает, может, и пойдет кто-нибудь из них на флот; так надо, чтоб он не сопливым салажонком приходил, а хоть на шлюпке ходить мог. Я здесь и мастера нашел — берется шлюпки сделать. За одним дело — денег нет. Каждая — восемьдесят рубликов. Не шутка на новые-то деньги. На нашу братву штук пять надо иметь, да весла, да уключины, а это, почитай, полтысячи рублей.

Курбатов благодарно взглянул на него.

— Мы твое предложение на бюро райкома обсудим, ты и доклад сделаешь, — сказал он.

— Нет уж, уволь! — испугался Рябов. — Какой я докладчик! Я лучше дома палубу буду драить и в камбузе за жену управляться, чем доклад делать. Не могу я и не умею. Тебе все расскажу, а ты как знаешь.

Курбатов словно не расслышал его. Все в нем пело сейчас. Все складывалось к лучшему и, главное, шло не от него самого, а от ребят. Сейчас зима — ну так что ж; действительно это было бы здорово: спустить весной на озеро шлюпки. Рябов показался ему — как и Карпыч несколько дней назад — самым родным на земле человеком.

— На бюро-то я приду, — продолжал Рябов, — а уж доклад о шлюпках ты сам сделай. Ладно? Спортом я тоже заниматься буду и своего штурмана захвачу. Это я жену штурманом зову, потому как она курс моей жизни теперь прокладывает.

Ему надо было домой; они простились. Яков, шагая к райкому, прислушивался, как хрустит под ногами сухой снег, и внезапно вспомнил слова Лукьянова: «Кажется, пошло».

* * *

В конце месяца неожиданно ударили сильные морозы. Ветер сдувал и гнал сухую порошу, обнажая голую твердую землю. В ночной тишине оглушительно, подобно выстрелам, трещали деревья, и люди старались пересидеть этот мороз в теплых домах.

Конечно, нечего было и думать о каком-либо спорте. В райкоме тоже стоял мороз, хотя печки каждый день топились до белого каления. Из старого здания тепло уходило на улицу, и опять по углам проступал иней. Курбатов (он все еще ночевал в райкоме), просыпаясь, боялся вылезти из-под тулупа. Как-то утром, протянув руку к стакану с водой, он нащупал осколки: стакан разорвало льдом.

Но надо было вставать, одеваться, мыться, идти на улицу. Он и не предполагал, что сразу же начнется «текучка» — множество

на первый взгляд мелких, но всегда неотложных дел. В райком уже приносили заявления и жалобы; приходилось во всем разбираться самому. Лукьянов, особенно внимательно присматривавшийся к Курбатову, как-то вызвал его к себе в кабинет и, растирая красные от холода руки, сказал, будто бы обращаясь к ним, а не к Курбатову.

— У тебя сколько жил?

Курбатов промолчал, понимая, что секретарь райкома партии вызвал его не зря, но не мог понять, куда тот клонит.

— Почему ты все хочешь делать сам? А где актив? На одном спорте и даже шлюпках далеко не уедешь. А деревней кто будет заниматься? Думаешь, тебя в деревнях не ждут? Еще как ждут. Вот подумай-ка на досуге об активе…

Но «досуга» у Курбатова как раз и не было.

Его разбудили этой же ночью. Закрывшись тулупом с головой, он не сразу расслышал стук, а когда зажег свет, увидел, что дверь ходуном ходит от ударов.

— Кто там?

— Да ты замерз, что ли? — крикнули из-за дверей. — Скорее одевайся, беда!..

Он не почувствовал, как его обожгло морозом, когда вместе с Алешей Поповым выскочил из райкома. Попов бежал задыхаясь и сбивчиво объясняя, что произошло. Яков понял только половину, об остальном приходилось догадываться.

Станция и поселок снабжались водой от водокачки, которая подавала ее из озера. От водокачки до озера на десять километров тянулись уложенные в траншею трубы. Снега было немного, земля не грела, и километрах в восьми отсюда трубы лопнули. «Как стакан с водой», — на ходу подумал Курбатов. А Попов кричал сзади, что станция осталась без воды, что нельзя менять паровозы и скорый из Москвы уже стоит два часа…

Курбатов бежал к депо и только на полдороге подумал: а почему именно туда? Он ясно представил себе растерянных ребят, замерзшие паровозы и мысленно ответил: да, надо туда…

Лукьянов был уже на станции, когда Курбатов, запыхавшийся, красный, ворвался к начальнику тяги, впустив в комнату огромное белое облако морозного пара. Начальник сидел, обхватив голову руками, глубоко запустив пальцы в спутавшиеся волосы, и столько немого отчаяния было в этой неподвижной фигуре, что Курбатов поначалу опешил.

— Что случилось?

Начальник тяги поднял мутные глаза.

— Что случилось? — истерически крикнул он. — Да только то, что через сутки все здесь полетит к чертям. Что я — колдун?

Куда я буду ставить составы? Где я возьму воду?

— Да замолчите вы!.. — оборвал его Лукьянов. Курбатов подошел к секретарю райкомпарта и тихо, словно бы не желая, чтобы его кто-нибудь еще слышал, спросил:

— Что же делать?

Лукьянов ответил не сразу. Крупное, темное, в глубоких и резких морщинах лицо было напряжено, он морщился будто от боли и глядел куда-то в сторону.

— Несколько дней пробьемся, — наконец глухо ответил он. — Будем возить воду для паровозов из пруда.

— А потом? — снова закричал начальник тяги. — А потом что?

Лукьянов подошел к столу, поглядел на этого растерявшегося, обмякшего, готового зареветь человека и, перегнувшись, сказал почти шепотом:

— А потом… Потом я отдам вас под суд за панику. Вы поняли меня?

Взяв Курбатова под руку, он кивнул на дверь: пошли. Уже на улице, морщась и поглядывая на небо, густо, как снежинками, усеянное звездами, Лукьянов проговорил в раздумье:

— В самом деле, — что же потом?

— Надо ребят поднять. Большой участок промерз?

— А кто его знает! Трубы придется менять — это факт. Сумеешь комсомол на это дело поднять?

— Надо… — тоже посмотрев на звезды, ответил Курбатов.

Алеша Попов ждал его в депо: приплясывая, он грелся возле большого кузнечного горна. Курбатов велел ему бежать и разбудить двух комсомольцев. Те пусть разбудят четырех, четверо — восьмерых… Сбор в школе.

Когда он подходил к школе, ему показалось, что мороз спадает… Нет, ему просто было жарко сейчас: рукавица, на которую он дул, чтобы согреть пальцы, сразу же пристала к медной дверной ручке, едва только он взялся за нее, чтобы открыть дверь…

В школе уже было человек двадцать — двадцать пять. Курбатов знал не всех и поэтому поздоровался сразу со всеми. Ему ответил нестройный хор голосов; где-то в углу раздался и словно замер негромкий смешок. Курбатов безошибочно понял: все ждут, что он скажет.

Он не торопясь стянул рукавицы и поднес пальцы к губам. Сразу же в них появилась острая, колющая боль. «Неужели успел обморозить?» — испугался Курбатов, с трудом сгибая и разгибая непослушные, одеревеневшие суставы.

— Ты потри их, — тихо посоветовали из темного угла.

Наконец незаметно в школе собралось около двухсот человек. Курбатов, сидевший на низенькой неудобной парте рядом с деповскими комсомольцами, с удивлением увидел, что в большом классе — полным-полно; все разговаривали тихо, вполголоса; многие пришли сюда, еще не опомнившись: их разбудили, и теперь кое-кто из ребят пристраивался поудобнее, чтобы вздремнуть и доглядеть оборванные сны.

Можно было начинать. Но Курбатов не спешил. Сердце у него бешено колотилось. «Пришли, пришли… В мороз пришли… Какое же это голое место?»

Алеша Попов ткнул его в бок: ну, чего же ты? Яков поднялся на скамейку, так, чтобы его было видно отовсюду. В классе было светло, горело несколько керосиновых ламп, и огромные тени так и заходили по стенам, где были развешаны таблицы умножения.

В какую-то долю секунды Яков остро почувствовал, как невидимые глазом ниточки протянулись к нему со всех сторон. Здесь, в Няндоме, он еще не испытывал таких ощущений. Это было впервые. Раздумывать над тем, что же произошло в эту долю секунды, было некогда, и он скорее догадался, чем понял, что это и есть та особая, ни с какой другой не сравнимая связь, которая возникает между людьми в трудные минуты.

Ребята уже знали, чем вызван этот ночной аврал. Курбатов не мог ничего добавить к тому, что было известно. Но, когда он сказал, что райком партии и райком комсомола решили поднять комсомольцев чинить трубопровод, — словно ветерок прошел по классу.

— Пойдем, конечно…

— Да чего там митинговать!

— Домой только забежать надо…

— Эх, все едино, ребята!..

Он прислушивался к разрозненным голосам, пытался уловить хоть одну нотку недовольства и услышал ее. Она была такая слабенькая, так тонула в других голосах, что Яков отвернулся, будто ее и не было. Он поднял руку, и снова в классе стало тихо, только кто-то кашлял, закрывая варежкой рот.

— Будет трудно, — хмурясь, сказал он. — Морозец, сами знаете… Надо будет вскрыть полтора километра траншеи, а земля промерзшая. Жилья кругом нет… Так что одевайтесь потеплее. У кого есть лопаты, ломы, топоры — брать с собой. Соберемся мы все через час возле депо. Все ясно или будут прения?

— Не будем «преть», — буркнул Карпыч. — Чего там!.. Давай, секретарь, кончай агитацию.

Очевидно, вспомнив свою недавнюю беседу с Курбатовым, он

смолк и покраснел: вот ведь язык! Опять занесло в сторону, как телегу на скользкой дороге.

— Тогда давайте выбирать штаб по руководству работами. Есть предложение — пять человек. Кто «за» — голосую.

Ребята поднимали руки и сразу же выкрикивали фамилии:

— Уткина.

— Попова Лешку.

— Карпыча.

— Курбатова.

— Семенову…

— Как будем голосовать: списком или персонально?

— Да чего ты кота за хвост тянешь! — раздался сердитый голос. — Голосуй списком.

Когда по промерзлым доскам простучали шаги выходящих из класса, Курбатов снова сел на парту. В райкоме ему нечего было делать. Через час — сбор, а надо еще пойти в депо, узнать, погрузили ли железнодорожники инструмент, где трубы, которые надо уложить взамен старых.

Но когда все разбрелись по домам и он остался вдвоем с Карпычем, то почувствовал, что ему немного страшно сейчас: страшно идти на этот лютый мороз, в лес, за восемь километров, страшно пробыть на улице черт его знает сколько часов, страшно потому, что неизвестно, чем все кончится.

Он подавил в себе этот страх каким-то необычайным, даже, пожалуй, злым чувством: «Какого дьявола!.. Раскисаешь, как барышня… Когда завод горел — ничего, не струсил, а теперь…» Он поднялся, глубже запахивая полу кисло пахнущего овчиной полушубка. Карпыч поднялся за ним.

— Как ты думаешь, все придут? — спросил Курбатов.

— Кто его знает, — пожал плечами Карпыч. — Может, найдется подлая душа.

Курбатов долго смотрел на некрасивое, безбровое, будто сделанное из каких-то отдельных кусочков лицо Карпыча и, неожиданно улыбнувшись, шутливо стукнул его по черному, перемазанному в мазуте, рукаву ватника.

— А найдется — посмотрим…

9. Подлая душа

Подлая душа нашлась.

Когда все построились на площади перед депо (собственно, строя никакого не было: все приплясывали и кутались), Курбатов, вскарабкавшись на сани, крикнул:

— Если кто не хочет работать, будет хныкать, — выходи. Нам хлюпиков не надо.

Никто не вышел. Все по-прежнему приплясывали, переглядывались; кто-то в задних рядах затеял возню — грелся. Казалось, никто и не расслышал того, что кричал Курбатов. Алеша Попов тронул его сзади за полу: «Да что ты все речи произносишь? Пошли!» В это-то время и отделилась от строя закутанная в женский платок неповоротливая фигура. Человек подошел к саням, и Попов успел только шепнуть Якову:

— Счетовод из потребиловки… Васька-интеллигент. Ясное дело.

Из рядов донесся смех, улюлюканье; Васька, словно подгоняемый им, почти бежал. Прямо перед собою Курбатов увидел удивительно красивые, какие-то не мужские глаза и услышал заикающийся, идущий из-под платка голос:

— Я нне ммогу… У мменя ммать заболела, ддома лежит… Нне ммогу…

— Чего он там брешет? Не слышно, — донеслось из рядов.

Внезапно Алеша Попов подскочил к Ваське и толкнул его так, что вся нелепая, закутанная фигура, медленно качнувшись, осела на сани. Курбатов, нагнувшись, схватил Попова за руку.

— Ты что? Не смей!

Попов вырвал руку. В морозном, жгучем воздухе его голос буквально прозвенел; казалось, вот-вот он оборвется где-то на недосягаемой высоте.

— Врет он, ребята!.. Он вчера до ночи на вечерухе гулял. Выходит, мать не болела?

— Она утром заболела! — зло крикнул Васька.

— Врешь. Сегодня же к нам приходила — керосину одалживать.

Строя уже не было. Все толпились вокруг саней; задние напирали на передних, и покрытая инеем лошадь беспокойно вскидывала морду. Тут-то и крикнули из толпы:

— Гнать его из комсомола!

Очевидно, это было уже наболевшим; Ваську в Няндоме не любили, но Курбатов, человек новый, не знал этого. Но он снова, как и час назад, в школе, почувствовал незримые нити, тянущиеся

к нему от замотанных в шарфы и шали ребят, от недобрых их глаз, от неповоротливых на морозе губ, и крикнул, стараясь перекричать всех:

— Пусть уходит! Выгоним на бюро райкома!

— Сейчас! — требовал задыхающийся от волнения Попов. Он уже стоял на санях и дышал Курбатову прямо в лицо. — Слышишь? Сейчас. Голосуй, или я сам…

Курбатов еще раз обвел взглядом лица. Было ясно, что все выскажутся за исключение. Но нельзя, — и он это понял подсознательно, — нельзя было распускать страсти.

— Хорошо, — нахмурился Курбатов. — Будем голосовать. Но при одном условии: окончательное решение за райкомом.

— Голосуй!

Руки уже были подняты.

Васька-интеллигент медленно выпрямился и варежкой сдвинул с лица платок. Все увидели кривую, немного растерянную, но все же усмешку. Зубами стянув варежку, Васька сунул руку за борт полушубка и вытащил комсомольский билет. Маленькая книжечка упала к ногам Курбатова.

— На, возьми! По нему денег не дают. И подите вы все…

Он подошел к первым рядам. Ребята — те, кто слышал, были настолько ошеломлены, что Ваське никто не сказал ни слова. Ряды раздвинулись. Белая фигура прошла мимо них. Сверху, с саней, Курбатов видел огромную от шерстяного платка голову; он провожал ее глазами, но вдруг голова куда-то исчезла, и оттуда, с той стороны, где она исчезла, донеслись глухие удары.

— Эй, ребята, что там!..

Он хотел было спрыгнуть, догадавшись, но Карпыч заступил ему дорогу. На Курбатова укоризненно глядели небесно-голубые лукавые глаза.

— А ты не ходи. Ты свое дело сделал — и точка. А мы уж теперь его по-своему проводим.

10. На трассе

Какой мороз! Ведь это только подумать — редкий снег и тот словно бы спекся в плотную массу. Ноги ломали твердую корку, а снег под ними звенел, трещал, скрипел, мешал идти… На пятом километре весь отряд растянулся по лесу в длинную цепочку, и Курбатов с тревогой оглядывался назад: не отстает ли кто-нибудь… Первые останавливались по его сигналу, последние шли первыми, а вдоль рядов, задыхаясь, бежали члены штаба — считали, все ли на месте.

Над лесом светила луна. На снегу лежали голубые полосы света. Все остальное скрывалось в густой, иссиня-черной тени, только временами выступали оттуда причудливо засыпанные снегом, похожие на лисьи хвосты, длинные еловые ветки да серебряные, чуть заметно искрящиеся стволы сосен.

Временами Курбатов забывался. Перед ним словно бы исчезал этот лес; он переставал ощущать мороз, ему неожиданно становилось тепло, и все тело двигалось лениво, спокойно, медлительно, будто опущенное в теплую воду. Тогда он вздрагивал и убыстрял шаг, нагоняя какую-то незнакомую девушку, которая с трудом переставляла ноги в огромных, видно по всему, чужих валенках. Почему-то Курбатову захотелось увидеть лицо этой девушки, и он, догнав, взял ее под руку.

— Что, трудно? Трудно, я говорю, идти?.

При неверном, тусклом свете луны он увидел только лишь узенькую щелочку в платке, и за ней — глаза, показавшиеся ему такими печальными и усталыми, что он невольно взял девушку под руку крепче. Она ничего не ответила.

А Курбатов уже думал о Клаве. Старая боль возвращалась к нему теперь все реже и реже, но, быть может, именно поэтому всякий раз она казалась ему острее. Так и сейчас, вспомнив Печаткино, последнюю встречу с усталой, какой-то сразу постаревшей Клавой, Курбатов едва не застонал, стискивая потрескавшиеся губы.

Потом он снова стал забываться, будто проваливаясь куда-то в теплую воду. Он не заметил, что теперь уже девушка держит его под руку и, приблизив лицо к его лицу, тревожно спрашивает о чем-то. Он опять увидел глаза (не печальные и усталые — испуганные) и улыбнулся, растягивая губы.

— Чуть не заснул на ходу.

— Нельзя, — донеслось из-за платка. — Я знаю… Надо все время идти…

— А где мы?

— Не разговаривайте сейчас… Уже пришли, кажется.

Курбатов с трудом отогнал от себя эту ленивую, страшную на таком морозе дремоту и, тяжело поднимая ноги, обогнал девушку. Передние уже стояли. Высокий человек в огромном, до пят, тулупе что-то говорил, размахивая руками. Когда Курбатов подошел к нему, тот обернулся: это был начальник тяги; тот самый, который еще несколько часов назад закатывал в своем кабинете истерику.

— Вы здесь? — удивленно спросил Курбатов.

— Нет, — передразнил его начальник тяги, — тень моя. Где ваши люди?

Курбатову стало смешно, как тот передразнивает его, все еще размахивая почему-то руками, будто мельница, которая разошлась на ветру.

— Ребята подходят. Надо разжигать костры. Пусть отдохнут…

— Отдохнут? — почти выкрикнул начальник тяги. — Вы с ума сошли! Какой здесь отдых? Это же смерть… Работать, работать надо.

Он умчался куда-то в темень, путаясь в своем тулупе, потом появился снова, втыкая в снег небольшие колышки. Здесь проходил трубопровод. На бегу он крикнул Курбатову: «Организуйте же их!» — и снова куда-то исчез, будто растворился в густых лесных тенях.

Через час все переменилось в лесу. На серебряной, очищенной от снега земле горели костры — сотня костров, цепочкой растянувшихся километра на два. Трасса, еще час назад казавшаяся мертвой, теперь ожила, и хотя кто-то подшутил: «Эх, улицу топим!» — стало теплее. Куда-то назад отступили густо поросшие мохнатым инеем ветви деревьев, похожие на молодые оленьи рога.

Земля, вбирая в себя тепло, чернела, будто обугливаясь от жаркого огня, а ребята, рубившие в лесу сосны, возвращались распаренные, красные, с ухарски сдвинутыми шапками.

Открыть траншеи оказалось делом нетрудным. Курбатов и не заметил, пропустил тот момент, когда его лопата звякнула о трубу. Но, когда он увидел ее, протянувшуюся далеко в сторону, он понял одно: скоро отсюда не уйти. Труба лопнула в нескольких местах, и заменить секции было куда тяжелее, чем вырыть траншею.

Курбатов с трудом разогнул ноющую в пояснице спину. «Полтора километра, — думал он. — Нас сто пятьдесят человек… Один человек на 10 метров… Но трубу надо менять не целиком… Значит, сможем». Он лег животом на край траншеи, неловко перевалился и встал, отряхивая с полушубка снег, перемешанный

с землей. И только поднявшись, он увидел, что уже светает. Над лесом поднималась, еле заметно мерцая, робкая синяя заря. Костры горели слабее, но уже видны были и две палатки, и несколько шалашей вокруг них, и какие-то люди, о чем-то оживленно разговаривающие возле траншеи. Курбатов пошел к ним.

Это были рабочие депо. Несколько человек сидели на корточках, ожесточенно раздувая паяльные лампы. Тут же стоял начальник тяги и еще несколько неизвестных Курбатову людей; он мог только догадываться, — надо полагать, инженеры, прибыли из губцентра. До него донеслись слова:

— Трубы перекладывать не будем., Можно надеть муфты.

— А лед?

— Разогреем кострами…

— Но потом снова все замерзнет… Здесь глубина — метр.

Курбатов остановился.

— Не замерзнет. — Он сказал это каким-то не своим, ему самому показавшимся далеким и неприятным, хриплым голосом. — Мы выроем другую траншею… Рядом… Из земли сделаем над трубой вал.

Инженеры молчали; Курбатов заметил, как они переглянулись. Он пошел дальше, к шалашам.

Возле первого шалаша Курбатов встретил Попова. Тот выходил, вернее, вылезал оттуда на четвереньках и, встав на ноги, качнулся. В морозном воздухе даже издалека резко запахло самогоном. Курбатов вздрогнул. Оттолкнув Попова, он нагнулся и откинул висящее на входе в шалаш одеяло. Человек восемь или десять комсомольцев сидели вокруг костра; по рукам шла бутылка, уже наполовину пустая. Один из комсомольцев, увидев Курбатова, широко улыбнулся ему и приветливо махнул рукой:

— А, секретарь! Лезь сюда! Дымно тут у нас, зато… Давай грейся. Дайте-ка сюда бутылку, ребята.

Курбатов молча смотрел на них. Сзади пытался просунуть голову в шалаш Попов, но Яков снова оттолкнул его и тихо сказал:

— Всем выйти… Ну, живо!

Когда ребята вышли из шалаша, Курбатов взял у одного из них бутылку и, размахнувшись, отбросил ее в сугроб.

— Кто у вас десятник? Попов? Ну, так вот: все десять человек — идите домой. Чтоб я здесь вас больше не видел. На бюро поговорим особо…

Он видел то испуганные, то изумленные лица подвыпивших ребят, и его трясло так, как будто он стоял на морозе раздетым.

— Яков, что ты? — почему-то шепотом спросил Попов. — Мы

же — погреться. И выпили-то всего ничего.

Курбатов, сощурив злые глаза, придвинулся вплотную к Попову.

— «Всего ничего»! Дезертиры!

Резко повернувшись, он пошел к траншее. Ребята уже кончали работу, вылезали наверх, распрямляясь и облегченно вздыхая. Курбатову показалось, что народа здесь стало больше. И в самом деле, чем дальше он шел вдоль траншеи, тем чаще встречались деповские рабочие, железнодорожники. «Когда они успели прийти сюда?» — с удивлением подумал Курбатов.

Он заметил пожилого машиниста Федосеева; с ним Курбатов познакомился недавно в райкоме партии. Набирая на лопату землю, он быстрым, коротким движением выбрасывал ее наверх. Курбатов окликнул его.

— А мы сразу за вами пришли, — улыбнувшись, ответил Федосеев. — Триста с лишним душ…

Курбатов спрыгнул в траншею, еще не веря, не ослышался ли.

— Ты что — не веришь? Где же ты был?

— Траншею копал.

— А руководил кто?

— Начальник тяги.

— Вот то-то и оно… Мы с Лукьяновым посмотрели на тебя, посмотрели, да и пошли.

— Как с Лукьяновым?

Федосеев спрятал хитроватую усмешку.

— А ты думаешь, один комсомол здесь со всем справится? Нет, секретарь, пока ты там лопатой ковырял…

Он не договорил… Сверху раздался голос Лукьянова.

— Вот он где! Вылезай, пошли греться.

Лукьянов, весь покрытый инеем, стоял у края траншеи и уже протягивал руку — помочь Курбатову вылезти. Когда Яков встал рядом с ним, тот укоризненно покачал головой:

— Хорош секретарь, нечего сказать. Теперь неделю в бане не отмоешься. Ну-ка, пойдем к костру.

По пути он молчал, а Курбатов чувствовал, что у Лукьянова есть к нему какой-то разговор, и, судя по всему, разговор не из приятных. Так оно и получилось. Глядя на Курбатова из-под заиндевевших, будто седых бровей, Лукьянов спросил так же, как только что спрашивал машинист:

— Ты где был?

— Копал с ребятами.

— Личный пример?

— Да.

— А все остальное предоставил начальнику тяги? Сейчас ко

мне твои ребята прибегали, которых ты домой отправил. А ведь в том, что они напились, ты виноват.

— Я? — Курбатов проглотил слюну; во рту у него стало жарко и сухо.

— Да, ты. Ты должен был организовать ребят, возглавить их… Если хочешь следить за их работой. Словом, быть руководителем. А ты — землекопом. Удобно! Спортивную работу ты ведешь. Лодочную секцию ты возглавил. Ты что ж, за своих комсомольцев скоро и дышать будешь? Помнишь, я тебе говорил насчет актива… Забыл? А я вот помню.

Курбатов не мог понять, почему для такого разговора Лукьянов выбрал именно это время. Некогда, работа горит, а секретарь разговаривает так, как будто они ненароком встретились в коридоре райкома. Не мог понять он и того, в чем его вина, и ему было неприятно, что ребята пожаловались Лукьянову. Он спросил:

— Что вы сказали Попову?..

— Я тоже послал их домой, — ответил Лукьянов, держа над огнем руки в варежках и следя, как над ними поднимается легкий пар. — Но, кажется, они не ушли… Почувствовали, что виноваты, это для них урок, они теперь горы свернут. А ты вот почувствовал?

Курбатов махнул рукой и засмеялся. Но Лукьянов смотрел на него почему-то печально.

— Эх, мне бы твои годы! — усмехнулся секретарь райкома.

— Ну, да иди, проверь каждую десятку, собери штаб… И то штабисты твои, на начальство глядючи, тоже землекопами заделались. И пусть ребята отдохнут…

* * *

Отдыхать, однако, пришлось не скоро.

Внезапная мысль Курбатова о том, что над траншеей, над трубой надо насыпать вал, оказалась верной, и ребятам пришлось рыть еще одну траншею, таскать землю, разогревать ее кострами. Эту работу поручили комсомольцам. Но много ли могли нарыть они, падающие с ног от усталости! Курбатов видел посеревшие лица и понимал, что дальше так работать нельзя.

Было уже два часа дня — стало быть, работали они без перерыва восемь часов. В иное время, быть может, ничего страшного в этом и не было. Яков помнил, как там, в Печаткино, на заводе, выдерживал и по двадцать часов, но сейчас мороз не сдавал.

Из лесу на лошадях все время подвозили длинные прямые хлысты сосен; тут же их пилили, кололи, и огонь, поначалу нехотя полизав промерзшую древесину, разгорался. Возле костров было тепло. Курбатов распорядился — всем отдыхать, но не спать…

Он все ходил, все всматривался в лица. Возле одного из костров он увидел Попова; тот, заметив секретаря, быстро отвернулся. И Курбатов прошел мимо.

Быть может, подсознательно он искал сейчас ту самую девушку, с которой пришел сюда. Но как ее узнать среди десятков таких же, как она, закутанных и поэтому похожих одна на другую? Он выругал себя за это желание — видеть ее опять — и подсел к костру, вокруг которого были навалены еловые ветки.

Тут же он почувствовал, что его неудержимо клонит ко сну. Веки закрывались сами собой, глаза резало, жгло; он с трудом мог дотронуться до них, чтобы смахнуть слезы. Языки пламени вдруг то тускнели, то раздваивались и вырастали; Курбатов боролся со сном, с желанием повалиться на эти еловые ветви и заснуть хоть на полчаса.

Он не заметил, как удивленно посмотрели на него ребята, когда он, пошатываясь, встал и зло выругался. Он не заметил, как один за другим они поднимались за ним следом, медленно разбирали лопаты, ломы, кирки, как шли за ним, неловко спрыгивали в ямы…

Он словно бы очнулся, сделав несколько взмахов лопатой. Сонливость прошла. Курбатов весело посмотрел на соседа: рядом, посапывая, копал Попов. Яков отвернулся и, еще раз выбросив наверх лопату с землей, крикнул:

— Ну, как хмелек-то — прошел? Опохмелиться надо?

Попов медленно повернулся к нему; Яков увидел такое же, как у остальных, посеревшее, осунувшееся лицо, ввалившиеся щеки и синие густые тени возле глаз.

— Ты… прости меня, Яшка, — снова, как и тогда, шепотом сказал Попов. — Больше я в рот не возьму… Помирать буду — не возьму.

— А чего ты шепчешь-то? — хохотал Курбатов. — Ровно в любви объясняешься.

— Боюсь громко говорить… Вот.

Он кашлянул и сплюнул на снег. Небольшое кровавое пятнышко замерзло сразу же. Курбатов шагнул к нему, протянув обе руки, но Алешка, отвернувшись, ожесточенно грыз лопатой непослушную, твердую землю…

11. Глухомань

В конце декабря Лукьянов вызвал к себе Курбатова и, разбирая на столе какие-то бумажки, сказал:

— Когда поедешь на село?

— Хоть сейчас, — ответил Курбатов.

— Ишь ты, какой скорый. Впрочем, сейчас не сейчас, а завтра поезжай. За тебя останется Попов. Как он — выздоровел?

— Да.

Курбатов передал Попову все дела, которые казались ему неотложными, и, с тревогой вглядываясь в лицо друга, потребовал:

— Сам все не делай. Карпыча как следует впряги, Смирнову, Лещева, Маркелова. Понял?

Алешка поправился не совсем, и было решено отправить его весной на юг. С продуктами в Няндоме было еще плохо; Курбатову удалось добиться для Попова единовременной денежной помощи, но и этого было мало. Сейчас, отправляясь в деревню, Курбатов собрал у ребят денег и старые вещи — обменять на сало и масло для Попова.

Сборы у него были недолгие. В железнодорожной охране ему выдали наган и две дюжины патронов к нему: так, «на всякий случай», как объяснил Лукьянов.

И вот уже все позади; далеким и тяжелым сном кажется лес, где трое суток ребята рыли и таскали землю, морозы, боль в смыкающихся глазах… Морозы прошли; сменились медленными снегопадами, густо закрывшими землю. Низенькие дома Няндомы скрылись в сугробах, и даже птицы, наверно, не могли определить, где человеческое жилье, а где холмы, накрытые пушистыми снеговыми шапками.

Все позади… Рысью бежит пара лошадей, запряженных в сани-кибитку; мерно звенит колокольчик на дуге у коренника, звякают шоркунцы на шее пристяжной. Ямщик то соскакивает и семенит рядом с санями, то быстро вскакивает на облучок и правой ногой, обутой в валенок, тормозит, не давая саням раскатываться на ухабистой скользкой дороге.

Закутавшись в огромный овчинный тулуп, Яков лежал в санях, расспрашивая возницу о Лемже, куда они ехали. Однако возница попался неразговорчивый. Вместо ответа он гладил свою бороду, усы, выковыривая из них сосульки. Борода у него была как печная заслонка — большая, черная; и весь он был похож на какого-то патриарха этой северной лесной глухомани.

Все же Курбатов настойчиво расспрашивал о жизни деревни,

о бедноте, середняке, о кулаках. Мужик поначалу отвечал односложно, а потом, будто рассердившись, разговорился, и порой приходилось перебивать его, чтобы спросить о главном.

Новый знакомый, надо полагать, был крепким середняком; в его словах нет-нет да и проскальзывали этакие подкулацкие нотки.

— Вот ты, паря, говоришь: беднота, беднота, а что от нее проку-то, от бедноты? Она потому и беднота, что работать не хочет. Лодыри они — вот кто. У хозяйственного мужика прокорм всегда будет, потому он и работает, не жалея себя. А лодырь, он до рождества и то впроголодь живет. Как сеять надо, он и идет к крепкому мужику семена просить. Такому мужику спасибо бы надо сказать, а его начинают окулачивать, равнять с нашим Прошкой Рубцом. Рубец — тот взаправды наживается на нашей крестьянской нужде.

Я тебе, паря, прямо скажу: непокойная жисть у нас в деревне. Крепкие мужики думают: непа, мол, и я за непой, как теля за маткой. А когда к нему лодырь-то приходит за семенами на высев, ему, конешно, не интересно так на так давать: он с выгодой дает. Вот и заделывается прижимщиком. Своего же брата мужика прижимает. Неужто власть не понимает, что не бедняк-лодырь ей опора-то должен быть, а трудовой мужик, который работает, у которого и себе хватает, да он еще излишки сдает.

Так рассуждал ямщик. Курбатов почти не знал деревни; ему трудно было вступать в спор. Он лежал и слушал. В санях пахло свежей сенной прелью, сухими полевыми цветами. Яков выбирал из сена отдельные стебли травы и грыз их, сплевывая горькую слюну.

На вопрос о деревенских комсомольцах ямщик отвечал с прежней, какой-то злой разговорчивостью:

— Их-то у нас всего ничего. Неплохие вроде ребята. Их власть все более на побегушках использует. Они и налоги выколачивают, и с обыском насчет самогонки ходют. А бабы вот в обиде на них. Ну, и мужики тоже… Они против бога и всей леригии выступают. Вон намедни у Симки Кривого сынок-то, комсомолец, что отчебучил. Лики святых угодников да богородицы картинками заклеил. Сколько там — неделю, а то и боле — все семейство на эти картинки молилось и не замечало. Ну, известно, отец здорово его поучил на это. В больницу свезли, так комсомольцы эти на отца родного на суд подавать хотят. Разве порядок это? Вот все больше за это отцы да матери и не пущают к комсомолу своих ребят да девок.

Вдали показались тусклые огни керосиновых ламп, расплывающихся на замерзших стеклах.

— К председателю сельсовета везти или куда? — спросил ямщик.

— Вези к председателю, — сказал Курбатов.

Скоро они подъехали к дому, стоящему в самой середине деревни. Яков выскочил из саней, разминая занемевшие ноги. На звук колокольчика кто-то вышел из избы и стоял на крыльце с фонарем в руках. Это был сам председатель сельсовета — Егор Русанов. Они поздоровались: Русанов посветил Курбатову и провел его в избу.

В большой горнице стояла огромная русская печь. Во всю ее длину на высоте человеческого роста были полати; под ними, в углу, за холстинной занавеской — большая деревянная кровать. Несколько лавок, остывший самовар в красном углу да кадушка с водой — вот и все, что было в этой небогатой избе. Здесь было чисто; сладко пахло хлебом. На лавке за прялками сидели две молодые женщины, пряли лен. Веретена, крутясь, жужжали, вертелись по полу, как волчок.

— Устя, наставь самоварчик. Товарищ с морозца — чайку попьет, согреется, — сказал Егор.

Одна из женщин положила прялку на лавку, взяла самовар и понесла его к печке. Скоро самовар вначале тихо, а потом громче запел, засвистел, словно живой.

Курбатов познакомился с Егором и объяснил ему, зачем он приехал.

— А и больно хорошо, паря! Как раз под рождество угадал. Посмотришь, чем наша молодежь занята.

За чаем Егор начал рассказывать и про себя, и про деревенские дела, и про комсомол.

В те годы в деревне росла зажиточная кулацкая верхушка, а вместе с ней росло и батрачество. Бедняцкая и середняцкая молодежь не могла укрепить свое хозяйство и вынуждена была уходить на подсобные наработки.

Было все: и массовая неграмотность, и нередкие случаи хулиганства, даже преступности, особенно в престольные праздники. Среди молодежи жила еще религиозность, некоторые участвовали в различных сектах.

В Лемже была комсомольская ячейка; в ней насчитывалось пятнадцать комсомольцев из пяти деревень, объединяемых сельсоветом.

Большое влияние на молодежь, как рассказывал Курбатову Егор, имел Тимоха Рубец — сын местного кулака-лавочника. Он задавал тон, ребята на него равнялись. Даже гармонь в его руках — единственная на все село — помогала ему. Ни одна посиделка не могла обойтись без Рубца.

В этих краях никогда не видели кино, не имели представления о радио. Курбатов, уезжая из Няндомы, договорился с комсомольцами депо, что они в порядке смычки с деревней возьмут шефство над отсталой Лемжей, и теперь видел, что это решение было правильным.

После беседы с Русановым Яков написал письмо в Няндому. Он просил, чтобы на рождество сюда прислали гармонь и кинопередвижку. Среди комсомольцев был гармонист — веселый кудрявый парень — батрак Мотя Заболотных, но гармошки у него, конечно, не было.

С секретарем комсомольской ячейки, Федей Ясиным, Курбатов пошел на посиделку. В большой комнате под потолком горела керосиновая лампа. Молодежь сидела на лавках у стен. В середине горницы на табуретке восседал Тимоха Рубец, хмельной, с грязными спутавшимися волосами. Стоя возле дверей, Курбатов слушал, как парни пели залихватские частушки. После песен стали плясать, потом начались игры. К Якову подошли две девушки, спросили его:

— Тебе, городской, сахару надо?

— Мне? — удивился Курбатов. — Какого сахару?

— Ну, говори скорее: надо или нет?

— А какой же у вас сахар? — В свой черед спросил Курбатов. Девушки переглянулись и засмеялись.

— Да не думай — не постный, а сладкий. Сколько тебе фунтов?

— Ну, для пробы давайте два фунта, — догадавшись, что это какая-то игра, ответил Яков.

Одна из девушек быстрым движением обняла его голову и поцеловала в губы, другая сделала то же.

— Ну что — сладко? Может, еще фунтов десять продать?

Курбатов, покраснев, отпрянул. Девушки, расхохотавшись, отошли. Он шепнул на ухо Ясину:

— Что это они так?

— А у нас это, Яша, запросто парни с девками целуются. У нас все игры с поцелуями. Подожди, еще ленты, смолу и всякую всячину будут тебе продавать: сколько фунтов запросишь, — столько будет и поцелуев.

Яков, накинув полушубок, вышел на улицу: Ясин, осторожно притворив за собой дверь, вышел за ним. В душе Курбатова поднималась глухая бессильная ярость; то, что он увидел, потрясло его своей тупостью.

— Почему комсомольская ячейка красных посиделок не организует? — резко спросил он. — Мы же вам и руководство по их организации послали. Получили ли вы такую книжечку?

— Книжечку-то получили, — махнул рукой Ясин. — Да какой толк, если гармонист у нас — сын мироеда Тимоха Рубец! Ни мы к нему на поклон, ни он к нам не пойдет. Какие же посиделки без гармоники? На них и не придет никто.

Курбатов немного остыл: то, что говорил Ясин, было правдой.

— Давай организуем показательные красные посиделки, — сказал, наконец, Курбатов. — Гармошка будет, а гармонист у вас есть. Ты приходи с ребятами в избу председателя сельсовета, — обо всем и договоримся.

На другой день вместе с комсомольцами был составлен план первых красных комсомольских посиделок.

Для Курбатова начались трудные времена. По поручению райкома партии он попытался провести собрание бедноты. Но на собрание никто не пришел. На другой день выяснилось, что Тимоха Рубец, наученный отцом, обошел бедняков и каждому из них угрожал не только тем, что отец откажет в помощи, но и тем, что он, Тимоха, им все кишки выпустит. Из-за этих угроз бедняки и не явились. Пришлось ждать. По настоянию Курбатова приехавший из волости милиционер арестовал Тимоху Рубца и отправил в уездный город Каргополь. Там его на время посадили в исправдом. Через неделю один из крестьян, ездивший в город, привез от Тимохи письмо к отцу. Крестьянин передал это письмо в сельсовет. Тимоха писал:

«Уважаемый папаша, здесь сидеть мне пока ничево. Очень меня беспокоит, как обернется дело, дыму им под хвост! — извиняюсь за соленое слово.

Посули свидетелям угощение, пусть отвечают, что не повинен. Озаботься, сделай милость, кое-какой добавочной пищей и еще спроси у матери телогрейку, а то вредно дует под дверь, нет мочи терпеть. А затем прощайте, не забывайте, а сидеть мне здесь пока ничево.

Ваш сын Тимофей Рубцов».

Через три дня все-таки удалось собрать бедноту. Тимохи не было, и люди пришли без опаски.

Курбатов пришел на собрание вместе с Русановым. Собрались еще не все. С порога Яков увидел большого седого мужика с хитрыми черными глазами. Крутя в больших заскорузлых пальцах цигарку, он что-то рассказывал, и Курбатов невольно прислушался к его голосу.

— …Захожу я, ребята, в амбар, гляжу — на мешке мышь сидит, сапог обувает. «Куда?»— спрашиваю. «Да чего-то у тебя голодно… — говорит, — Пойду, — говорит, — по мужикам, которые побогаче». А жили мы с дедушкой богато: было у нас двадцать котов дойных да два кота езжалых; один кот иноход,

другой водовоз. Пахотной земли у нас было — печь, да полати, да за столом лавки. Вот посеяли мы с дедушкой на печи рожь, на полатях овес. А бабушка наша, старуха резва, три дня на полати лезла, оттуда свалилась да на три части разбилась. И дедушка мой не промах был. Всегда за поясом лычко носил. Он бабушку лычком сшил да еще три года с ней жил. Все это присказка, а сказка впереди будет. Я вот городскому товарищу о нашей ЕПО расскажу, о приседателе Евлахе Бароне. Пускай спервоначалу товарищ из города объяснит нам: кто оно такое ЕПО будет и для чего оно у нас?

Курбатов не ожидал такого поворота этой прибаутки и немного растерялся, когда мужик обратился к нему. Все повернулись, и он видел десятки смеющихся, лукавых глаз.

— ЕПО — это, товарищ, единое потребительское общество, или потребительская кооперация, — справившись со своим смущением, ответил Курбатов, — Оно создано для того, чтобы снабжать своих пайщиков всеми необходимыми в хозяйстве товарами.

— Ишь ты, всеми необходимыми товарами! Значит, в нашей ЕПО все должно быть? Так ведь, товарищи, я понимаю? — спросил седобородый мужик. — А у нас выходит навыверт, все равно что штаны через голову снимаем. Давай-ка, Прохор, расскажи.

Рассказчик, только что смешивший народ своей прибауткой, степенно откашлялся и огладил бороду.

— Извиняюсь, товарищ, ежели что не так скажу, ты уж не обессудь. Только мы от своего ЕПО одни неприятности видим. Скоро все наши паи прахом пойдут. А все это от приседателя, от Евлахи происходит. Мы почему его зовем Бароном? До революции он в Питере у какого-то господина-барона служил. Ну, видел, как баре жили, какая у них культура была, и вот норовит нынче нас к этой культуре тянуть. Ну, прямо замучил, леший колодный. От этой его культуры не знаем куда и деваться, да и убытки от нее большие. А Евлахе хоть бы хны, деньги-то не его в трубу летят. Он ведь леший его возьми, что выкомаривает, — сказать стыдно.

Курбатов слушал рассказ бедняка с теплым чувством радости. Речь зашла о самом главном, о том, что больше всего волновало народ, и он понимал, что рассказывается это все неспроста, что мужики надеются на его помощь. Крестьянин продолжал:

— Выбрали мы его, значит, приседателем; думаем — грамотный. В Питере побывал, так уж дело-то наладит. Ну, тут и началось. Он нас на культурную революцию потянул и товары такие стал завозить. Намедни летом завез «душную воду». Говорит, что там в Питере барон завсегда этой водой прыскался,

чтобы, значит, дух хороший шел. А кому она эта «душная вода»-то нужна? Девки и то ей прыскаться не хотят. Попробуешь на язык — опять же самогонка лучше. Ну и пришлось Евлахе всю эту воду обратно в город везти, а там за ту же цену ее не приняли. Значит, опять нашему ЕПО убыток. Или привез десяток таких штук, дорогих больно. Как вот называются-то они, забыл; какие-то блинокли, што ли. В одну дырочку со стеклышком смотришь — все большим да близко кажется, а с другого конца в ту же дырку смотришь — все далече. Ну, скажи, пожалуйста, к чему нужна эта штука в хозяйстве? Разве тараканов на печи высматривать…

Или вот удавок навез. Говорит — всем мужикам и парням их надо поверх рубах носить. Конешно, никто их не брал, так он в эту удавку обрядил деда Фому и водил его по деревне, показывал, какой дедка есть кулитурный. Потеха, право! Поверх посконной рубахи надел на деда шелковую синюю с разводами удавку. За то, что дед надел удавку и всем показывался, ему Евлаха полтинник дал, а нам говорит, что это расходы на какую-то ракламу. Ну, лежали удавки в лавке, да и пришлось Евлахе их тоже обратно в город отправить.

Много еще чудит Евлаха со своей кулитурой, аж тошно стало терпеть. Он скоро все наши паи растрясет. Вот, дорогой товарищ, какие дела завелись. А главное, что наше ЕПО в трубу летит, а лавочник, Прошка Рубец, этим пользуется. У него в лавке все есть, а дерет он с нас за все втридорога. Народ к нему валом валит. Он и в долг записывает. У него на столько не возьмешь, сколько он запишет, а платить — плати. Судом грозит. Будешь с ним не соглашаться, затаскает по судам, и сам не рад будешь.

Он говорил, а мужики во время рассказа согласно кивали головами.

Так в этот день никакого собрания и не было. Яков уходил с прежним радостным чувством от этого разговора; ему казалось, что он только что побывал возле какого-то живого родника, и та вода, которую он выпил, сразу же раскрыла ему глаза. От этих людей с грубыми жесткими руками словно бы исходило необычайное душевное тепло; тот глухой протест, который жил в них, вылился в простой беседе, без президиумов и представителей. Курбатов теперь нес в себе их надежды и их протест, ясно сознавал, что от того, как он поступит теперь, во многом зависит бедняцкая вера в Советскую власть.

Вызванный им председатель ЕПО Евлампий Савин произвел неприятное впечатление. Был он сухопар и тщедушен, бесцветен, как вода. Савин улыбался, часто моргал красными, как две болотные клюквины, глазами, изгибался и все время гундосил: «Как прикажете-с, что изволите-с, а уж это конечно-с».

Курбатов написал обо всем в уезд.

Скоро приехала ревизия. Было назначено собрание пайщиков потребительской кооперации, и председателем ЕПО избрали комсомольца.

12. Карпыч рассказывает…

Наконец наступило рождество, которого Курбатов ждал со смешанным чувством опасения и надежды. В самые праздники из няндомского депо приехали шефы-комсомольцы. Они привезли в подарок венскую гармонь кинопередвижку. Курбатов радовался: вместе с ребятами приехал невозмутимый, солидный крепыш. Карпыч. Яков сразу же взвалил на него организацию первой красной посиделки. Карпыч попыхтел, побурчал и вдруг неожиданно спросил:

— Наган у тебя с собой?

— С собой, — ответил Курбатов, не понимая, почему Карпыч спрашивает об этом.

— Дай мне. Я тебе расскажу зачем. А не дашь, я по деревне нипочем не пойду.

Наган Курбатов ему не дал, но, видя насупленное лицо товарища, решил, что ходить они будут вместе. Черт его знает, чего он испугался… Вечером Карпыч рассказал ему свою историю.

Года три назад в Няндоме было особенно тяжело с продуктами. Карпыч продал или поменял все, что только можно было продать; он нередко приезжал сюда, в Лемжу, встречался с Рубцом, выменивал у него на хлеб вещи. Рубец уже пресытился: в большой пятистенной избе не умещалось все, что он приобрел за бесценок. В конце концов он стал собирать и выменивать только особые вещи, которыми мог похвастать перед родными и знакомыми.

Как-то раз, роясь на чердаке среди старого и никому не нужного хлама, Карпыч нашел больничное судно, бог весть какими судьбами попавшее сюда. На дне судна был фирменный штамп, поставленный зеленой краской. Вот он и решил выменять у Рубца немного хлеба.

С судном под мышкой Карпыч пешком отправился за тридцать верст в Лемжу. Пришел к Рубцу, сел на лавку и положил на колени завернутое в сатиновую тряпку судно.

Хозяева сидели за столом и хлебали наваристые мясные щи. У Карпыча подвело живот, даже голова закружилась от сытных, приятных запахов щей из настоящей говядины. Однако хозяева не пригласили его к столу. Они съели щи, принялись за жаренную на сале картошку, делая равнодушный вид и будто не замечая знакомого человека.

Рубец, приобретая разные диковинные вещи, тайно соревновался в этом с кулаком из соседней деревни, Бахваловым.

Карпыч об этом знал и решил сыграть на этой слабости.

Рубец обедал, а сам все время бросал косые взгляды на сверток, лежавший на коленях Карпыча. Вдруг Карпыч встал, взял шапку и пошел к двери.

— Куда это ты? — крикнул ему вслед Рубец.

— Хотел одну вещицу предложить, да вижу, что тебе ее не надо. Дорога больно. Я уж к Бахвалову пойду — он наверняка купит. Он в таких вещах толк понимает.

Упоминание о Бахвалове сразу вывело Рубца из себя. Он поспешно встал из-за стола, вытирая о штаны жирные пальцы, подошел к Карпычу, взял его за руку и повел обратно.

— Не уходи, раз пришел. Что мы, Бахваловых хуже или беднее, думаешь? Давай-ка раздевайся да поговорим. Ну, что там у тебя?

— Говорить-то, наверное, нам не о чем, — подзадоривал кулака Карпыч. — Вещь-то она царская. Да и боязно, что ты проговоришься: такой вещи в музее лежать, и то только в Питере или в Москве. Узнает кто — и заберет ее в музей.

Вконец распаленный любопытством Рубец не мог больше терпеть. Упоминание о каком-то музее расстроило его: вдруг в самом деле Бахвалов перехватит эту диковину!..

— Давай кажи! — нетерпеливо потребовал он.

Карпыч осторожно, не спеша начал разворачивать тряпку. Развернув, он поставил судно на стол. Рубец и его сородичи вопросительно смотрели то на судно, то друг на друга, то на Карпыча. Действительно, такой диковинной штуки Рубцу не приходилось видеть. «Вроде как бы на братыню похоже, из которой пиво пьют», — думал он.

— Ты вот на что внимание обрати! — солидно и таинственно сказал Карпыч. Он повернул судно кверху дном, и Рубец увидел большую зеленую печать с латинскими, стершимися от времени буквами, а в середине — птица: кругом ее были нарисованы медали.

«Орел не орел, — думал про себя Рубец. — И медали, к тому же имеются». Он уже был окончательно убежден, что это вещь не простая, и лишь не мог понять, для чего она предназначена.

— Говори давай, что это за штука, куда она приспособлена, — сказал Рубец. Карпыч задумчиво почесал переносицу и, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, ответил ему:

— Штука эта, видишь ли, не простая. Раньше в благородных домах ее сервизом звали. Да не все и благородные дома имели ее, а только те, которые принадлежали к царской фамилии. Видишь герб и медали?

Он показал на штамп.

— Это итальянский королевский герб. Эту штуку на именины самому царю итальянский король подарил!

— Ишь ты! — не удержался Рубец. — Скажи пожалуйста! А что же царь с этой диковиной делал?

— Она у него в спальне на столике у кровати стояла. На ночь ее наливали полную шампанского. Вот ночью царь проснется с похмелья, голова-то тяжелая, ну и выпьет из нее.

Карпыч врал самозабвенно, но почувствовал, что где-то переборщил. Рубец подозрительно заметил:

— Пить-то из нее вроде неудобно…

Карпыч кое-как выкрутился, сказав, что из нее и не пьют, а наливают в особый стакан, тоже фарфоровый. Но недоверие у Рубца все еще не проходило, хотя он был искренно удивлен.

— Скажи пожалуйста! И откуда ты все это, парень, знаешь? Уже не врешь ли ты? Да и как к тебе, шантрапе голодной, такая царская штука могла попасть?

— Я вам ее не наваливаю. На такую вещь охотники найдутся! — Карпыч стал медленно завертывать судно в сатиновую тряпку. — А досталась она нам просто. Братуха мой, Павел, Зимний дворец в революцию брал. Вышибли они оттуда юнкеров и пошли по залам. Смотрит мой братуха — стоит этакий небольшой столик, весь золотой, на изогнутых ножках, а на нем эта штука, а рядом с ней стаканчик. Братуха мой тоже такой диковины никогда не видывал. Подвернулся тут в спальне лакей царский, ну и объяснил, что к чему.

«Этой штуке, — говорит, — и цены нет! Ее, почитай, только три царские фамилии имеют». Ну, братуха не будь дураком да и положил эту чашу в свой мешок.

После такого рассказа Рубец окончательно убедился, что действительно вещь эта царская. Он поспешно, дрожащими руками ухватился за Карпыча и, задыхаясь от волнения, проговорил:

— Чего завертываешь-то? Давай вынимай ее из тряпицы да толком говори, сколько и чего хочешь. Говори, да только не привирай очень-то!

Он осматривал, будто ласкал это судно, осторожно ковырял его ногтем, пробовал на язык, придирался к каждому пятнышку, говоря, что тут «скоро щель будет».

Карпыча разбирал смех, но он сдерживался и делал еще более серьезное лицо.

— Да что тут!.. Уж только есть нечего, а то бы ни за что не продал! Если желаете, то за пять пудиков муки отдам!

— Эка хватил! Пять пудиков? Да откуда я тебе их возьму? Да,

может, еще ты и наврал мне все! — проговорил Рубец.

— Как хотите, не наваливаю! — И Карпыч снова начал завертывать судно в тряпицу.

— Ну, ты! Подожди, делом говори! Хочешь, я тебе за нее два пуда ржи дам? — предложил Рубец.

— Это за такую-то вещь? — сделал удивленное лицо Карпыч, продолжая медленно заворачивать свою «драгоценность».

Рубец не выдержал. Он быстро согласился дать четыре пуда и три фунта сала, и даже пошел на то, чтобы Тимоха довез Карпыча до Няндомы.

Через некоторое время в деревне был престольный праздник. У Рубца были гости, в том числе кулак Бахвалов с семейством, поп с попадьей и двумя дочками.

На столе было наставлено всякой всячины. Среди множества закусок и бутылок с самогоном, в самом центре стояло судно, наполненное брагой. Пока еще гости не сели за стол, кулак Бахвалов поинтересовался, что это за штука. Рубец подробно рассказал ему о своей необычайной покупке, и Бахвалов позавидовал его удаче.

Все открылось тогда, когда гости начали рассаживаться. Младшая поповская дочка посмотрела на стол, покраснела и, фыркнув, неудержимо расхохоталась. Потом она чего-то пошептала на ухо матери. Попадья, не сказав ничего, вышла из-за стола, отозвала в сторону Рубца и рассказала ему, что дочка видала такую штуку в городской больнице, когда болела дизентерией.

Рубец был вне себя от кипевшей в нем злости. Он велел немедленно убрать «это дерьмо» со стола. Однако гости уже узнали о его покупке, а подвыпивший Бахвалов так издевался над Рубцом, что хозяева — отец с сыном — извозили его в сенях до полусмерти… Ясно, что Карпыч боялся Рубца не зря.

* * *

Первую красную посиделку было решено провести в просторной избе сельсовета.

Задолго до назначенного часа она была битком набита народом. Вначале няндомские шефы-комсомольцы вручили подарок — венскую гармонь — Тимофею Заболотных, который принял ее и заиграл веселую, всем знакомую мелодию. Молодежь сразу оживилась. Подарок был выбран верный: гармошка в руках комсомольцев была хорошим средством организации деревенской молодежи.

Первый киносеанс был тоже в сельсовете. Всех желающих изба не вмещала; многие стояли на улице и смотрели в окна, подернутые легким морозцем.

Один из комсомольцев начал крутить ручку динамо, а киномеханик запустил аппарат. Он застрекотал — и поехала кинокартина «Фатти-миллионер». В зале все разом зашумели и заговорили:

— Ловко чехвостит! Как пулемет.

Присутствующие не понимали картины, а выхватывали из нее только детали:

— А петух-то! Петух-то! Живой петух-то! Ай ты, батюшки!

Когда автомобиль поехал с экрана прямо на присутствующих, в зале шарахнулись. Бабы завизжали, а пастух Ефрем угрожающе вынул кнут. Один из стариков не выдержал, подошел к экрану и, ощупав руками движущихся людей, плюнул и пошел домой.

— Нечистая сила, не иначе!

Киномеханик пустил вторую картину — «Как Семен перешел на многополье». Он же начал давать свои объяснения.

— Вот, граждане, этот старательный крестьянин сейчас пьет чай, а потом поедет в поле.

Мужики, уже успокоившиеся, сейчас вглядывались в то, что происходило на экране, с видимым интересом.

— Чисто одет. Видать, не нашинских губерний. Не иначе что ярославский.

— И сахару у него полна сахарница. Житьишко богатое! И ухватки сурьезные.

Пока артист, игравший мужика, пил чай, все сходило благополучно, но едва он вышел запрягать лошадь, а затем выехал в поле, все мужики покатились со смеху.

— Какой же это мужик? Гляди, гляди, коня-то как запрягает, и подойти к нему боится! Ай, собачий сын, хомут откуда подтягивает!

— А за плугом-то как идет. По воздуху шебаршит им. Вот те и многополье!

— Нет, петух был без обману, действительный, а это так, шарманка.

Теперь Курбатов ходил именинником.

Да, все было так, как он и предполагал: достаточно было подтолкнуть немного людей, внести в их жизнь что-то живое, действенное, как это живое сразу же находило отклик.

С Егором Русановым Курбатов разговаривал каждый день, пытаясь узнать от него как можно больше о том, что происходит в деревне. Русанов, демобилизованный красноармеец-пограничник, жаловался:

— Отвык я… Кулаки, вроде Рубца, всю душу мне съели: так и хочется стукнуть. Ты меня не спрашивай, ты мне лучше сам скажи: когда мы их, сукиных детей, скрутим? Не понимаю я: власть наша, а кулак живет. Живет ведь!

Курбатов пытался было растолковать ему, что такое нэп, но Русанов яростно дергал контуженной головой и обрывал Якова:

— А, брось ты!..

Почему Русанов так зло говорит о кулаках, Курбатов догадался позже, встретившись с Рубцом.

Он шел по селу с Карпычем, когда Рубец, одетый во все добротное, попался им навстречу. Карпыч нырнул Курбатову за спину, но Рубец уже заметил его, Яков увидал, как кулак нагнулся и медленно вытащил из валенка большой, ослепительно блеснувший на солнце, нож…

Невольно повинуясь какому-то инстинкту, Курбатов попятился, не сводя глаз с ножа. Рубец был уже шагах в десяти от него и смотрел в упор из-под мохнатых рыжих бровей.

— Отрыщь! — кинул он, раздувая ноздри.

— Яшка, тикай! — отчаянно крикнул уже издали Карпыч.

Спиной Курбатов уперся в забор: дальше отступать было некуда. Рубец, увидев, что Карпыч убежал, надвигался на Курбатова. «Конец», — мелькнула тоскливая мысль. Яков быстро оглянулся, словно искал защиты. Улица была пуста…

Наган. О нем Курбатов забыл. Дрожащими руками, выворачивая карман, он вытащил наган и щелкнул курком.

— Не подходи, убью!

Он не узнал собственного голоса. Но Рубец медленно надвигался. И в тот момент, когда он взмахнул рукой, Курбатов отскочил; нож, располосовав полушубок, задел плечо. Боли Яков не почувствовал. Он выстрелил, и Рубец, не спуская с него глаз, повалился на плетень, выронив нож.

По улице уже бежали люди. На Рубца навалилось несколько человек, но он не сопротивлялся…

13. Это надо понять

Курбатову было досадно уезжать, не доделав до конца задуманного. Он хотел организовать здесь избу-читальню, провести несколько бесед, поближе узнать, чем держится деревенский кулак…

Рана была не опасна, нож распорол мышцу, но рука от кисти до плеча ныла так, будто из нее тянули жилы. И ехать было надо. Рано утром к избе председателя подъехал на санях секретарь комсомольской ячейки. Русанов, нежно усаживая Якова, как маленькому, подпихивал со всех сторон подстилку и сено. Сюда же положили сало и масло для Алеши Попова. Карпыч, уезжавший вместе с Курбатовым, суетился вокруг с виноватым видом; таким Яков видел его впервые.

Когда сани тронулись, Курбатов, приподнявшись, крикнул Ясину:

— Чуть что — приезжай в Няндому!.. И ребят больше занимай, пусть больше дело делают!

Они отъехали от крайних изб Лемжи; Курбатов и Карпыч молчали. Наконец, словно раздумывая про себя, Яков сказал:

— Плохо у нас еще в деревне. Ну, да ничего, вернемся еще. Теперь-то уж вернемся…

— Что? — не расслышал Карпыч. — Куда вернемся?

— В деревню. Ох, Карпыч, как этих сволочей, вроде Рубца, еще крутить надо! Знаешь, Карпыч, — оживился Курбатов и сразу почувствовал, как утихла боль в раненой руке, — я вспомнил, что говорил нам Ленин на Третьем съезде о классовой борьбе в деревне, об эксплуататорах-кулаках. Ты ведь читал речь Ильича?

— Читать-то я, Яшка, читал, только так, как ты, на память не помню, — хмурясь и как бы стесняясь своих слов, ответил Карпыч.

— Это и понятно, Ваня; ведь я-то самого Ильича слышал и видел, так разве я могу это забыть? Нет, умирать буду и помнить буду. Всегда, понимаешь, всегда у меня перед глазами образ живого Ильича, такого, как там в зале: простого, человечного… Нет, Карпыч, раз ты не видел Ленина, то тебе, пожалуй, и не понять моих настроений…

— Ну уж ты… Скажешь тоже… Хотя я Ленина и не видел, но он мне дороже отца. Вот сейчас бы скажи он мне: поезжай, мол, Карпыч, в Африку революцию делать и жизни своей на это дело не жалей… И я бы не задумался, не заходя домой бы, поехал…

— Эк маханул, в Африку! — загорелся Курбатов. — Что же ты думаешь, что в нашей стране революция закончена? Я помню, как

еще тогда Ильич говорил, что классовая борьба продолжается, но она изменила свои формы…

Карпыч внимательно слушал горячие и убежденные слова и точно так же загорался, настроение Курбатова передалось и ему. Когда Яша сделал паузу, Карпыч тревожно наклонился, но, увидев оживленное лицо и огоньки в глазах, он нежно Погладил мех, вылезший из распоротого рукава полушубка, и, обжигая Курбатова горячим дыханием, на ухо ему прошептал:

— Ну, ну, дальше-то, дальше рассказывай!..

Курбатов внимательно посмотрел на Карпыча и тихо сказал:

— Нет, брат Ваня, нам не в Африку надо ехать… Ты сам видел, сколько темноты и дикости в нашей деревне. На все село пять грамотных… Понять это надо. Нет, дружище, нам надо прежде всего революцию в своей стране, в деревне закончить. Надо уничтожить таких, как Рубец, и корни их вырвать; и Ленин нам говорил, что раздробленную массу темного крестьянства надо соединить в один союз. Это, пожалуй, потруднее, чем в Африке революцию делать.

— Выходит, всех крестьян в коммуну надо, а кулаков подальше в Сибирь выселить? — вслух заключил Карпыч.

— Как это делать будем, я еще, Карпыч, и сам не знаю, но Ильич и Центральный Комитет партии это наверняка знают. Сам вот я думаю — как это будет тогда?

— Уж скорее бы это было, Яшка!.. Я не только видеть, но даже думать спокойно о кулаках не могу. Сам бы их всех, как гадов, прикончил… Скорей бы!.. — зло выкрикнул Карпыч, но почти сразу несколько растерянно спросил: — Вот только, что надо сейчас нам делать, не знаю?

— Что? — переспросил Курбатов и задушевно сказал: — Нам, Ваня, Ильич говорил, что сейчас учиться надо… Учиться коммунизму. Самих себя сперва надо перетряхнуть, пережитки старого общества в себе преодолеть… А это трудно, очень трудно, Ваня.

— Знаю, Яшка! — улыбаясь чему-то своему, ответил Карпыч.

— Чего ты улыбаешься-то? — обиженно спросил Курбатов.

Карпыч залился громким смехом и, зажав ладонями голову Курбатова, притянул ее к себе и крепко поцеловал его в губы.

— Тише, дьявол! — вырвался Курбатов. — Ведь больно!..

— Прости, Яшка, не мог сдержаться. Полюбил я тебя, чертище. С самого первого дня полюбил. Какой ты горячий, идейный, убежденный!.. Вот и Ленина видел и слышал… Мы с тобой одногодки, а я все время в глуши прожил и жизни еще не видел.

Последние слова Карпыч сказал с неподдельной грустью и

так, что Курбатову и в самом деле стало жалко этого ершистого рабочего крепыша, первого своего друга в Няндоме. И Курбатов еще более оживленно и убежденно сказал:

— Не горюй, Ваня. Жизнь твоя вся впереди. Мы оба с тобой еще и коммунизм увидим. Об этом нам тоже тогда Ленин сказал.

— Знаешь, Яшка, если ты мне друг, то, как приедем, дай ты мне комсомольскую нагрузку по шефству над деревней. Я в эту работу все силы вложу. Хочу хоть в одном селе таких дел наворочать, чтобы этим «рубцам» тошно стало. Ну, так как? — заглянул Карпыч в глаза Курбатову.

— Ладно, Ваня, — ответил Курбатов. — Только один ты ничего не сделаешь. Тут, брат, всем нам работы хватит…

Поскрипывал под полозьями снег. На ухабах ныряли и раскатывались сани. По обеим сторонам дороги стоял, как стена, могучий лес. Печально опустили свои ветви оголенные березы. Причудливыми шапками лежал снег на густых елях.

Ехали и молчали… Вдруг Карпыч дотронулся до руки Курбатова и взволнованно зашептал:

— Яшка, знаешь что?

— Ну? — спросил Курбатов.

— В комсомоле я с двадцатого; через год буду помощником паровозного машиниста… Хочу, понимаешь, хочу подать заявление в кандидаты партии…

— И очень хорошо, Ваня!

— А ты рекомендацию мне дашь, а?

— Ну, конечно; а ты разве в этом сомневался? — ответил Курбатов.

* * *

Вот и Няндома, белые ее крыши.

Когда лошади свернули на боковую улочку, Курбатов увидел Попова. Алеша шел, глядя себе под ноги и пошатываясь. Курбатова словно бы кипятком ошпарило: неужели пьяный? Он попросил возницу остановиться и, чувствуя, как начинает душить злость, ждал, пока Алеша подойдет.

Попов дошел до саней и, взглянув Курбатову в глаза, поздоровался.

— Ну, здравствуй, — облегченно улыбнулся Курбатов. — Ты откуда?

— У тебя был. Там, дома. Печку протопил…

— А грустный чего? Захворал, что ли?

Алеша все смотрел ему в глаза, и таким неузнающим,

таким *кричащим* был этот взгляд, что Курбатов похолодел:

— Да что случилось-то?

Он не расслышал, а скорее почувствовал, что выдохнул тот. Все остановилось. Черным стал снег. Потом исчезли дома, заиндевевшие деревья, люди. Не чувствуя боли, он притянул Алешу к себе и прошептал, еще не веря в случившееся:

— Что?.. Что ты сказал?

— Да… Ленин…

Курбатов, широко и недоуменно раскрыв глаза, огляделся. Нет, по-прежнему белым, сверкающим на солнце был снег, нарядными — деревья, и пахло свежим хлебом. Гудел на путях маневровый паровоз. И Курбатов не поверил, что в этом мире нет Ленина… *Его не могло не быть!*

14. Критика помогла

Зима была особенно тяжелой. Быть может, потому с таким нетерпением ждали люди приход весны с ее первым теплом, влажным воздухом, тонким запахом древесной коры… И, наконец, весна пришла — дружная, необычайно быстрая, и казалось, что сама природа хочет вознаградить людей за те тяготы и большое, неизмеримое горе, которое им пришлось пережить.

Курбатов, едва выздоровев, опять работал так, что Лукьянов, поглядывая на него, спросил как-то:

— Ты что, парень, двужильный?

В мае Якова слушали на бюро райкома партии. Он обстоятельно рассказал, что сделано за полгода: организован спортивный кружок, строятся лодки; весной, когда с озера сойдет лед, откроется лодочная учебная база, в Няндоме летом откроется летний молодежный клуб. Но самое главное — после работы в лесу на ремонте трубопровода — ребята поверили в живые дела; даже учеба, которую они не любили, перестала быть для них скучной комсомольской нагрузкой. Двенадцать комсомольцев приняты в партию по ленинскому призыву…

Отчет был неплохой; прения развернулись оживленные, и это было для Курбатова неожиданностью. Говорили много хорошего, и он смущенно молчал, когда похвалили за поездку в деревню, впрочем, упомянув, что это — пока только «кавалерийский наскок», а настоящая, глубокая и постоянная работа на селе так еще и не организована.

Наконец слово взял Лукьянов и, постукивая карандашом по столу, начал говорить, не глядя на Курбатова, словно его здесь и не было. Яков знал, что секретарь райкомпарта возобновит этот разговор, уже состоявшийся мельком там, в лесу. Но сейчас Лукьянов, видимо, решил высказать все до конца.

Курбатов слушал его, и ему было больно, хотя он и понимал, что секретарь прав, тысячу раз прав…

— Я думаю, товарищи, никто не будет возражать против того, что комсомольская работа у нас ожила, пьянства и хулиганства стало меньше. Молодежь нашла себя и с интересом участвует во всех мероприятиях. Все это очень хорошо. А я вот буду говорить о плохом. Замечаете ли вы, товарищи, что наш комсомольский секретарь стремится делать все сам? Посмотрите — наш Курбатов везде. В кружке спорта — он руководитель, вечер организовать — он руководитель. Мы с ним как-то говорили об этом, но, видимо, не помогло, не понял. Я думаю, что нам его надо поправить.

Необходимо растить актив в комсомоле, а вырастить его можно только на практической работе. Незачем Курбатову во всякую мелочь совать свой нос и зажимать инициативу других ребят. Лично ему надо взяться за основные, решающие вопросы и за проверку исполнения. Не нужно бояться, что другие завалят то или иное дело. При личной и хорошо поставленной проверке исполнения любое дело увенчается успехом. Курбатов должен знать, какое значение придавал Ленин вопросам проверки исполнения; «гвоздь всей работы» — вот как говорил Ленин.

…Нынче летом у комсомола будет возможность отвлечь молодежь от пьянства, от всего плохого, что еще есть. Ну, а потом? Наступит осень и зима, куда молодежи идти? Где она будет проводить время? Опять в ресторане вокзала, на домашних вечеринках со всеми бытовыми искривлениями? Постоянного клуба у нас нет, а он очень нужен: летний клуб — это еще полдела. Я говорил с одним работником Дорпрофсожа. Он сказал, что при соответствующем нажиме снизу они смогут найти деньги на постройку клуба. Вот я бы и считал, что сейчас комсомолу и его секретарю нужно заняться постройкой клуба. Пускай-ка комсомольцы все это обдумают.

После бюро райкома партии Курбатов вызвал к себе Карпыча и, коротко поговорив с ним о деповских делах, вдруг неожиданно сказал:

— Организуй поход, а? С песнями, с весельем, с удочками.

Карпыч опешил:

— Какой поход?

— А вот ты сам подумай, какой.

— Опух ты, что ли? — обиженно протянул Ваня. — А кто ж тогда работать будет? Сам говоришь — все силы на работу, а тут — прогулка.

Курбатов, невесело рассмеявшись, рассказал о сегодняшнем обсуждении на бюро. Карпыч только головой крутил, хлопал себя по промасленным штанам, ахал, охал, деловито справлялся, не очень ли ему, Курбатову, попало, а потом заметил:

— Правильно тебя взгрели.

— Что?

— Правильно, говорю. Помнишь, я однажды в депо о спортивном кружке докладал? Помнишь?

— Ну, помню, — неуверенно ответил Курбатов, еще не понимая, куда клонит Карпыч.

— Ну, а потом что было? Ты вышел и то же самое сказал. Не поверил, что меня ребята поймут. Я еще тогда об этом подумал. А потом…

Он замолчал, и Курбатов поторопил его:

— Чего потом? Ты договаривай…

— Да что потом? Нравилось нам, что ты все за нас делаешь. Хлопот меньше. Тебе к тому же деньги за это платят…

Он отшатнулся, когда Курбатов почти вплотную придвинул к нему свое лицо.

— А теперь все. Понимаешь? Сами будете все делать. Хватит, устроил я вам легкую жизнь. «Не хотите ли спорткружок? Лодочную станцию? Пожалуйста!»

Он передразнивал сам себя с чувством какого-то внезапного облегчения, даже, пожалуй, злостью на самого себя. Карпыч, вначале ошеломленный, довольно потер пятерней коленку, хлопнул по ней и удовлетворенно усмехнулся:

— Подействовало!

— Так вот, — уже сухо закончил Курбатов. — План прогулки, маршрут и все такое представишь через два дня.

Карпыч, встав, вразвалку подошел к двери и, взявшись за ручку, обернулся с прежней усмешкой:

— А я и сейчас тебе все могу представить. Разве мы об этом не думали? Думали. На Большое Островишное пойдем… А ты у нас за повара будешь, уху тебя заставим варить…

15. Большое островишное

В конце мая установилась летняя, теплая погода. На стенах няндомских домов, на заборах висели большие объявления:

> «С субботы на воскресенье на всю ночь состоится прогулка-экскурсия на озеро Большое Островишное. Прогулка преследует цель культурного отдыха и разумных развлечений. Там будет: музыка, песни, игры. Любители будут удить рыбу, а охотники — охотиться. Сбор молодежи в 6 часов вечера у райкома. Приглашается вся молодежь и взрослые».

Афиша висела всю неделю. В Няндоме об этой первой прогулке было много разговоров.

В субботу у райкома собралось человек триста. Разбились на звенья, встали в ряды. Из райкома вынесли комсомольское знамя, и за знаменосцем заняли места два гармониста; один гармонист шел позади колонны. Неожиданно для всех на прогулку пошло много взрослых. Когда колонна проходила поселок, все его обитатели высыпали на улицу, оценивающими взглядами провожая молодежь.

Решили идти ближним путем — по тропе. Тропа была неширокая, и колонна очень растянулась; однако это не мешало песне: в голове колонны пели одну, в середине — другую, а в хвосте — третью.

Наконец за небольшим болотом показалось озеро. На середине его был большой остров. Берега озера — высокие и покатые — поросли травой, буйным ивняком, а под берегами, вздрагивая от всплеска шальной щуки, долго покачивались густые камыши.

Каждое звено построило себе из ветвей шалаш. Около них уже горели, потрескивая, жаркие костры; ребята приспосабливали над ними чайники и котелки. Самодеятельность было решено показать завтра днем, а сегодня вечером каждому разрешалось делать то, что он хотел. Любители-рыболовы со своими удочками устроились на берегу. Охотники побрели в лес. Курбатов тоже сел на берегу с двумя удочками. Рыбных мест он на озере еще не знал и попал на такое, где клевали одни маленькие прожорливые колючие ерши, так заглатывавшие крючок, что его едва можно было достать у них изо рта.

Вдруг за спиной он услышал звонкий, немного кокетливый возглас: «Яша удит, удит, а вот что кушать будет?» Он оглянулся.

Сзади него стояли девушки и ухмыляющийся, довольный походом Карпыч. Курбатов вспомнил, как тот грозился заставить его варить уху, и кивнул на котелок, где поплескивала дюжина ершей.

— А я уже поймал.

— Кому же такая рыба нужна? Что с ней делать-то? — спросила одна из девушек.

— Вот и не знаете, самая вкусная уха — из таких ершей. Приглашаю вас на уху. Я ее сам и сварю, как приказано товарищем Карпычем, а потом уж и критиковать можете.

Посомневавшись, девчата крикнули ему «Ловись, рыбка, большая, ловись и маленькая» и ушли. Словно бы в ответ на эти слова, поплавок несколько раз сильно дернуло, и Курбатов, чувствуя, как упруго перегибается удилище, вытащил большого, не меньше чем в фунт, полосатого окуня.

«Оказывается, и отдыхать вроде бы интересно», — улыбнувшись, подумал он.

Он не видел ничего, кроме небольшого «окна» среди кувшинок, поплавка, сделанного из пробки, гладкой поверхности воды, отражающей в своей глубине низкие облака. Большой мотылек сел на поплавок, и тот дернулся, кругами разгоняя от себя воду. Мотылек улетел. Далеко снова плеснула большая рыбина, и у Курбатова сладко защемило сердце. «Как глупо! — подумалось ему. — Почему я стал считать, что это меня не касается? Глупо!»

Он вспомнил, что отдыхал последний раз в Совпартшколе, на каникулах. Сейчас он чувствовал, что очень устал, и это здорово — отдохнуть так в лесу, не думая ни о чем, кроме того, как бы поймать еще такого окуня.

Он не заметил, что неподалеку, вдоль самой воды, идет девушка, время от времени нагибаясь и срывая какие-то некрасивые болотные цветы.

Вдруг она поскользнулась и, проехав по траве, оказалась в озере. Здесь, сразу под берегом, было глубоко, и, пока Курбатов сообразил, что ему надо вскочить и помочь девушке выбраться, она успела хлебнуть воды и теперь, схватившись за кусты, судорожно глотала воздух. Курбатов подскочил к ней. Когда он вытащил ее на берег и, обняв, помог встать, девушка благодарно поглядела на Якова. Он покраснел и буркнул:

— Осторожней надо быть. Пойдемте к костру, а то еще простудитесь.

По пути к костру он покосился на девушку и вздрогнул. Конечно, это была она, та самая, которая шла с ним в лес и которую он спрашивал, не трудно ли ей идти! Потом, после

ремонта трубопровода, ему очень хотелось снова встретиться с ней; он гнал от себя это желание увидеть сероглазую грустную, как ему показалось, девушку. И это просто здорово, что они все-таки встретились!

Возле костра сидело несколько человек. Курбатов, подойдя, пошутил, скрывая под шуткой свое волнение:

— Принимайте русалку. А я сейчас за рыбой схожу.

Курбатов собрал удочки, взял ведерко с ершами и пошел к костру. Почти у самого огня, на еловых ветвях сушила мокрое платье незнакомая девушка. Алеша Попов читал книгу, надо полагать не очень интересную, и отчаянно зевал, в раздумье поглядывая на сидевшего рядом Карпыча. Приход Курбатова оживил его; он потянулся к котелку, щелкнул языком и полез в свой мешок — за луком, картошкой и солью.

Девушка задумчиво глядела на огонь, закутавшись в тонкое одеяло и сушила свои, почти медного цвета волосы.

— Кто это? — Курбатов тихонько толкнул Алешу.

— Это? — Попов мельком поглядел в сторону девушки. — Верочка, телеграфистка.

Яков вздохнул и уткнулся в свой котелок. Он не видел Верочку, но знал, что она смотрит на него, и краснел почему-то, стараясь сделать вид, что ничего на свете, кроме этих пучеглазых ершей, его не интересует.

Положив в котелок рыбу, он повесил его над костром. Скоро уха была готова. Карпыч, проснувшись, умчался разыскивать девушек. Алеша нетерпеливо поглядывал на котелок, а Курбатов, дожидаясь Карпыча, думал, что же произошло с ним за этот короткий час…

Уху начали есть всей компанией. Ели с аппетитом и все время хвалили, но Курбатов, черпая своей ложкой, не слышал похвал и не разбирал, вкусно или нет. Он очнулся только тогда, когда Алеша, почерпнув со дна котелка разваренную рыбу, вдруг бросил ложку, зажал рот рукой и побежал в кусты. Все с недоумением смотрели ему вслед. Потом девушки, подозрительно рассмотрев содержимое котелка, прекратили есть и засмеялись: они еще не пробовали самую рыбу. Курбатов недоумевал и, поглядывая на невозмутимого Карпыча, продолжал есть. Наконец вздрогнул и он, понял все и пришел в ужас: на ложке лежал самый обычный червяк — рыбья наживка. Значит, когда он чистил рыбу, забыл вытащить наживку, да так и сварил вместе с ней!.. Девушки смеялись, Карпыч пожимал плечами, а Курбатов с тревогой поглядывал на кусты.

Через несколько минут вернулся Алеша; он был бледен и вытирал со лба мелкий бисер пота.

— Ну и накормил, секретарь! — почти простонал он. — Червей еще в первый раз ем. Ты что, Яков, случайно не папуас? Говорят, папуасы тоже червей едят. Вот ведь повар какой! А сразу-то уха вроде бы вкусная была…

Девушки уже возились с самой обыкновенной яичницей; свиное сало с треском шипело на чугунной сковородке. Скоро поспела и она, сгладив все неприятности от ухи.

— Век теперь буду помнить эту уху, — ворчал Попов.

И потом еще долго смеялись ребята над курбатовской ухой, и даже в стенной газете «Колотушка» была помещена соответствующая карикатура.

* * *

Встретившись через день с Лукьяновым, Курбатов сухо и скупо рассказал ему о прогулке, не преминул упомянуть и о том, что с начала и до конца прогулка была организована Карпычем.

— Значит, неплохо получилось? — хитровато спросил Лукьянов. — И пьяных не было?

— Не было.

— И сам отдохнул?

Лукьянов не заметил, как вспыхнул Яков. Строго глядя на секретаря райкома комсомола, будто тот был в чем-то виноват, он начал расспрашивать о том, где и как он живет, хватает ли денег, как отдыхает.

— Да никак, — рассмеялся Курбатов. — Вот только вчера и отдохнул.

— Плохо, — нахмурился Лукьянов, — Работе всего себя отдавай. Но и отдохни, силы твои нам надолго нужны. Уметь отдыхать надо, Курбатов. *Я* вот староват, правда, а знаешь, что делаю? По дереву выпиливаю. Очень хорошо отдыхается.

«Странный разговор», — думал Курбатов, идя домой. Но этот разговор неожиданно совпадал с теми его мыслями, которые пришли на озере, — пусть сейчас кажущиеся пустыми, но тогда — полными особого значения: мыслями о том, что должно же быть где-то и личное, одному ему принадлежащее, свое.

Свое? Ему вдруг захотелось зайти на станцию, открыть дверь с подписью: «Телеграф. Посторонним вход запрещен» — и хотя бы на секунду увидеть эти серые большие глаза, медного цвета волосы Верочки…

«Что это?» — спрашивал он самого себя и не находил ответа.

16. Прощай, няндома!

Два вопроса волновали Курбатова: организация комсомольско-молодежной бригады для субботников по капитальному ремонту паровоза (подарок к Октябрьским праздникам) и лодочная станция. Лукьянов оказался прав; стоило только Курбатову вскользь сказать деповским ребятам о том, что хорошо бы субботниками отремонтировать паровоз, как те загорелись и через два дня пригласили Курбатова на комсомольское собрание по этому вопросу.

Карпыч ходил именинником. Идеи сыпались на него как из рога изобилия. Начальник тяги, поначалу недовольно слушавший комсомольцев («А кто из них отвечать будет за ремонт?»), наконец махнул рукой: «Делайте как хотите, и так все под богом ходим».

Ремонтные бригады были организованы тут же, на комсомольском собрании; один только Рябов был недоволен, что не попал в них. «Когда веселиться — так вместе, а здесь — карточкой не вышел?»

С лодочной станцией дело обстояло сложнее, и сложность была в одном — в деньгах. Платные спортивные представления давали крохотные сборы. Учпрофсож отмалчивался, и к концу мая удалось построить всего лишь одну лодку, да и с той произошла неприятность.

Первую шлюпку с тремя парами весел решили не тащить на озеро, а вначале испытать на пруду, в центре поселка. Под звуки гармошки, с флагами комсомольцы принесли ее на пруд. Вокруг собрались жители поселка; зрелище для этих мест было еще не виданным.

Шлюпку спустили на воду, но она оказалась такой вертлявой, что в нее едва села мужская команда. Ваня Рябов цвел. Он был в новой морской форме «первого срока», гладко выбритый и надушенный, такой, каким вряд ли был когда-нибудь на инспекторских смотрах. «Весла на воду!», «Правое греби, левое табань!» — весело командовал он. Поскольку ребятам приходилось только догадываться, что такое «табань», шлюпка сразу же чуть не опрокинулась. Рябов, казалось, не слышал ничего, ровно глухарь на току. «Суши весла! Весла на валек! Весла по борту!» Тут-то лодка и зачерпнула бортом воды, шатнулась с боку на бок и спокойно пошла ко дну. Ребята, а вместе с ними и Рябов, по горло оказались в грязной воде пруда и с трудом по глинистому дну шли к берегу, подхватывая плавающие весла.

С берега кричали разные сочувственные слова — что, дескать, первый блин всегда комом, а у первых-де российских мореходов получалось и вовсе хуже, — утешали Рябова, что белая форменка отстирается, только поначалу из нее надо вытряхнуть карасей. Курбатов и досадовал, и хохотал вместе со всеми, когда злополучную шлюпку вытаскивали и снова тащили обратно на «верфь»; к ней пришлось приделывать дополнительный киль.

* * *

Уезжая на губернский съезд комсомола, Курбатов и не предполагал, что работать в Няндоме ему уже не доведется и приедет он только за тем, чтобы передать дела, в последний раз поговорить с ребятами и собрать свой нехитрый багаж.

Никакие самоотводы не помогли. Не помогли и доказательства, что нельзя так срывать человека с места, когда он только-только начал налаживать работу. Не помогла телеграмма в Няндому, к Лукьянову — несколько коротеньких взывающих слов: «Собираются выдвигать секретарем губкомола срочно опротестуйте перед Даниловым».

В день выборов пришла ответная телеграмма. Курбатов распечатал ее с волнением: «Горячо поздравляю зпт одобряю решение (съезда) зпт лети высоко тчк Лукьянов». Фамилию Курбатова внесли в списки для голосования; потом оказалось, что в члены пленума его избрали почти единогласно. На пленуме его выбрали секретарем губкомола; как и прежде, против было два голоса.

Но теперь он уже не думал: «Завалю, не справлюсь». Справился же он там, в Няндоме. Когда Курбатов уезжал, в райком пришло сообщение из Дорпрофсожа о деньгах на клуб: все-таки грозное письмо подействовало. И теперь, отправляясь на два дня в Няндому, Курбатов чувствовал, что с новой работой он справится, но все-таки лучше было бы остаться пока на прежнем месте. Действительно, не успел развернуться — и нате вам!

Он думал о Верочке, о том, что так, в сущности, и не познакомился с ней, а потом рассердился сам на себя: «А зачем? Разве ты любишь ее? И до любви ли теперь?» Но эта мысль его не утешила.

В Няндоме уже все знали. И жалко было расставаться с Курбатовым ребятам, и радостно, что избрали секретарем именно его; впрочем, Карпыч, сухо поздравив, проворчал:

— Так я и знал, что ты на гастроли к нам приехал. Не работа это… Теперь пришлют нового. Добро, если нормальный человек,

а то опять трепач какой-нибудь попадется.

— Никого присылать не будут, — спокойно ответил Курбатов.

— Как так?.. — начал было Карпыч.

— А так вот. Мало ли здесь своих ребят? Возьмут тебя, например, и изберут. Я обязательно посоветую. Опытного работника пришлют — это другое дело. А секретарем будешь ты.

Карпыч просто взъярился:

— Я тебе «посоветую»! Ты что, хочешь, чтобы здесь все прахом пошло, да?..

Спор оборвал Иван Рябов. Счастливый, даже какой-то немного обалдевший от счастья, он ввалился в райком, такой же красивый и надушенный, как и тогда, на первом испытании лодки. Еще в соседней комнате он с кем-то целовался, хохотал так, что казалось, в горле у него катается какая-то звонкая горошина, и, наконец, войдя к Курбатову, обнял его.

— Я к тебе, секретарь, — сказал он. — У моего штурмана снова военмор на десять с половиной фунтов. Я его в Совете зарегистрировал, только как-то не то получается. Вот раньше крестины были — все-таки шум устраивали и слышно было, что человек родился. А ведь нынче-то не просто новый человек рождается, а новый, да еще советский. А вокруг его рождения — молчок, тишина, когда, наоборот, надо бы звону… Очень тебя попрошу: давай октябрить моего пацана.

Курбатов, еще расстроенный предстоящим расставанием, сразу не понял: что за октябрины? Рябов растолковал, что к чему, и у Курбатова озорно, совсем по-мальчишески блеснули глаза.

— Ладно, Иван. Такие октябрины устроим…

На второй день «крестили» сына Ивана Рябова. Все было честь честью: Курбатова избрали вместо крестного, «кумой» была приглашена второй секретарь райкома партии Мокина. Карпыч и здесь развернул бешеную деятельность: неожиданно новорожденному нанесли много подарков; счастливые отец и мать сидели в президиуме. Когда были сказаны речи, вручены подарки, Рябов встал, развернул своего сына и показал его голенького переполненному залу. Раздались одобрительные аплодисменты: мальчонка был здоровый, толстый, с ручками в «перевязочках».

Рябов передал сына Курбатову. До этого ему никогда не приходилось держать новорожденного. Он должен был поднять ребенка над головой и громко сказать: «И имя мы дали ему — Красногвард. Таким именем в честь Красной гвардии, бойцом которой в Октябре был балтийский матрос Иван Рябов, пожелал назвать своего сына отец».

Затем Курбатов должен был передать ребенка «куме»

Мокиной. Но тут произошло такое, что он чуть не выронил Красногварда; мальчонка насквозь промочил Курбатову новый костюм. В зале смеялись и хлопали, и торжественность октябрин была нарушена. Впрочем, веселье заменило торжественность, Октябринами были довольны все; и только выходя из клуба, Курбатов услышал иронический разговор:

— Вырастет этот «Красногвард», так уж помянет добрым словом папу и маму. Всю жизнь парню испортили с таким именем. И что творится! Запретили бы такое издевательство над детьми.

Пока Курбатов бежал переодеваться, он подумал, что разговор верный и надо посоветовать ребятам, что если придется еще проводить октябрины, то выбирать все-таки простые имена.

Эти крестины были последним его делом в Няндоме. Уже вечером, стоя на перроне с ребятами, он прислушивался к звукам, идущим из поселка: к далеким голосам, последним крикам петухов, скрипу телег, и легкая грусть поднималась в нем снова.

Подошел поезд. На перрон вышло несколько человек, и Курбатов не сразу разглядел тоненькую девичью фигурку. Девушка стояла, поставив к ногам чемоданчик, и оглядывалась. Наконец она крикнула:

— Ребята, как в райком комсомола пройти?

— А вам зачем? — поинтересовался Курбатов.

— Работать приехала.

Курбатов медленно подошел к ней. Карпыч, избранный вчера секретарем райкома, догадался и шепнул Курбатову: «Это и есть твой опытный работник!»

— Здравствуй, — сказал Курбатов, протягивая девушке руку. — Ты не узнаешь меня? А как дома на колесах бегут, искры сыплются, как гудит все, помнишь? А как ты Зайцева в страх ввела, помнишь? Ну!

— Курбатов!

Они обнялись с Хионией Кораблевой. В душе у Якова все так и пело: значит, все-таки выдержала она, выучилась, пробилась в большую жизнь!

Расспрашивать времени не было: подходил поезд, идущий в губернский город. Курбатов успел только узнать, что Хиония кончила курсы комсомольских работников при губкомоле, а через год пойдет учиться в Совпартшколу.

Пора было прощаться. Карпыч, как-то боком придвинувшись к Курбатову, пробурчал:

— Ты прости, если что не так… Встретимся, я думаю.

Курбатов кивнул и еще раз оглядел низенькие дома, невысокие северные деревья, лица ребят, длинное кирпичное

здание депо, увидел флаг над райкомом… Все-таки он оставлял здесь часть своей души, и появившаяся было грусть вдруг ушла, уступив место радости от сознания, что жил он здесь не зря.

notes

Примечания

1

Остров в Белом море близ Архангельска, где англо-американские оккупанты организовали концлагерь.

2

Речь шла об А. П. Голикове (Аркадии Гайдаре). *(Прим. автора.)*